

Джордж Оруэлл

Дочь священника

Глава I

1

Будильник на комодѣ грохнул мерзкой лязгающей бомбой. Вырванная из чащи каких-то безумных кошмаров Дороти вздрогнула, очнулась, перевернулась навзничь и лежала, уставясь в темноту, не в силах даже шевельнуться.

Будильник продолжал сверлить настѣйными бабьими визгами, закрученной пружины хватало терзать уши минут пять, не меньше. Все ныло от головы до пят, жалость к себе, коварно нападавшая при ранних утренних побудках, звала зарыться в одеяло, скрыться от ненавистного сверла. Однако Дороти боролась с презренной слабостью и по обыкновению крепила дух собственным – вежливым, но достаточно суровым, – увещанием: «Ну-ка, Дороти, не ленитесь, поднимайтесь! Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим (Притчи Соломоновы: 6, 4)». Спohватившись, что долгий тарахтящий визг разбудит отца, она вскочила, схватила часы с комода и торопливо отключила звон. Будильник для того и ставился подальше, чтобы необходимость глушить его выдергивала из постели. По-прежнему во мраке, Дороти опустилаcь на колени и прочла «Отче наш», хотя несколько механически – понимали очень уж мерзнувшие ноги.

Было всего лишь полшестого и для августа, пожалуй, холодновато. Дороти (Доротѣя Хэйр, единственное чадо его преподобия Чарльза Хэйра, ректора прихода Святого Афельстайна^[1], Найп-Хилл, графство Суффолк) надела старый байковый халатик и ощупью спустилась с лестницы.

Зябко потянуло предрассветным запахом пыли, отсыревшей штукатурки и жарившихся вчера на ужин окуней; сверху из разных концов коридора доносились нестройные сонные храпы отца и Эллен, их единственной прислуги. Опасливо – стол имел подлую привычку, растягиваясь в темноте, внезапно бить в бедро – Дороти добралась до кухни и зажгла свечку на каминной полке. Ползая перед плитой, превозмогая упадок сил, она прилежно выгребла золу.

Растапливать бывало адски трудно. Колѣно трубы навечно забилаcь сажей, и огню, чтоб взбодриться, требовалась чашка керосина, как животворный стаканчик джина пьянице. Поставив греться воду для отцовского бритья, Дороти поднялась наверх и принялась готовить себе ванну. Эллен все еще заливалась здоровым молодецким храпом. В бодрствующем состоянии она была послушной, старательной служанкой, но из породы девушек, которых самому дьяволу с легионом бесов ни за что не поднять раньше семи.

Воду в ванну Дороти набирала очень медленно (шум сильной струи будил отца), затем немного постояла, разглядывая неприятный белесый пруд. По коже бегали мурашки. К холодным ваннам Дороти питала жуткое отвращение, а потому взяла за правило с апреля до ноября все ванны принимать только холодными. Пробуя воду рукой (рука непроизвольно отдергивалась) она гнала себя вперед обычными призывами: «Давайте, Дороти! Пожалуйста, не трусьте!». Решительно шагнула через край и села, позволив перехватившей дыхание волне подняться до макушки. Через секунду, извиваясь и дрожа, вынырнула, но не успела отдышаться, как вспомнила про свою «памятку», которую намеревалась просмотреть. Мокрой рукой нащупала в кармане висевшего халата записку и, оставаясь по пояс в воде, перегнувшись к мигающей на стуле свечке, стала читать. В памятке значилось:

7.00 – СП.

Мс. Т. дитя? Срочно визит.

Завтрак: бекон. Срочно просить у папы деньги (Е)

что куп.? витамин. тоник для папы!

NB у Солп. для занавесок

чай из дягиля из Дейли М для ревматизма мс. П.,

мозольный пластырь для мс. Л.

12.00 – доспехи для Карла I

*НВ сух. клей О, 5 ф., серебр. кр. 1 б.
Обед /зачеркнуто/ Ланч:???
Разнести П. Вестник
НВ долг за мс. Ф. 3 шил. 6 п.
16.30 – Др. Матери чай, на угл. окно 2, 5 ярда!
Свеж. цветы для церкви
НВ медн. фольга 1 л.
Ужин: яичница.
Печатать папе проповедь (нов. лента для пиш. маш.?)
НВ в горохе выюнок! полоть срочно!!*

Когда Дороти вытиралась реденьким полотенцем размером с носовой платок (в хозяйстве приходского ректора отсутствовала такая роскошь, как полотенца нормального размера), волосы, отколовшись, рассыпались. Поток густых, мягких, редкостно белокурых прядей – пожалуй, к лучшему, что отец настрого запретил всякие стрижки, ведь волосы являлись ее единственной красотой. А в остальном Дороти выглядела девушкой роста среднего, довольно худощавой, но крепкой, стройной. Самым уязвимым во внешности было лицо: блеклое, неприметное, глаза прозрачные, нос чуточку длиннее, чем положено, уже наметились морщинки возле век, и рот в молчании ложился усталой складкой. Пока только эскиз, набросок старой девы, однако через год-другой рисунок определится. Хотя благодаря глазам, полным почти детской серьезности, Дороти виделась обычно моложе своих лет (ей скоро исполнялось двадцать восемь). И еще кое-что, чего никто не видел: на левом предплечье россыпь багровых пятнышек, будто там всласть попиروвали комары.

Снова натянув сорочку, Дороти вычистила зубы – просто водой, конечно, ибо и пасту не годится класть в рот перед СП, в конце концов, либо постишься, либо нет, эти РК^[2] тут совершенно правы, отстаивая принцип... Вдруг она, пошатнувшись, замерла. Отложила зубную щетку. Боль, настоящая физическая боль свела желудок.

С острым спазмом тоски, оповещающей об утреннем визите забытой за ночь неприятности, Дороти вспомнила счет от Каргила, мясника, которому они не платят целых семь месяцев. О, этот счет – в нем девятнадцать (а может уже и двадцать!) фунтов, и совершенно невозможно расплатиться! Кошмарный счет был главной мукой ее жизни, все дни и ночи хищно караулил в углу сознания, готовый броситься в любой момент. А за ним сразу потянулись другие, мелкие долги, общую сумму которых она не смела даже представить. «Господи, пожалуйста! Пусть хоть сегодня Каргил нам не присылает свой счет!» – невольно взмолилась Дороти, но тут же осознав, сколь суетна эта мольба, попросила за нее прощения. И стремглав бросилась на кухню, в надежде убежать от страшных мыслей.

Плита, как следовало ожидать, погасла. Вновь Дороти, перемазавшись углем, закладывала топку, вновь взбадривала огонь глотчком керосина, а потом беспокойно топталась рядом, переживая, что чайник долго не кипит. Отец требовал, чтоб воду для бритья готовили ровно к четверти седьмого.

Дороти удалось доставить кипяток с опозданием всего в семь минут.

– Входи, входи, – откликнулся на стук глухой брюзгливый голос.

В плотно зашторенной спальне царила духота, пропитанная особым стариковским запахом. Ректор уже зажег свечу и лежа на боку следил за стрелками покоившихся под подушкой и только что раскрытых золотых часов. Из-под копны пушистых белоснежных волос темный глаз раздраженно сверкнул куда-то поверх плеча вошедшей дочери.

– Доброе утро, папа.

– Мне очень бы хотелось, Дороти, – произнес Ректор не совсем внятно (в дикцию до поры, когда он надевал зубной протез, весьма активно вмешивалась шепелявость), – чтобы ты прилагала несколько больше усилий, дабы заставить Эллен подниматься в должный час. Или сама старалась бы проявлять чуть больше пунктуальности.

– Прости, папа. Эта плита все время гаснет, а я...

– Ну хорошо, Дороти, поставь воду на туалетный столик. Поставь ее и раздвинь шторы.

Стало заметно посветлее, хотя за окнами темнели пасмурные облака. Дороти торопливо ушла к себе. Сегодня утром ей предстояло собраться просто моментально, что, впрочем, требовалось регулярно шесть раз в неделю. Микроскопическое стенное зеркальце даже не

пригодилось. Не глядя Дороти надела золотой крестик (скромный, гладкий, никаких католических финтифлюшек, нет уж, пожалуйста!) скрутила волосы узлом, наспех воткнула шпильки и молниеносно справилась с одеждой: простая вязаная кофточка, махровая на швах юбка из твида, практичный шерстяной жакет, чулки, не подходящие по тону, изношенные туфли – весь туалет за три минуты. Теперь еще успеть перед причастием «навести красоту» в столовой, убрать отцовский кабинет и самой подготовиться, то есть вдумчиво помолиться по крайней мере минут двадцать.

Небо по-прежнему хандрило, и туфли Дороти, пока она толкала велосипед в калитку, промокли от невысохшей росы. Сквозь туман высившаяся на холме церковь Святого Афельстайна маячила свинцовой пирамидой, с пика которой одинокий колокол в единственном доступном ему регистре траурным басом отвечивал «бу-ум!», «бу-у-ум!». Вообще, в их церкви имелось восемь колоколов, но звонил лишь один (другие, снятые с крюков, вот уже три года продавливали пол колокольной). Снизу, из белой равнинной мглы слышалось звяканье католического колокола – гадкой пустозвонной жестянки, чей звук Ректор прихода Святого Афельстайна удачно сравнивал с комнатным колокольцем, тренькающим о том, что чай готов, булочки подогреты.

Сев на велосипед и пригнувшись к рулю, Дороти заторопилась вверх по холму. Узкую переносицу щипало холодным ветром. Над головой невидимо мчались навстречу слоистые низкие тучи. Ранней зарей вознесу я хвалу Тебе! Дороти намеревалась мигом проехать в задние ворота через кладбище, но, заметив черные разводы на руках, слезла, чтобы оттереть сажу растущей меж могил мокрой травой. Тем временем колокол смолк, она вскочила, кинулась со всех ног и успела войти в церковь вместе с Прогеттом, звонарем, топавшем теперь в своей затрепанной рясе и грубых огромных башмаках на пост алтарного причетника.

В храме стоял ледяной холод, пахло свечным воском и вековой пылью. Это был старый большой храм, слишком просторный для его нынешней общины, обветшавший, почти пустынный. Три островка скамей и вполтину не заполняли главный неф, а вокруг просто каменный пол с надписями, отмечавшими плиты старинных склепов. Потолочный свод над престолом заметно прогибался; пара ярких лучей, насквозь пронзивших источенные створки ящика для церковных сборов, безмолвно обличали жучков, врагов и сокрушителей христианского мира. В тусклые окошки сочился бледный худосочный свет. Через открытые южные двери топорщился у крыльца кипарис, тихо покачивались побеленные известкой, сероватые в сумерках ветки.

Как обычно, паства на утреннем причастии была представлена одной мисс Мэйфилл, хозяйкой усадьбы Грейндж. Так мало прихожан заглядывало в церковь по будним дням, что Ректор находил юных служек лишь для воскресного обряда, когда мальчишкам нравилось щегольнуть на публике церковным облачением. Вслед за мисс Мэйфилл Дороти вошла внутрь огороженной площадки для молений и в наказание за некий вчерашний грех отодвинула подушечку, встав коленями на голый камень. Служба началась. Ректор в сутане и полотняном стихаре быстро, привычно возглашал молитвы (сейчас уже вполне отчетливо, поскольку зубной протез прочно сидел на своем месте), но вот само благословение смущало странным тоном. Ректор был крайне холоден, в строгом немолодом лице, бледном как серебро стертой монеты, застыла отчужденность, точнее даже откровенная неприязнь. «Да, это подлинное таинство, – явственно сообщалось вам выражением лица, – и долг мой совершить публично святой обряд, однако же не забывайте, помните, что для вас я только духовное лицо, не друг и не приятель. Сам я симпатий к вам не питаю, смотрю на вас с пренебрежением и презрением».

Прогетт – по должности церковный сторож, звонарь, причетник и могильщик, на вид мужчина лет сорока, с курчавой сединой и смуглой морщинистой физиономией – внимал святым текстам в привычном благоговейном столбняке, не понимая ровно ничего, старательно вертя в красных ручищах миниатюрный причетный колокольчик.

Дороти прижимала веки пальцами, пытаясь сосредоточиться. Тревога о счете мясника не шла из головы, в то время как молитвы, известные до каждой запятой, впустую текли мимо. Стоило ей чуть приоткрыть глаза, они сразу пустились блуждать без всякой цели. Сначала вверх, к стоявшим на карнизе веселым безголовым ангелочкам, чьи шеи хранили зазубрины от пил, которыми казнили идолов солдаты-пуритане, потом обратно, к черневшей

на голове мисс Мэйфилл шляпке «свиной пирожок» и трепыхавшимся под ней серьгам. Фигуру мисс Мэйфилл драпировало непременно ее длинное черное пальто с воротничком из сального каракуля. Дороти еще в очень раннем детстве дивилась на это сооружение. Ткань пальто отчасти напоминала шелковый муар, а еще более – древесную кору, и вся, по прихоти рассудку недоступной, змеилась ручейками шнурованного канта; возможно, эта материя и являлась остатком легендарного правешества, «черного бомбазина». Мисс Мэйфилл была стара, стара настолько, что не осталось никого, кто бы помнил время, когда она старухой не была. От нее постоянно исходился слабый эфирный аромат, распознававшийся как запах нафталиновых шариков, одеколона и легкой струйки джина.

Дороти незаметно вытащила из лацкана большую портновскую булавку и под прикрытием спины мисс Мэйфилл вонзила острие себе в предплечье. Плоть дрогнула от боли. Но так и следовало – личный дисциплинарный метод, прием борьбы с кошунственной рассеянностью. Дороти давно придумала за каждую провинность наказывать себя уколом в руку, причем колоть достаточно жестоко, до крови.

С грозной булавкой наготове ей удалось молиться более благочестиво. Ректор тем временем скосил недобрый темный глаз на скрючившуюся мисс Мэйфилл, частенько осенявшую себя крестом (обычай, которого он не терпел). За стенами звонко трещали скворцы. Вдруг Дороти поймала себя на том, что взгляд тщеславно скользит по складкам ректорского стихаря, собственноручно ею сшитого два года тому назад, и, стиснув зубы, воткнула булавку на целую восьмушку дюйма.

И вновь они стояли на коленях. Читалась общая исповедь. Еще раз Дороти перевела глаза – увы, такие грешные! – и посмотрела направо, на витраж, созданный в 1851 году по эскизу Члена-корреспондента Королевской Академии сэра Уорда Тука и отобразивший момент торжественной официальной встречи Святого Афельстайна с ангельским корпусом Гавриила, а также замечательный тем, что все персоны на приеме в обители блаженных имели поразительное сходство как друг с другом, так и с принцем-консортом Альбертом, супругом королевы Виктории... Пришлось снова до крови вогнать в руку булавку. Усиленное внимание к смыслу звучащих слов молитвы направило мысли в нужное русло. Хотя булавка опять едва не пошла в ход на середине «Со ангелами, со архангелами», когда Прогетт бодро потряхнул свой колокольчик. На этом месте Дороти всегда настигал чудовищный соблазн захохотать. Ей сразу вспоминался случай, рассказанный отцом: маленьким мальчиком отец прислуживал у алтаря, однажды язычок в его причетном колокольчике отвинтился, звон заглох, и священник под благостные распевы «Со ангелами, со архангелами, со всеми силами небесными славу Тебе поем! Тебя, Господи, славим!» шипел: «Да навинти же его, дурень, дубина бестолковая! Навинти, навинти его!».

По окончании процедуры освящения, коленопреклоненная мисс Мэйфилл начала с необыкновенной медленностью, по частям, подниматься – похоже было, что туго распрямляется фанерный клоун на шарнирах. Подъем очередного сочленения сопровождался очередным дуновением нафталина и сильным скрипом, который производили отнюдь не косточки корсета, а собственные кости мисс Мэйфилл (услужливое воображение тут же подсовывало картину ожившего скелета под скорбной мантией).

Дороти все еще молилась, когда мисс Мэйфилл, покачиваясь и подергиваясь, заковыляла к престолу. Она едва могла ходить, но страшно обижалась, если ей предлагали помощь. В набор эффектных странностей мисс Мэйфилл входило и совершенно высохшее лицо, украшенное, однако, алчной пещерой огромного влажного рта. Нижняя губа, не держащая по старости слюну, отвисла, обнажив десну и ряд напоминавших клавиатуру старой пианолы желтых искусственных зубов, а над верхней губой щетинились густые росистые усы – короче, рот не из самых аппетитных, не те уста, с которыми вас манит выпить из одного бокала. И неожиданно, как будто сам Нечистый ей суфлировал, Дороти зашептала: «Господи! Сделай так, чтобы мне не пришлось пригубить чашу святую после мисс Мэйфилл...». В ту же секунду она похолодела – лучше уж было откусить себе язык, чем высказать столь богохульное желание, да еще прямо перед Святым Причастием! Она так крепко всадила в руку булавку, что еле подавила крик. Затем смиренно приблизилась к алтарным ступеням и опустилась на колени слева от мисс Мэйфилл – теперь уж обязательно придется пить из потира после нее.

Низко опустив голову, сомкнув ладони, Дороти про себя читала покаянную молитву, спеша закончить до того, как отец подойдет с причастием. Но воодушевление погасло. Она слышала шарканье башмаков Проетта и ровный отцовский голос, тихо приказывающий «возьми и съешь», видела серые проплешины красной ковровой дорожки под коленями, прекрасно ощущала рядом ароматическую смесь пыли, одеколona и нафталина, но абсолютно не имела сил думать о Теле и Крови Спасителя, даже о том, зачем она вообще сюда пришла. Ничего в мыслях, ничего в чувствах. Она пыталась перебороть себя, твердила начальные молитвенные фразы – напрасно, лишь пустые скорлупки слов. Отец остановился перед ней с облаткой в усталой, изящно вылепленной руке. Облатку Ректор держал кончиками пальцев, осторожно и аккуратно, вроде ложки с микстурой, однако глаза его неотрывно следили за мисс Мэйфилл, которая, согнувшись горбатой гусеницей, скрипела костями на все лады и так быстро, размашисто крестилась, будто стряхивала с ворота пальто лягушат. Дороти не решалась причаститься. Не смела. Честнее, гораздо честнее совсем уйти, чем взять причастие с этой душевной смуты.

Случайно она взглянула в раскрытую южную дверь. Солнце копьём пробило облака, пронзило липовые кроны, и ветка, нависавшая над входом, вдруг вспыхнула бесподобной зеленью, зеленее всех нефритов и волн Атлантики. Какой-то волшебной силы самоцвет сверкнул, наполнил проем ярчайшим зеленым блеском и в тот же миг исчез. Радость хлынула в сердце. Чем-то, что больше и глубже всего, вспышка живого цвета возвратила покой, веру, любовь. Чудесным образом зеленая листва вернула дар благодарно и счастливо молиться. О, вся прекрасная земная зелень, будь ты вовек благословенна! Облатка растаяла на языке. Дороти приняла из рук отца серебряный потир и без малейшей брезгливости, даже с особым удовольствием от этой крохотной победы над гордыней, заметила у края чаши темный слюнявый отпечаток губ мисс Мэйфилл.

2

Церковь Святого Афельстайна являлась в топографии Найп-Хилла вершинным пунктом, и если бы вас посетило желание взобраться на колокольню, вам бы открылся вид на десять миль кругом. Хотя не так уж много было того, что стоило обозреть, – обычный плоский, слегка бугристый ландшафт Восточной Англии, несносно скучный летом, зато в зимние дни вознаграждающий отрадно постоянной привычкой вязов распускать веера голых корявых сучьев на фоне свинцовых туч.

Вплотную к церковному холму лепился городок, длинная Главная улица делила его на совершенно разные районы. Южная сторона была старинной, благородно сельской, респектабельной. На севере дыбились корпуса сахароварного завода Блифил-Гордона, вокруг густо желтели дешевым кирпичом скопления дрянных коттеджей, заселенных по преимуществу рабочими. Эти рабочие, которых в двухтысячном составе жителей Найп-Хилла насчитывалось больше половины, были из пришлых, бойкие горожане, чуть не поголовно безбожники.

Светская городская жизнь вращалась вокруг двух центров. Клуб Консерваторов Найп-Хилла (торговая лицензия на все виды спиртных напитков), сквозь эркерное окно которого во всякий час после открытия буфета лучшие местные джентльмены, как толстенькие золотые рыбки в банке, дарили счастье любоваться завидной пухлостью их щек с румянцем того же яркого оттенка, что розовеет на свежайших жабрах. Чуть далее по Главной улице стильное заведение «Старинный Чай» – уголок ежедневных randevу дамской части Найп-Хилла. Не побывать утром от десяти до одиннадцати в «Старинном Чае», не окунуться на полчаса в стихию очаровательного воркования: «Ах, дорогая, ты представь: с десяткой пик он выложил некозырную!.. О, дорогая, снова платишь за мой кофе? Ах, дорогая, это слишком, завтра я просто потребую платить за твой!.. Но дорогая, погляди же на Тото – чудненький мальчик с таким чудненьким черненьким носиком! А вот мамулечка даст крошке кусочек тортика! На, мой Тотошечка!» – пренебречь неременной утренней «чашечкой кофе» в «Старинном Чае» значило оказаться вне круга избранных. Ректор в своей едкой манере именовал великосветских дам «кофейной гвардией».

Неподалеку от стайки изящных («живописных») вилл, где обитали кофейные гвардейцы, но на пространстве несравненно более обширном располагалась усадьба Грейндж, родовая крепость мисс Мэйфилл. Диковинное жилище с башенками, бойницами и прочей псевдоготической дребеденью – причуда некоего безумца, исполненная в 1870 году из красных кирпичей и, к счастью, почти скрытая от глаз прохожих чащей высокого кустарника.

Дом Ректора торчал на середине холма, фасадом к церкви, тылом к Главной улице. Неясный стиль постройки включал такие архитектурные черты, как безобразность, несуразность и громоздкость, а также вечная облезлость трухлявой охристой штукатурки. Один из бывших приходских священников пристроил сбоку огромную теплицу, которую Дороти определила под мастерскую, хотя что-либо мастерить там было затруднительно ввиду стабильной, нескончаемой фазы ремонта. Сад перед домом давно был побежден нашествием косматых елей и ростом могучего густого ясеня, не пропускавшего в комнаты свет и неизменно губившего цветы на подоконниках. Сзади располагался обширный огород. Гряды весной и осенью вскапывал Прогетт, а семенами, рассадой и прополкой ведала Дороти, посвящая этим трудам буквально все время, что удавалось выкроить; в результате там обычно произрастали буйные джунгли сорняков.

Дороти спрыгнула с велосипеда. На калитку какой-то ретивый агитатор успел приляпать плакат «Голосуйте за Блифил-Гордона и Настоящую Зарплату!» (близилась дополнительные выборы, и мистер Блифил-Гордон шел кандидатом от консерваторов). Возле парадной двери, на изодранном кокосовом половичке лежали два письма. Одно от надзирателя епархии, другое, отвратительно тощее (счет, разумеется) от отцовских портных из мастерской «Каткин и Палм». Отец уже наверняка забрал все интересные ему послания, бросив другие. Дороти нагнулась поднять письма и тут, с мгновенным приливом ужаса, заметила застрявший в почтовой прорези конверт без марки.

Счет, несомненно местный счет! Но мало этого, едва взглянув, Дороти знала – кошмарный счет от Каргила! Внутри что-то оборвалось, минуту она даже безумно молилась, чтобы это был счет на три фунта и семь шиллингов из лавки мануфактурщика Солпайпа или из магазина «Весь мир для вас», или из булочной, молочной – откуда и от кого угодно, но только не от Каргила! Кое-как подавив панику, она вытащила конверт, нервно надорвала: «Счет по задолженности. Итог = 21 фунт, 7 ш., 9 п.». Стандартный текст, деловой почерк равнодушного клерка. Но ниже крупными обвинительными буквами приписано и жирно подчеркнуто: «Попрошу уважаемое внимание, что счет находится в ожидании ОЧЕНЬ ДОЛГО. Незамедлительная уплата желательна КАТЕГОРИЧЕСКИ. С. Каргил».

Дороти побледнела и почувствовала, что завтракать ей совершенно расхотелось. Сунув конверт в карман, она направилась в столовую. Столовой служила сырая тесноватая комната, настоятельно требовавшая оклейки новыми обоями и обставленная, в ансамбле с остальными помещениями, различным древним хламом. Мебель была «солидной», но безнадежно развалившейся, продавленные шаткие кресла могли использоваться без ущерба для здоровья лишь при наличии глубоких специальных знаний об их бесчисленных пороках. По стенам потемневшие неразборчивые гравюры; одна из них, с ван-дейковского портрета Карла I, возможно, обладала бы даже некоторой ценностью, если бы не пятна обильной плесени.

Ректор стоял перед пустым камином, отогреваясь у воображаемого огня, читая письмо, присланное в голубом элегантном конверте; черным шелком еще не снятой сутаны красиво оттенялись снежная белизна волос и бледность тонкого, отнюдь не добродушного лица. При появлении Дороти он отложил письмо и, вынув золотой брегет, многозначительно взглянул на стрелки.

– Боюсь, папа, что я немножко опоздала.

– Да, Дороти, ты немножко опоздала, – молвил отец, повторив слова дочери с легким, но выразительным нажимом. – Если быть точным, опоздала ровно на двенадцать минут. Не думаешь ли ты, Дороти, что, когда мне приходится вставать перед причастием в четверть седьмого и возвращаться совершенно изнуренным, было бы лучше, если бы ты прибывала к завтраку, не будучи немножко опоздавшей?

Стало ясно, что Ректор сегодня в настроении, которое Дороти про себя образно называла «трудным». Голос звучал той глубочайшей утомленностью, когда интонации не несут ни явственно сердитой, ни сколько-нибудь положительной окраски, лишь постоянное

«ну до чего несносна эта ваша мышинная возня!». Вид Ректора столь же красноречиво демонстрировал вечную муку от назойливой глупости окружающих.

– Папа, прости, пожалуйста! Мне обязательно нужно было зайти справиться о здоровье миссис Тони (той самой «мс. Т.», которая значилась в памятке сразу после «СП»). Младенец у миссис Тони родился вчера ночью, и ты ведь знаешь, она обещала мне прийти, чтобы ты смог благословить ее дитя, но ведь она и не подумает прийти, если подумает, что мы не проявляем к ней участия. Ты ведь знаешь, какие они странные, эти женщины – иногда кажется, что они просто ненавидят благословения, и не приходят никогда, если я их не уговариваю.

Ректор не проворчал, только досадливо хмыкнул на пути к столу, выразив таким образом, что, во-первых, долг этой миссис Тони явиться за благословением без всяких уговоров, а во-вторых, что Дороти не следует напрасно тратить время на разный сброд, в особенности перед завтраком. (Миссис Тони была женой фабричного рабочего и проживала in partibus infidelium^[3], к северу от Главной улицы). Ректор взялся за спинку кресла и бросил на Дороти взгляд, устало говоривший: «Можно ли, наконец, начать? Или имеются еще какие-то препоны?».

– Думаю, все уже на столе, папа, – сказала Дороти. – И если ты готов возблагодарить...

– Benedictus benedicat, – произнес Ректор, снимая с блюда ветхую парчовую салфетку.

Парчовая салфетка и десертная серебряная с позолоченным краем ложечка были семейным достоянием; остальные столовые приборы, как и предметы фаянсовой посуды, достались с массовых сезонных распродаж.

– Опять передо мной все тот же бекон, – констатировал Ректор, разглядывая три лепестка, свернутые на квадратиках поджаренного хлеба.

– Боюсь, что это все наши припасы, – вздохнула Дороти.

Взяв вилку двумя пальцами, Ректор с легкой опасливостью перевернул один из лепестков.

– Разумеется, мне известно, – начал он, – что бекон к завтраку является столь же древним и прочным английским учреждением, как парламент. И все же, ты не находишь, Дороти, что время от времени мы могли бы решиться на небольшое отступление от традиций?

– Бекон сейчас такой дешевый, – оправдываясь, пояснила Дороти, – даже грешно не покупать его. Этот, например, продавался по пять пенсов за фунт, а я недавно видела вполне приличный бекон всего по три.

– Датский, я полагаю? Какое множество разбойных датских нападений пережила наша несчастная страна! Сначала эти датчане вторгались с луками и стрелами, теперь со своим мерзким дешевым беконом. И кстати, любопытно, что же оказалось для британцев более гибельным?

Слегка повеселев от собственной остроты, Ректор сел поплотнее и довольно прилично закусил презренным беконом. Дороти бекон не ела (епитимья, наложенная на себя за сказанное накануне «черт возьми» и полчаса вчерашнего послеобеденного безделья), она придумывала хорошие вступительные фразы к важному разговору.

Предстояло исполнить неприятнейшее задание – попросить у отца деньги. Достичь здесь положительного результата почти не удавалось и в относительно благоприятные моменты, сегодня же успех потребует усилий исключительных, ибо по всем признакам этим утром отец не только «трудный», но и «сложный» (еще один из эвфемизмов Дороти для внутреннего пользования). «Ему наверно сообщили какие-то плохие новости», – уныло размышляла Дороти, глядя на голубой конверт.

Никто, побеседовав с Ректором больше десяти минут, не стал бы отрицать, что он принадлежал к «трудному» человеческому типу. Но разве по собственной вине? Причина хронически дурного расположения духа крылась в том безусловном природном факте, что он являл собой анахронизм. Ему никак нельзя было родиться в двадцатом веке, сам воздух которого душил и возмущал его. Пару столетий назад он был бы скептиком широких взглядов, тешил бы себя стихотворчеством или коллекцией окаменелостей и наслаждался прелестью свободы, пока младший викарий за сорок фунтов в год тащил бы на себе все

приходские хлопоты. Даже теперь он мог бы, при относительном благополучии, разочарованно покинуть современный варварский мир. Однако скромное уединение под сенью канувших веков по нашим временам стоит недешево. Не менее двух тысяч фунтов в год. Естественно, прикованный своим мизерным доходом к эпохе Ленина и «Дейли Мэйл»^[4] он никогда не выходил из состояния раздражительности, которая, конечно, изливалась на наиболее доступные объекты – прежде всего на Дороти.

Младший сын младшего сына баронета, Ректор родился в 1871 году и принял духовный сан вследствие благородного обычая награждать младших, отлученных от наследства, сыновей профессией священника. В виде первой церковной бенефиции ему достался обширный лондонский приход среди трущоб Ист-Сайда – богомерзкое скопище грязных бандитских притонов, которое он вспоминал с глубоким отвращением. Уже тогда «низшие классы» (он предпочитал именно этот термин) начали вольничать, непозволительно дерзить. Несколько лучше стало, когда его перевели викарием в какое-то местечко графства Кент (где, кстати, родилась Дороти); в том захолустье благопристойно приниженные поселяне еще снимали шляпы перед «его преподобием». Почти идиллия, однако Ректор успел чертовски неудачно жениться, а поскольку священникам не подобает давать пример семейных распрей, злосчастье его брака копилось в тайне, то есть было стократ ужасней. В Найп-Хилл он прибыл в 1908 году, имея при себе свои тридцать семь лет и безнадежно испорченный характер, довольно скоро распугавший причисленных к его округу мужей, жен и детей малых.

Паства рассеялась не оттого, что Ректор был дурным священником, а оттого, каким священником он был. Все служебные обязанности он выполнял с неукоснительной корректностью – быть может, несколько излишней для равнодушной к церемониям общины, взращенной в лоне Низкой церкви Восточной Англии. Он совершал обряды с безупречным вкусом, сочинял образцовые проповеди, вставал до света по средам и пятницам, чтобы отслужить причастие самым тщательным образом. Однако то, что Ректор, духовный попечитель прихода, имеет некие обязанности и за стенами храма, – такое даже не мелькало в его мыслях. Лишенный финансовой возможности взять в помощь младшего священника, он поручал всю досаждавшую возню с приходом сначала супруге, а после ее кончины, случившейся в 1921 году, – дочери. Люди ехидно говорили, что, будь тут его воля, он дал бы Дороти и проповеди за себя читать. Злословили несправедливо; «низшие классы» обижало высокомерие нищего священника. Явись он перед ними богачом, они привычно кинулись бы ползать и угождать, ну а в реальных обстоятельствах дружно его возненавидели. В свою очередь, Ректора мало трогало, любят или не любят его эти людишки, само существование которых он едва ли замечал. Однако и с «высшими классами» отношения у него сложились ничуть не лучше. Надменностью он постепенно оттолкнул все сельское дворянство, тем же явным пренебрежением внук баронета уязвил и городскую нетитулованную знать. За двадцать три года служения в Найп-Хилле ему удалось сократить паству Святого Афельстайна с шестисот прихожан до неполных двух сотен.

Не только личный характер Ректора способствовал этому впечатляющему результату. Настроенная на старинный дух «Высокая» ветвь англиканства, к которой упрямо льнул высокородный священник, имела свойство примерно в равной степени быть неприятной для всех приходских партий. Вообще, в наши дни у служителя церкви лишь два пути к публичному успеху. Либо просто (вернее, именно непросто: затейливо и театрально) творить обряды на католический манер, либо удариться в самую дерзкую широту модных воззрений и утешительно доказывать с амвона, что никакого ада за гробом нет и все хорошие религии одно и то же. Ректор отвергал оба курса. Кипучие возвышенные страсти англокатоликов он, кривя губы, называл «римской лихорадкой», зато простецких прихожан то и дело насмерть сражал роковым словом «католический», употребляя его не только в текстах из Писания, но и в собственной речи. Таким образом, паства все таяла и таяла, причем первыми удалились Лучшие Люди. Ушел владевший пятой частью графства лорд Покторн, хозяин Покторн-корты, за ним крупный помещик, в прошлом негоциант кожоторговец мистер Ливис, затем сэр Эдвард Хьюзон из Крэбтри-холла, затем и остальные благородные джентльмены-владельцы автомобилей. Большая часть изменников теперь по воскресеньям отправлялась за пять миль в Миллборо. Там было вдвое больше жителей и два храма на выбор. Для модернистов церковь Святого Эдмунда – над алтарем цитата из поэмы Блейка^[5] «Иерусалим» к причастию

вино в ликерных рюмочках. Для поклонников Рима, непримиримых партизан вечной войны против британского Епископа, – церковь Святого Уэдекинда. И некоторые шли в этой битве до конца: так, мистер Камерон, секретарь Клуба Консерваторов Найп-Хилла, всецело обратился в католичество, и дети его ринулись на передний край римско-католического литературного фронта (ходили слухи, что даже попугая в этом семействе научили твердить *Extra ecclesiam nulla salus*^[6]). В итоге, из персон со сколько-нибудь видным положением верность Святому Афельстайну сохранила одна мисс Мэйфилл из усадьбы Грейндж. Любимой церкви была завещана большая часть ее немалых капиталов. По крайней мере, так утверждала сама мисс Мэйфилл, хотя при этом ни разу не было замечено, чтоб ее лепта в церковных сборах превысила шесть пенсов; к тому же щедрая завещательница, очевидно, владела секретом вечной жизни.

Первые десять минут завтрака прошли в полнейшей тишине. Дороти собиралась с духом, храбрилась – требовалось завести ну хоть какой-то разговор, чтобы приблизиться к вопросу о деньгах. Отец не был любезным светским собеседником. То он парил в неведомых высотах и вряд ли даже слышал вас, а то, напротив, слушал с чрезвычайным, чересчур пристальным вниманием и затем утомленно резюмировал, что говорить такую чушь вообще не стоило. От вежливых банальностей (погода и тому подобное) мгновенно разгорался его сарказм. Тем не менее, в целях дипломатичного вступления Дороти выбрала именно погоду.

– Странный сегодня день, не правда ли? – произнесла она и, еще не договорив, сама поразилась бессмысленности замечания.

– Чем же странный? – осведомился Ректор.

– Ну, я хочу сказать, что утром было холодно и сыро, а теперь солнце вышло и погода стала лучше.

– Есть ли здесь нечто странное?

«Ох, нет, – думала Дороти – это совсем не подходит. Ему, должно быть, сообщили очень плохие новости». Она сделала новую попытку:

– Мне бы ужасно хотелось, папа, чтобы ты как-нибудь пришел взглянуть на огород. У красной фасоли в этом году рост просто удивительный, стручки наверно будут длиннее фута. Надо самые крупные плети оставить на Праздник урожая. Будет ведь просто замечательно, если украсить амвон гирляндами фасоли и несколькими яркими томатами...

Явный *faux pas*^[7]. Ректор оторвал взгляд от тарелки и посмотрел с выражением скорбной безразличности.

– Дорогая Дороти, – жестко сказал он, – так ли обязательно уже сейчас терзать меня этим Праздником урожая?

– Прости, папа, – заволновалась Дороти. – Я вовсе не хотела тебя терзать, я просто думала...

– Ты, вероятно, думаешь, – продолжал Ректор, – что для меня блаженство и отрада стоять на кафедре среди пучков фасоли? Но я не зеленщик. У меня аппетит пропадает при одной мысли об этой дикости. Когда дурацкое несчастье разразится?

– Шестнадцатого сентября, папа.

– Итак, не ранее чем через месяц. Сделай милость, позволь хотя бы на этот краткий срок забыть о тягостном грядущем! Вероятно, таков наш долг – терпеть раз в год столь вздорную затею и услаждать здесь всякого, кто воображает себя любителем садов и огородов. Однако нет надобности уделять этому балагану какое-либо внимание сверх неизбежного.

Как Дороти могла забыть особенное отвращение отца к Праздникам урожая! Он даже потерял весьма важного прихожанина – бранчливого мистера Тогиса, владельца крупного огородного хозяйства, – вследствие нежелания «превращать церковь в овощной лоток». Мистер Тогис, *anima naturaliter Nonconformistica*^[8] удерживался при храме Святого Афельстайна исключительно благодаря старинной персональной привилегии декорировать боковой придел к Празднику урожая рядами гигантских кабачков, поставленных стоймя на манер исполинских языческих обелисков Стоунхенджа. А год назад мистер Тогис сподобился

взрастить истинного левиафана – громадную огненно-красную тыкву, для переноски которой понадобились два грузчика. Гигантский овощ был водружен в алтарной нише на подоконнике витражного окна и там, буквально затмевая свет, царил как идол, торжествующий над христианством. В какой бы части церкви вы не стояли, тыква, что называется, была в глаза.

Мистер Тогис достиг вершины упоения. Не в силах оторваться от обожаемой багровой тыквы, он околачивался в церкви день и ночь и энергично комплектовал группы посменных экскурсантов, желавших полюбоваться предметом его страсти. Увидев в эти минуты мистера Тогиса, вы бы решили, что он декламирует оду Вордсворта, посвященную Вестминстерскому мосту:

Нет у земли создания прекрасней!
И сердца нет у тех, кто равнодушно
Минует это царственное чудо!

У Дороти тогда даже забрезжила надежда убедить мистера Тогиса регулярно причащаться. Но когда тыкву увидел Ректор, он впал в бешенство, приказав «сию минуту выкинуть эту гадость». Смертельно оскорбленный, мистер Тогис тут же переменял храм веры; и он, и все его наследники были потеряны для церкви Святого Афельстайна навсегда.

Дороти решила на еще одну попытку завязать разговор.

– Костюмы для «Карла I» неплохо продвигаются, – сообщила она. (Дети в воскресной школе репетировали пьесу «Карл I», сбор от спектакля предназначался Фонду покупки нового органа). – Жаль только, что мы выбрали такую тяжелую эпоху. Клеить доспехи очень трудно, а уж с ботфортами, боюсь, вообще возникнут страшные сложности. Лучше, наверное, было бы ставить что-нибудь греческое или римское. Что-нибудь, где носят простые тоги и ходят босиком.

Ректор откликнулся очередным глухим ворчанием. Школьные пьесы и процессии, благотворительные базары и распродажи виделись ему предприятиями менее устрашающими, чем праздники урожая, однако он не скрывал, что никакого интереса к ним не испытывает и числит по разряду все тех же неизбежных зол. В этот момент служанка Эллен, неуклюже толкнув дверь, вошла и стала, придерживая фартук на животе большущей шелушащейся рукой. Сутулая и долговязая, с тусклыми волосами и скверным цветом лица, она страдала хронической экземой. Эллен испуганно уставилась на Ректора, но в страхе перед хозяином, не сводя с него глаз, обращалась к Дороти:

– Пожалста, мисс, – прохныкала она.

– Да, Эллен?

– Мисс, пожалста, – плаксиво затынула служанка, – там в кухне мистер Портер, он там хочет, чтоб можно, чтобы Его преподобие сходит, чтоб окрестить младенчика миссис Портер? Потому как они думают, не протянуть ему, видать, до вечера, а он как есть не окрещенный, мисс.

Дороти вскочила.

– Сядь! – резко бросил Ректор, не прекращая жевать.

– Но что с ребенком? – заволновалась Дороти.

– Ох, мисс, да он чернеет и чернеет и сделался уж вовсе черный, и уж такой понос из его хлещет, ну прямо страсть!

Ректор с трудом сглотнул.

– Мне обязательно выслушивать все эти омерзительные подробности, когда я за столом? – воскликнул он. Потом набросился на Эллен: – Ступай, гони этого Портера, скажи, что я приду к ним после полудня.

– Для меня абсолютно непостижимо, почему низшие классы всегда являются и досаждают людям в момент трапезы? – добавил Ректор, метнув гневный взгляд на Дороти.

Разумеется, докучный мистер Портер был самым настоящим «низшим классом» (точнее – каменщиком), и, разумеется, его желание срочно крестить хилого новорожденного священник одобрял. Случись необходимость, Ректор без малейших колебаний прошагал бы и двадцать миль по снегу для спасения младенческой души. Он только не мог перенести, что его дочь готова вскочить из-за стола, дабы мчаться на зов простого каменщика.

Разговор окончательно прервался. Сердце у Дороти падало ниже и ниже. Деньги просить она должна, но просьба, сомнений уже не вызывало, будет отвергнута. Окончив завтрак, Ректор неторопливо поднялся, достал с каминной полки банку с табаком и начал набивать трубку. Вознеся краткую молитву о даровании отваги, Дороти крепко ущипнула себя («Ну, Дороти, начинайте! Без уверток, прошу вас!») и заставила язык зашевелиться:

– Папа...

– В чем дело? – обернулся Ректор со спичкой в руке.

– Папа, есть кое-что... мне очень хотелось бы спросить. Об очень важном...

Взгляд Ректора изменился. Он сразу угадал, какой последует вопрос и, как ни странно, выглядел сейчас менее раздраженным. Лицо его окаменело, приобретя сходство с крайне холодным и неотзывчивым сфинксом.

– Дороти, дорогая, я знаю, что именно ты собираешься сказать. Ты снова хочешь попросить денег. Правильно?

– Да, папа, потому что...

– Не трудись, я избавлю тебя от объяснений. Денег нет – абсолютно никаких денег до следующего квартала. Твоя сумма была своевременно выдана, больше я не сумею дать ни полпенни. И напрасно было вновь меня беспокоить.

– Но папа...

Сердце стучало на самом дне. В попытках говорить с отцом о деньгах хуже всего была эта его невозмутимость. Он никогда не становился таким бесчувственным, как в те моменты, когда ему напоминали о затопивших его долгах. Словно не понимая, что торговцы хотят иногда покрывать свои кредиты и что всякий дом требует содержания, он отпускал Дороти восемнадцать фунтов в месяц на все расходы по хозяйству, включая жалование Эллен, но был весьма «внимательным» насчет еды, чутко улавливая малейшее ухудшение ее качества. Соответственно, колесо домашних дел скрипело круговоротом вечных долгов, которых Ректор как бы не замечал и, похоже, действительно не видел. Вот если неудачно шла игра на бирже, его обуревали сильные тревоги, а счета от каких-то торгашей – подобной мелочью он себе голову не забивал.

Дымное ароматное облачко плавно вилось из трубки. Ректор пристально созерцал гравюру с портретом Карла I, позабыв, вероятно, о просьбе Дороти. Видя его таким беспечным, она ощутила прилив отчаянного мужества и значительно тверже, чем прежде, сказала:

– Папа, пожалуйста, послушай! Мне необходимы сейчас деньги! Просто необходимы! Так продолжаться не может, мы задолжали чуть ли не всем лавочникам. Я уже просто не в состоянии снова идти по магазинам, зная про все наши счета. Ты знаешь, что мы задолжали Каргилу почти двадцать два фунта?

– И что же? – выдохнул Ректор между двумя короткими затычками.

– Счет накапливался целых семь месяцев! Он посыпался нам снова и снова. Мы должны оплатить его! Нехорошо, как-то нечестно заставлять мясника дожидаться своих денег так долго!

– Пустяки, дитя мое! Все эти люди заранее готовы подолгу ждать. Это им нравится. Это, в конце концов, им выгодно. Кто знает, сколько же теперь за мной у «Каткина и Палма», я даже не интересуюсь. Они напоминают об уплате каждой утренней почтой, однако ты не слышишь моих жалоб, не правда ли?

– Но папа! Я не умею смотреть на это, как ты, я не могу! Невыносимо всегда быть должником! Даже если это не истинный грех, это так отвратительно! Когда я захожу в магазин Каргила, чтоб заказать мясо к обеду, он отвечает мне ужасно резко и обслуживает всегда самой последней, и все из-за того, что наши счета лишь копятся и копятся. И я не смею перестать у него заказывать. Если я перестану, он вообще рассердится и может заявить в полицию.

Ректор нахмурился:

– Что? Ты хочешь сказать, что наглый малый обходится с тобой неподобающим образом?

– Нет-нет, я не сказала, что он наглый. Мы не вправе его винить, если он недоволен, когда ему не платят.

– А я имею право винить! Невероятно, до какой степени распустились эти молодчики. Невероятно! Ну вот, извольте посмотреть, вот так нас делают мишенью для издевательств в нашу милую эпоху. Вот вся их демократия – прогресс, как у них принято выражаться. Никогда больше не делай заказов у наглеца, скажи ему, что ты немедленно заводишь счет в какой-нибудь другой лавке. Единственный способ ставить этот народ на место.

– Но папа, ничего же не изменится. Разве на самом деле и по совести мы не должны ему заплатить? И неужели совершенно невозможно достать нужную сумму? Продать, может быть, несколько твоих акций или еще что-то?

– Дитя мое, ни слова об акциях! Мне только что доставили самые неприятные известия. Мой брокер сообщил, что акции «Суматра-никель» упали с семи шиллингов четырех пенсов до шести шиллингов одного пенни, – убыток почти в шестьдесят фунтов. Я отдал письменное распоряжение спешно продать весь мой пакет, пока курс не понизился до минимума.

– Но если ты продашь, появятся наличные, ведь правда, папа? Не думаешь ли ты, что было бы чудесно освободить себя от долга раз и навсегда?

– Пустяки, пустяки, – ответил Ректор, вновь обретая спокойствие и возвращая трубку в рот. – Ты абсолютно ничего не смыслишь в финансовых делах. Мне нужно будет сразу инвестировать средства в более перспективную компанию, дабы возместить потери.

И заложив палец за пояс сутаны, Ректор сосредоточенно застыл перед офортом. Брокер теперь советовал «Цейлон-алмаз». Здесь, в туманных «цейлон-алмазах» и «суматра-никелях», крылась причина непрестанных материальных бедствий. Ректор был игроком. Нет, разумеется, ни тени азартных игр, а просто беспрестанный поиск «удачных инвестиций». Достигнув совершеннолетия, будущий Ректор унаследовал четыре тысячи фунтов, в процессе инвестиционных операций усохших до тысячи с небольшим. Но еще хуже, что, наскребая полсотни фунтов из годового жалкого дохода, он мигом безвозвратно пускал их в ту же трубу. Факт примечательный – среди всех классов и сословий соблазн «удачных инвестиций» с особенным упорством преследует духовных лиц. Возможно, такова современная ипостась назойливых и неотвязных бесов, которые, приняв очень женственный облик, искушали отшельников в раннем средневековье.

«Куплю пятьсот «Цейлон-алмазов», – решил мысленно Ректор.

Надежда почти оставила Дороти. Отец ушел в думы об «инвестициях» (о них она действительно знала лишь то, что они складывались неудачно с феноменальной регулярностью), еще минута и вопросы счетов-долгов окончательно выскользнут из его сознания. Она предприняла последний штурм:

– Папа, прошу тебя, давай покончим с этим. Ты в самом деле не сумеешь дать мне еще немного денег? Пусть не сейчас, а в конце месяца или хотя бы в начале следующего?

– Нет, дорогая, не сумею. Возможно, ближе к рождеству, но и тогда весьма и весьма маловероятно. Пока же – ни при каких условиях. Ни одного свободного пенса.

– Папа! Но так ужасно жить, не платя долги. Это ведь нас позорит! Когда в последний раз приезжал мистер Уэллен-Фостер (мистер Уэллен-Фостер служил епархиальным надзирателем), его жена обегала весь город, расспрашивая, как мы проводим время, какой у нас стол, сколько мы покупаем на зиму угля и все, все, все. Она всегда высматривает и выпытывает. Она узнает, что мы так много задолжали!

– Однако это, надо полагать, наше личное дело? Мне не совсем понятно, причем здесь миссис Уэллен-Фостер или иное стороннее лицо.

– Но она растрезвонит о нас повсюду и еще приукрасит! Ты ведь знаешь, какова миссис Уэллен-Фостер: старается в каждом приходе набрать о священнике всяких постыдных сведений, чтобы потом каждую мелочь пересказать Епископу. Не хочу отзываться ней плохо, но, честно говоря, она...

Почувствовав, что «честно говоря» сказать хотелось очень плохо, Дороти замолчала.

– Она – мерзейшая особа, – ровно произнес Ректор. – И что же? Слышал ли мир о таких женах епархиальных надзирателей, которые не являлись бы мерзейшими?

– Ну папа, мне не убедить тебя, насколько все серьезно. Пойми, пожалуйста, через неделю нам просто не на что будет существовать. Я даже не знаю, где взять мяса сегодня на обед.

– Ланч, Дороти, ланч! – поправил Ректор с некоторым раздражением. Я настоятельно просил бы тебя оставить вульгарную привычку называть ланч «обедом».

– Хорошо, папа, – ланч. Но где мне все-таки достать мясо? Я не посмею опять просить у Каргила.

– Пойди к другому мяснику. Как там его зовут? Салтер? И позабудь ты, наконец, об этом Каргиле. Он знает, что ему заплатят рано или поздно. Бог мой, вокруг чего такая суета! Разве не все порядочные люди должны своим поставщикам? Прекрасно помню, что, когда я учился в Оксфорде, за отцом числились какие-то его оксфордские счета тридцатилетней давности. А старина Том (Том являлся кузеном Ректора, баронетом) имел долгов на восемь тысяч, пока не получил по завещанию. Он сам мне презабавно рассказывал об этом.

Больше ждать было нечего. Если уж появлялся «кузен Том» и вспоминалось «когда я учился в Оксфорде», кончено. Это означало, что отец снова в краях утраченного золотого века, и там, конечно, ни пяди для столь низменных материй, как счета лавочников. Случалось, моменты отказа от презируемой действительности шли длинной непрерывной полосой, и Ректор совершенно забывал, что он стареющий нищий священник провинциального прихода, а вовсе не юный отпрыск знатного семейства, наследник фамильных латифундий. Аристократизм воистину был у него в крови. И разумеется, пока он жил (кстати, совсем неплохо) в мире собственных благородных грез, Дороти в одиночку отбивалась от кредиторов, хлопоча по дому и растягивая воскресный ломоть баранины до четверга. Хорошо зная бесплодность дальнейших просьб – диалог мог закончиться лишь вспышкой отцовского гнева, – Дороти стала собирать посуду на поднос. Уже в дверях она все-таки тихо спросила:

– Папа, ты абсолютно уверен, что даже чуточку денег дать не получится?

Глядевший куда-то вдаль, окутанный уютными клубами дыма, Ректор ее не видел. Повидимому, витал сейчас в одном из драгоценных оксфордских снов. Расстроившись почти до слез, Дороти вышла. Вопрос долгов снова, в тысячный раз, отложен, и, главное, без всякой надежды когда-нибудь покончить с ним.

3

Позволив дряхлому велосипеду с привязанной к рулю плетенкой свободно катиться вниз, Дороти выполняла в уме всевозможные арифметические упражнения с тремя фунтами, девятнадцатью шиллингами и четырьмя пенсами – всеми ее ресурсами до следующего квартала.

Мысленно варьировался список наиболее срочных покупок, хотя было бы легче перечислить, в чем их хозяйство срочно не нуждалось. Чай, кофе, мыло, спички, свечи, сахар, крупа, сода, дрова, масло для лампы, порошок для теста, маргарин, гуталин – похоже, закончилось буквально все. И поминутно, повергая Дороти в смятение, выпрыгивали новые пункты безотлагательных расходов. Например, счет из прачечной, и уголь вот кончается, и еще непременно рыба на пятницу, при том что относительно рыбы отец тоже был «сложным» (иначе говоря, ел только дорогие сорта, а от трески, сельди, салаки, ската, хека отказывался наотрез).

Однако же сейчас требовалось хорошенько сосредоточиться на мясе к сегодняшнему обеду, то есть ланчу. Дороти очень внимательно прислушивалась к замечаниям отца и всегда говорила «ланч», когда вовремя вспоминала о правильном названии. Хотя тогда вечерние их трапезы так же следовало бы именовать «легкой вечерней закуской», ибо блюд настоящих ужинов в доме Ректора не готовили.

«К обеду (ой, ланчу! ланчу!) можно омлет», – мысленно постановила Дороти. Смелости не хватало идти сегодня к Каргилу. С другой стороны, если на обед будет омлет, а вечером яичница, отец наверняка опять скажет что-нибудь страшно язвительное. Последний раз, когда на их столе вторично за день появились яйца, он только холодно спросил: «Решила поддержать местное птицеводство, Дороти?». Но если все-таки омлет, а завтра сходить в «Весь мир для вас», взять два фунта сосисок и оттянуть проклятый вопрос о мясе до послезавтра? Три фунта, девятнадцать шиллингов, четыре пенса разделить поровну на

тридцать девять дней... Условие задачи всплеснулось волной жалости к своей горькой доле, но тотчас последовало усмирение: «Не нойте, Дороти! Пожалуйста, без этого! Отец небесный питает их (Матфей: 6, 26)». Господь поможет! А точно Он поможет? Рука, покинув велосипедный руль, поспешно стала нащупывать булавку, но богохульная мыслишка испарилась – перед глазами возник хмурый багряноликий Прогетт, навтыяжку стоящий у обочины и уважительно, однако настоятельно приветствующий Дороти. Дороти слезла с велосипеда.

– Прощения, мисс, – заговорил Прогетт. – Разговор, мисс! Особо дело.

Дороти про себя вздохнула: «особо дело» Прогетта всегда имело единственное содержание – очередная угрожающая весть о здании церкви. Постоянно нахмуренный Прогетт был крайне честен и столь же, хотя несколько своеобразно, благочестив. Не отличаясь кругозором, достаточным, чтобы понять догматы веры, Прогетт нашел выход своим религиозным чувствам в не утихающей тревоге о состоянии храмовой постройки. По его убеждению, «твердыня церкви» означала конкретные стены, полы и перекрытия церкви Святого Афельстайна в Найп-Хилле, и он сутками напролет рыскал от крыши до подвала, горестно обнаруживая то трещину в кладке, то ненадежный трухлявый брус, с тем чтобы постоянно изводить Дороти мрачными рапортами, требуя срочного ремонта. Ремонта, на который нужны просто немыслимые средства!

– А что случилось? – кротко спросила Дороти.

– Ну это, мисс, эти вот... – на губах Прогетта стал постепенно оформляться начальный звук – не слово, а тень, дуновение, призрак слова с довольно явственным, однако, начальным «с-с». Прогетт принадлежал к типу мужчин, которые в любой момент и по любому поводу готовы употребить бранное словечко, но успевают на лету схватить его и водворить за крепко сжатые зубы.

– Эти вот, с-с...нятые которые, колоколы-то наши, – договорил Прогетт, не без усилия направив сомнительное «с» в русло приличия и добродетели. – От их, которых посымали, полы, вон, в колокольне вовсе разъехавшись. И тут им быть, значит, скоро, на наших головах, как мы и глянуть не поспеем. Утром я туды слазил, мисс, и прямо кубарем оттудова, как, значит, все полы под ими разъехавшись.

Жалобы на опасную тяжесть колоколов поступали от Прогетта с интервалами не реже двух недель. Но положение оставалось неизменным уже три года, ибо точно было подсчитано, что перевеска или вынос снятых колоколов обойдется в целых двадцать пять фунтов (звучавших не страшнее двадцати пяти миллионов при равных шансах на изыскание подобных сумм). Между тем, страхи Прогетта были вполне резонны. Не в этом году, так в следующем или чуть позже, но в самом ближайшем будущем колокола проломают потолок и рухнут в церковный портик. Согласно сумрачным прогнозам Прогетта, случится катастрофа в момент дружного выхода прихожан из церкви после воскресной утренней проповеди.

Дороти снова вздохнула. Злосчастные колокола давили постоянно гнетущей мыслью, часто вторгаясь в сны картиной своего жуткого падения. Вообще, вся церковь взывала бесконечными бедами: ветхая колокольня и сгнившая крыша, или упавшая ограда, или сломанная скамейка, чинить которую плотник берется только за десять шиллингов, или семь сборников псалмов по полтора шиллинга, или забитый дымоход (будьте любезны, полкроны трубочисту!), или разбитое окно, или до дыр изношенные сутаны юных певчих. И вечно нужны деньги, и никогда их не хватает ни на что. И наконец, новый орган, купить который Ректор распорядился пять лет назад, поскольку старый, говорил он, напоминает корову, страдающую астмой; под этим новым бременем смета церковных расходов вконец изнемогла.

– Просто не представляю, что мы можем сделать, – сказала Дороти. – Просто не представляю. Касса пуста, и если даже школьный спектакль сделает сбор, все тут же пойдет в Органный фонд. Изготовители органа уже становятся не очень вежливыми из-за просроченных счетов. Вы говорили с моим отцом?

– Сказал, мисс. Да ему и в ум такое дело не входит. «Пять, говорит, веков стояла колокольня, и отчего бы ей еще сто лет не простоять?»

Типичный стиль Ректора. Колокольня буквально падала на него, а он спокойно игнорировал сей факт, как и все то, о чем нисколько не имел желания волноваться.

– Не представляю, что нам делать, – повторила Дороти. – Конечно, через неделю благотворительный базар, и я очень рассчитываю на мисс Мэйфилл. Она может нам дать что-нибудь замечательное. Ведь у нее столько всяких чудесных вещей, которыми даже не пользуются. На днях она мне показала Лоустофтский чайный сервиз, и выяснилось, что фарфор не доставали из шкафа двадцать лет. Представьте только, вдруг она нам даст этот сервиз? Он бы, конечно, принес фунты, фунты! Нужно молиться об удачной распродаже. Молитесь, Прогетт, чтобы выручить, по крайней мере, фунтов пять; я твердо верю, что удастся раздобыть эти деньги, если мы горячо, от всего сердца помолимся.

– Да, мисс, – почтительно ответил Прогетт и устремил свой взор за горизонт.

Раздалось кваканье автомобильного клаксона: сверкая новым лаком, с холма по направлению к Главной улице медленно полз шикарный синий лимузин. Сам мистер Блифил-Гордон, владелец сахароваренного завода, просунувшись в переднее окно, сиял черноволосой глянцевой головкой, на удивление дурно подходившей к его песочному костюму из харрис-твида. Вместо того чтоб по обыкновению не заметить Дороти, он вдруг послал ей нежную, едва ли не любовную улыбку. С ним ехали его старший двадцатилетний сын Ральф (или, как выговаривали все в семействе Блифилов, «Уальф») – юноша томный, склонный к сочинению верлибров а ля Элиот, а также две дочери лорда Покторна. И все они, даже дочери лорда, цвели любезнейшими улыбками. Дороти поразились: годами ни одна из этих важных особ не удостоивала ее при встрече даже легким кивком.

– Сегодня мистер Блифил-Гордон настроен очень приветливо, – отметила Дороти.

– Так точно, мисс. Голову об заклад, он нынче будет куда уж как приветливо. Голосовать парламент в ту неделю, так они тебе пока будут из меда с маслом, только после враз забудут, как сроду не видали.

– А-а, выборы, – проронила Дороти безучастно. Все удаленные от приходских забот предметы вроде виделись ей туманно, и она не особенно понимала, чем, собственно, либералы отличаются от консерваторов или социалисты от коммунистов.

– Хорошо, Прогетт, – сказала она, сразу забыв про выборы ввиду действительно насущных забот, – я еще раз объясню папе, насколько все серьезно с колоколами. Думаю, лучшее, что можно предпринять – устроить специальную подписку. Кто знает, вдруг и наберется фунтов пять. И даже десять! Вам не кажется, что, если пойти к мисс Мэйфилл и попросить ее начать подписку с пяти фунтов, она вполне может их дать?

– Поверьте на слово, мисс, вы не говорите чего такого самой мисс Мэйфилл. Она насмерть перепугается и, как узнает, что с колокольней ненадежно, нам уж ее обратно в церковь нипочем не загнать.

– О Господи! Наверное вы правы, не стоит.

– Не, мисс. Ниче с нее не выжмешь – старая...

Снова похожее на привидение «с-с» скользнуло было из уст Прогетта, но так как он заметно успокоился после очередного донесения об угрожающей позиции колоколов, то лишь поднес руку к фуражке и зашагал прочь, а Дороти покатила дальше и в голове ее проблемы семейных и церковных счетов-долгов перемежались наподобие двойных рефренов старинных пасторальных песен.

Водянистое солнце, выглянув, вдруг с апрельской резвостью заиграло среди лохматых облачков и ярким косым лучом стерло все тени на правой стороне фасадов Главной улицы. Как идилличны эти милые сонные улицы в глазах заезжих визитеров! Не таковы они, однако, для жителей, у кого тут за каждой дверью недруг или кредитор. Единственными в совершенстве уродливыми зданиями были разделанный в средневековом духе «Старинный Чай» (по белой гипсовой обмазке сетка темных накладных брусьев, фальшивые круглые окна, кудрявая, как у китайских пагод, крыша) и новенькая, совершенно античная, почта с частоколом гладких дорических колонн. Ярдов через двести улицу прерывала крохотная базарная площадь, украшенная опочившим ржавым насосом и парой сгнивших арестантских колодок. Окнами на насос, друг против друга стояли центральный трактир «Пес и бутылка» и уже упомянутый Клуб Консерваторов. Замыкала перспективу, пронизывая всю улицу страхом и ужасом, мясная лавка Каргила.

Дороти завернула за угол – шум, гам, патриотические кличи под рев тромбона, гремящего «Правь, Британия». Обычно тихо дремлющая, улица клокотала густой массой

людей, и из всех переулков спешило пополнение. Происходило нечто грандиозное. От чердака «Пса и бутылки» до лепного карниза Клуба Консерваторов тянулась бахрома синих выпелов, в середине которых висело огромное полотнище с воззванием: «За Блифил-Гордона и за Великую Империю!» Сюда, сквозь тесную толпу, на самой малой скорости двигался синий роскошный лимузин, и мистер Блифил-Гордон самолично, сытой и сладостной улыбкой приветствовал сограждан, равно распределяя благосклонность напрашившим как слева, так и справа. Перед капотом маршировали местные «Буйволы», ведомые не слишком крупным, зато необычайно доблестным вожатым, дующим в тромбон. Над отрядом вздымался еще один громадный транспарант:

Кто спасет Родину от Красных?

БЛИФИЛ-ГОРДОН!

Кто нальет Пиво в твою Кружку?

БЛИФИЛ-ГОРДОН!

С Блифил-Гордоном навсегда!

Из окна цитадели консерваторов реял многометровый «Юнион Джек», над стягом гордой империи сияли шесть пар пухлых пурпурных щек.

Катя велосипед и с замиранием сердца готовясь пройти мимо витрины Каргила (увы! никак иначе не добраться до лавки Солпайпа), Дороти была слишком погружена в свои тревоги, чтобы вникать в сюжет уличной демонстрации. Тем временем машина Блифил-Гордона притормозила у «Старинного чая» – в атаку, кофейные гвардейцы! Казалось, добрая половина дам города, подхватив сумки и болонок, ринулась к лимузину и оцепила его, подобно жаждущим вакханкам подле колесницы пьянящего Диониса. В конце концов, где кроме выборов у вас свобода душевного общения с лучшими городскими джентльменами? Послышались восторженные возгласы: «Удачи, мистер Блифил-Гордон!», «Мы все за вас, вы непременно победите, дорогой мистер Блифил-Гордон!» Щедрость улыбок мистера Блифил-Гордона была поистине неиссякаемой, однако тщательно распределялась по сортам. Массам преподносилась улыбка общая, слегка рассеянная – универсальная, кофейным дамам и патриотам-консерваторам презентовались персональные улыбки, а наиболее важных лиц молодой Уальф Блифил-Гордон изредка жаловал покачиванием вялой ладони и писклявым «всего ховошего!»

Дороти помертвела. Мясник Каргил, подобно остальным торговцам, торжественно встал на пороге своей лавки – долговязый, сверлящие глаза, фартук в синюю полоску, цвет до блеска высокобленного лица точь-в-точь кусок сырой, слегка перележавшей в его витрине говядины. Взгляд Дороти был так прикован к зловещей фигуре, что ничего другого она не видела и ткнулась в спину сходящего с тротуара высокого грузного господина. Дородный джентльмен обернулся.

– Силы небесные! Дороти! – воскликнул он.

– О, мистер Варбуртон! Вот удивительно! Вы знаете, я чувствовала, что сегодня встречу вас.

– «Заныли кости»^[9], надо полагать? – улыбнулся Варбуртон, расплываясь всем своим благодушным розовым лицом диккенсовского Микобера. – Ну как ты? А впрочем, к чему вопросы – вид у тебя как никогда обворожительный!

Комплимент был заверен щипком за голый локоть (дневное клетчатое платье Дороти имело короткие рукавчики). Поспешно отступив на безопасную дистанцию – она не выносила ни щипков, ни прочих «дерганий», – Дороти строго проговорила:

– Пожалуйста, не щиплите меня за локоть. Мне это не нравится.

– Но дорогая моя Дороти, кто из смертных способен устоять перед таким локотком, как у тебя? Видишь ли, существует сорт локотков, вызывающий необоримый щипательный рефлекс. Закон природы, понимаешь ли.

– Когда же вы вернулись в Найп-Хилл? – спросила Дороти, предусмотрительно загорюившись велосипедом. – Я вас не видела больше двух месяцев.

– Явился я позавчера, но это мимолетное явление. Хочу перевезти в Бретань моих малюток, сопливцев моих незаконных, ну ты знаешь.

При упоминании «незаконных» Дороти очень застенчиво и чуточку заносчиво потупилась. Мистер Варбуртон с его внебрачными чадами (коих насчитывалось трое) гремели одним из самых шумных городских скандалов.

Имевший независимый доход и называвший себя художником (он ежегодно сотворял около полудюжины посредственных пейзажей), Варбуртон появился в Найп-Хилле два года тому назад, купив здесь новенькую виллу недалеко от дома Ректора. Там он и поселился, вернее пребывал время от времени, открыто сожительствуя с женщиной, представленной им в качестве экономки. Недавно, еще не минуло и четырех месяцев, эта самая экономка, иностранка, по уверению некоторых – испанка, довела непристойность ситуации до апогея, внезапно бросив любовника; троих оставленных незаконных детишек родитель пристроил в Лондоне у какого-то многострадального дальнего родственника. Выглядел Варбуртон прекрасно, очень импозантно, хотя был совершенно лыс (крайне досадная и всеми способами маскируемая деталь), и умел так эффектно себя подать, что даже его изрядное брюшко казалось необходимым стильным дополнением к внушительному торсу. Лет ему было сорок восемь, из которых самым им признавалось сорок четыре. В Найп-Хилле он слыл «отпетым старым плутом». Молоденькие девушки его побаивались, и не без оснований.

Со вкусом разглагольствуя и очень естественно, «отечески», обняв плечо Дороти, Варбуртон повел ее дальше через толпу. Тем временем автомобиль мистера Блиффил-Гордона, завершив триумфальный объезд насоса, направился обратно, все с той же свитой верных вакханок. Живописная сцена привлекла внимание Варбуртона, и он, прищурившись, остановился.

– Что означают эти гнусные шалости? – процедил он.

– О, они – как это называется? – ведут предвыборную агитацию. Наверное, стараются нас убедить голосовать за них.

– «Стараются нас убедить голосовать за них!» Услышьте, боги! – проворчал Варбуртон, вперившись в кортеж. Подняв увенчанную серебряным набалдашником трость, с которой он никогда не расставался, Варбуртон начал довольно экспансивно тыкать ею, указывая различных персонажей:

– Смотри! Ты только посмотри! Взгляни на эту стаю льстивых кикимор вокруг идиота, который скалится тут перед нами, как макака перед кульком орехов. Видела ты в своей жизни зрелище более отвратное?

– Пожалуйста, потише, – бормотала Дороти, – кто-нибудь непременно услышит...

– Прекрасно! – взревел Варбуртон, тут же повысив голос. – Бесподобно! У такого шелудивого отродья хватает наглости воображать, что он нас осчастливил демонстрацией своей фальшивой челюсти! Приличный костюм на нем – уже обида человечеству! Есть кандидат социалистов? Если есть, обязательно за него проголосую!

Стайка зевак жадно таращилась. Дороти увидела, как мистер Твисс, сухонький и тщедушный москательщик, злорадно высунул темную черепашую головку из-под развешенных в проеме лавки корзин. Мистер Твисс хорошо расслышал «социалистов» и цепко зарегистрировал в уме: Варбуртон – агитатор красных, Дороти – рьяная приспешница.

– К сожалению, мне пора идти, – заторопилась Дороти в предчувствии, что Варбуртон наговорит вещей и более шокирующих. – Мне еще столько, столько надо всего купить. Поэтому я сейчас попрощаюсь...

– О нет, – весело перебил Варбуртон, – ты ничего подобного не сделаешь. Ни звука о прощании, дорогая! Я иду вместе с тобой.

Она катила свой велосипед, а он молодецкато шагал рядом, выпятив широченную грудь, зажав под мышкой трость и продолжая без умолку ораторствовать. Избавиться от Варбуртона было непросто, и хотя Дороти считала его другом, но иногда – поскольку он являлся местной скандальной знаменитостью, а она дочерью священника, – ей бы хотелось, чтобы он выбирал для разговоров с нею не самые публичные места. Сейчас, однако, она в душе благодарила за эскорт, значительно ослабивший ужас прохода мимо мясной лавки. Каргил все еще оставался на пороге и исподлобья давил ее косым тяжелым взглядом.

– Весьма удачно, что мы с тобой встретились, – продолжал Варбуртон, – вообще-то я как раз тебя искал. Кто, догадайся, сегодня ужинает у меня? А? Бьюли – Рональд Бьюли! Ты, разумеется, слышана о нем?

– О Бьюли? Н-нет, мне кажется, не слышала. А кто это?

– Черт возьми! Рональд Бьюли, знаменитый романист, автор «Тихого омута и одалисок». Да неужели ты не прочла «Тихий омут»?

– Боюсь, что не читала. Кажется, я даже названия не знаю.

– Ну Дороти! Нельзя же, моя дорогая, так опускаться. Тебе надо немедленно прочесть изумительный «Тихий омут». Высокого класса вещь, поверь мне, тончайшая эротика, остро, свежо! Именно то, в чем ты нуждаешься, чтобы стряхнуть с себя сладенькую цветочную пыльцу примерной девочки.

– Я ведь просила вас не говорить мне ничего подобного! – сказала Дороти, смущенно отворачиваясь и тут же снова повернувшись, поскольку взгляд ее едва не пересекся с упорным взглядом Каргила. – Где же сейчас этот ваш мистер Бьюли? Разве он здесь живет?

– Нет, он придет ко мне поужинать из Ипсвича и, вероятно, переночует. Вот потому-то я разыскивал тебя: подумал, ты наверное захочешь с ним познакомиться. Так как насчет сегодняшнего ужина? Прибудешь?

– К ужину совершенно невозможно, – сказала Дороти. – Я должна присмотреть за папиным столом и переделать еще тысячу дел. Раньше восьми никак не получится.

– Что ж, приходи попозже. Хотелось бы представить тебе Бьюли. Забавный парень – абсолютно *au fait*^[10], до тонкостей осведомлен обо всем тайном и явном в Блумсбери^[11]. Он тебя развлечет. А заодно полезно тебе будет на пару часиков сбежать из своего церковного курятника.

Дороти колебалась. Искушение было велико. Сказать по правде, ей нравились ее нечастые визиты в дом Варбуртона, страшно нравились. Но, разумеется, визиты очень редкие, всего раза четыре в год, ибо нельзя было свободнее общаться с подобным человеком. И если она все же позволяла себе принять его очередное приглашение, то с непременными предосторожностями, всегда заранее удостоверившись в присутствии еще хотя бы одного гостя.

Когда Варбуртон только приехал в Найп-Хилл (и рекомендовался всем вдовцом с двумя детьми, пока в довольно скором времени у экономки среди ночи вдруг не родился третий), Дороти познакомилась с ним на обычном званом чаепитии, после чего сочла соседским долгом сделать визит. Мистер Варбуртон устроил для гостыи восхитительный ранний ужин, живо и остроумно беседовал о новостях литературы, потом непринужденно сел рядом на диван и начал ухаживать – яростно, непристойно, безобразно, даже грубо. Это было почти что настоящим изнасилованием. Дороти испытала смертельный ужас; впрочем, не до конца смертельный, поскольку могла сопротивляться. Так и не сдавшись, она укрылась на дальнем конце дивана, ошеломленная, дрожащая, до слез испуганная. Варбуртон при этом не выказал ни капельки стыда и даже как будто посвежел, словно от маленького развлечения.

– Как вы могли, как вы могли? – с укором всхлипывала Дороти.

– Выяснилось, однако, что не смог, – уточнил Варбуртон.

– Как вы могли быть таким зверем?

– Таким? Легко и просто, мой дружок, легко и просто. Вот доживешь до моих лет, сама узнаешь.

Несмотря на столь неблагоприятное вступление, знакомство быстро укрепилось до степени настолько дружеской, что относительно этого начали «ходить толки». В Найп-Хилле для возникновения «толков» немного требовалось. Дороти уважала правила, бывала у соседа крайне редко и тщательно заботилась о том, чтоб не остаться с ним наедине, а он все же изыскивал возможности продемонстрировать галантное внимание, которое теперь, надо отметить, носило характер самый джентльменский. Огорчительный инцидент не повторился. Впоследствии, будучи уже полностью прощенным, Варбуртон объяснил Дороти, что всегда «пробовал этот номер» с каждой знакомой дамой.

– Должно быть, пережили немало неудач? – не удержавшись, съязвила Дороти.

– О, еще сколько! – согласился Варбуртон. – Но и удач, ты знаешь, случалось предостаточно.

Окружающих удивляло, чем такой девушке, как Дороти, могли, пусть даже очень изредка, быть интересны встречи с подобным субъектом. Но ничего тут странного: извечное

влечение набожных и невинных к распутникам и богохульникам. Закон жизни – достаточно взглянуть вокруг. Все, абсолютно все лучшие сцены порока и разврата созданы авторами, праведно верующими или столь же благочестиво неверующими.

Не стоит также забывать, что Дороти, дитя двадцатого столетия, считала хорошим тоном как можно безмятежнее выслушивать кощунства Варбуртона (сама судьба повелевает тешить лукавых грешников смятением простаков). Кроме того, она к нему душевно привязалась. Он постоянно дразнил и огорчал, но от него единственного шло какое-то сочувственное понимание. Так что насквозь испорченный, беспутный Варбуртон был положительно мил, и его мишурное острословие – шесть унций воды на одну унцию Оскара Уайльда – неискнушенную Дороти и шокировало, и пленяло. Сейчас к магическому обаянию добавилась заманчивая, что ни говори, возможность вблизи увидеть прославленного Бьюли. Хотя конечно «Тихий омут и одалиски» наверняка принадлежал к тому сорту романов, которые Дороти либо не разрешала себе читать, либо читала, оплачивая любопытство набором тяжких добровольных епитимий. Но ведь Найп-Хилл не Лондон, где просто улицу не перейдешь, не встретив сотню писателей; у обитателей местечек вроде Найп-Хилла совсем другая жизнь.

– Уверены ли вы в приезде мистера Бьюли? – спросила Дороти.

– Уверен абсолютно. И супруга наверняка прикатит, не позабыв, естественно, подружку-компаньонку. Чопорный светский вечерок, никаких Лукреций и Тарквиниев^[12].

– Спасибо, – наконец кивнула Дороти, – большое спасибо. Я приду так примерно в половине девятого.

– Ну и отлично. Чем раньше сумеешь вырваться, тем лучше. Помни: моя ближайшая соседка – миссис Семприлл. Можно твердо рассчитывать, что она будет *qui vive*^[13], лишь отыграют вечернюю зарю.

Особа, упомянутая Варбуртоном, являлась выдающейся, первейшей сплетницей города. Достигнув цели (он неустанно зазывал Дороти в гости) Варбуртон мягко пророкотал «au revoir» и предоставил Дороти держать дальнейший путь за покупками самостоятельно.

В полутьме мануфактурной лавки Солпайпа, как только Дороти взяла свой сверток, ровно два с половиной ярда на угловое окно, под самым ухом у нее зашелестел печальный голос – миссис Семприлл! Некое сходство с моделями Ван-Дейка: изящная худоцавая фигурка, оливковое остренькое личико, блеск гладких темных волос, покойная меланхоличность. Тихая миссис Семприлл уже успела, окопавшись возле витрины за грудой кретоновых рулонов, подробно выследить беседу Дороти с мистером Варбуртоном. Любое действие, если ему сопутствовала не слишком сильная нужда в дотошном наблюдении миссис Семприлл, было наивернейшей гарантией ее присутствия. По-видимому, от предков? аравийских джиннов, она наследовала этот дар моментально возникать из воздуха именно там, где ее меньше всего хотели видеть. Никакой опрометчивый поступок, в масштабе до самого микроскопического, не мог избежать ее бдительности. Варбуртон говорил, что в ней досрочно воплотились четыре зверя Апокалипсиса: «Те самые, которые «денно и ночью бдящи», «исполнены очей сзади и спереди» и даже, как помнится, «внутри».

– О Дороти, дорогуша, – минорный кроткий шепот миссис Семприлл истекал нежностью, предваряющей скорбное известие, – мне очень нужно рассказать вам кое-что. Ужасный случай, потрясающий, кошмарный!

– Какой же? – смирилась Дороти в унылом ожидании вполне определенной информации (тема у миссис Семприлл всегда была одна).

Они вместе вышли из магазина и двинулись вдоль улицы: Дороти рядом с велосипедом, а миссис Семприлл вплотную рядом с Дороти, семена легкой птичкой, дыша в ухо все жарче по мере сообщения все более интимных деталей:

– Быть может, вы случайно заметили ту девушку, которая в церкви всегда садится с краю, у самого органа? Довольно миленькая, рыженькая? Я ведь и знать не знаю никого, – добавила со вздохом миссис Семприлл, зная поименно всех жителей Найп-Хилла, включая грудных младенцев.

– Молли Фриман, – сказала Дороти. – Племянница зеленщика Фримана.

– Ах вот как, Молли Фриман? Так ее зовут? А мне все думалось, кто же она. Знаете ли...

Скорбящий голос упал до драматического шепота, узенький алый ротик почти впился в ушную раковину Дороти. Потoki грязи затопили Молли Фриман и шестерых парней с сахарного завода. Минутой позже рассказ достиг такого густого зловония, что Дороти, запыхав, резко вскинула голову и остановилась.

– Я не хочу слушать такие вещи! – заявила она. – Я знаю, все это неправда про Молли Фриман. Этого просто не может быть! Молли очень скромная девушка, она была одной из лучших в моем отряде скаутов и всегда так охотно помогает с базарами и всем другим. И никогда бы она не сделала того, о чем вы говорите.

– Но Дороти, дорогуша! Я сообщаю вам лишь то, что видела своими собственными бедными глазами...

– Пускай! И все равно несправедливо так говорить о людях. И даже если бы тут была правда, не стоило бы говорить. В мире хватает зла и без того, чтобы его еще выискивать.

– «Выискивать!» – с новым горестным вздохом повторила миссис Семприлл. – О дорогая Дороти, будто кому-то хочется искать! Увы, есть люди, которые обречены видеть одолевающее город греховное бесстыдство.

Миссис Семприлл чистосердечно удивлялась, когда ее винули в поисках скандалов. Ничто, утверждала она, не было для нее больнее зрелища пороков человеческих, однако скверна просто кишела вокруг, отовсюду представая ее страдающим очам, а чувство нравственного долга не позволяло молчать о виденном. Вот и теперь укоры Дороти отнюдь не побудили ее умолкнуть, но навели на монолог об общем разложении Найп-Хилла, где страшное падение Молли Фриман служило лишь очередным примером. Так что от Молли Фриман с шестеркой развратных кавалеров она плавно переместилась к офицеру медицинской службы доктору Гейторну, сделавшему двум сестрам Коттедж-госпиталя по ребеночку, затем к жене секретаря мэрии миссис Корн, любившей употреблять одеколон не ради аромата и найденной на поле мертвецки пьяной, потом к викарию миллборской церкви Святого Уэдекинда, запутавшемуся в скверной истории с мальчиком певчим... И все это тянулось, цеплялось и нанизывалось, поскольку вряд ли где-нибудь в округе жила душа, на дне которой зоркая миссис Семприлл не обнаружила бы свой гнойник. Количество тайных грехов определялось исключительно терпением слушателя.

Примечательно также, что помимо обычной грязи у сплетен миссис Семприлл почти всегда имелся оттенок неких безобразных извращений. На фоне заурядных местных кумушек она, можно сказать, была Фрейдом в сравнении с Боккаччо. Рассказы ее создавали впечатление, что Найп-Хилл с его парой тысяч жителей по части сладострастной утонченности заметно превзошел сумму пороков Содома, Гоморры и Буэнос-Айреса. Выслушивая повесть об обитателях этого града греха – от директора банка, транжирящего сбережения клиентов на вторую свою с любовницей, до барменши «Пса и бутылки», порхающей между столами в экстравагантном наряде всего лишь из черных атласных туфель на высоченных каблуках; от старенькой учительницы музыки мисс Чэннон, которая, перетрудившись над гаммами, попеременно освежает себя припрятанной бутылочкой или кропанием анонимок, до юной дочки булочника Мэгги Уайт, успешно народившей троих ребятишек родному братцу, – рассматривая всех этих людей, старых и молодых, богатых, бедных, дружно погрязших в чудовищном и изощренном зле, действительно лишь оставалось удивляться, почему медлит, не рушится с небес пламень, дотла испепеляющий. Но мало-помалу каталог городских непристойностей делался монотонным и, наконец, невыносимо скучным. Ведь там, где весь народ из педерастов, двоеженцев и наркоманов, самое жгучее обличение теряет жало. В сущности, миссис Семприлл была хуже, чем пакостная сплетница, – она была занудой.

Что же касается правдивости ее сенсаций, то степень достоверности бывала разной. Порой миссис Семприлл оказывалась вредоносной старой крысой, попросту сочинившей клевету, а иногда и впрямь разоблачала какого-нибудь бедолагу, которому потом годами приходилось отмываться. Во всяком случае, она активно поспособствовала разрыву нескольких помолвок и устроению неисчислимых семейных ссор.

Дороти безуспешно пыталась отделаться от миссис Семприлл: переходила улицу, катила велосипед по встречной стороне дороги – спутница верно шла за ней, не прекращая нашептывать. Так продолжалось, пока они не добрались до конца Главной улицы и Дороти

не накопила мужества для отважного побега. Она решительно поставила правую ногу на педаль:

– Больше нет ни секунды, впереди тысяча дел, уже страшно опаздываю.

– Как? Дороти, дорогая! Я же должна еще кое-что рассказать, нечто необычайно важное!

– Простите, но ужасно тороплюсь. Как-нибудь в другой раз.

– Новость об этом кошмарном мистере Варбуртоне, – затараторила миссис Семприлл, спеша договорить, пока Дороти не удрала. – Он вчера возвратился из Лондона, и представьте, я именно вам хотела сообщить, у него...

Дороти поняла, что бежать надо мгновенно, любой ценой. Ничего более стеснительного, чем обсуждение Варбуртона с миссис Семприлл, быть не могло. Бросив на лету «простите, в самом деле ни секунды!», вскочила на велосипед и резко тронулась с места.

– У него завелась новая женщина! – выкрикнула вдогонку миссис Семприлл, позабыв свой стыдливый шепот от жажды во что бы то ни стало донести пикантное известие.

Но Дороти быстро свернула за угол, не оглянувшись, притворившись, что не услышала. Поступок неблагоразумный, не следовало откровенно обрывать миссис Семприлл. Нежелание слушать ее сплетни воспринималось этой дамой как знак глубокой развращенности, мгновенно вызывая потоки свежих обличений.

На пути к дому Дороти кипела весьма недобрыми мыслями относительно миссис Семприлл, за что по справедливости свирепо себя ущипнула. И еще одна мысль, возникшая почему-то только сейчас, встревожила ее: ведь миссис Семприлл обязательно узнает про предстоящий вечером визит к Варбуртону и уж конечно раздует это в кошмарное событие. Томимая дурным предчувствием, Дороти спрыгнула с велосипеда перед своей калиткой, возле которой Полоумный Джек (убогий местный дурачок с рябой и красной, как конус спелой земляники, физиономией) стегал ограду гибким ореховым прутом.

4

До полдня оставалось чуть меньше часа. День, утром походивший на вдову, в страстных надеждах доказать еще апрельскую игривость, теперь признал, что уже август, и начал наливаться жаром.

Дороти направлялась в деревушку Феннелвик, в миле от Найп-Хилла: необходимо было завезти мозольный пластырь миссис Льюин и передать страдающей от ревматизма миссис Пифер записку в «Дейли Мэйл», где рекомендовался невероятно целебный чай из дягиля. Солнце с безоблачного неба жгло спину сквозь клетчатое штапельное платье, дорога впереди дрожала пыльным маревом, над плоскими нагретыми лугами однообразно свистели забывшие про конец лета жаворонки, трава сверкала такой зеленью, что резало глаза. Короче, денек «изумительный», как говорят все те, кому в подобные деньки нет надобности загружать себя работой.

Поставив свой велосипед к воротам Пиферов, Дороти принялась вытирать носовым платком вспотевшие от руля руки. Осунувшееся лицо горело пятнами. Сейчас, при резком дневном свете, ей вполне можно было дать ее истинный возраст и даже более того. В течение дня (а дни эти обычно продолжались часов семнадцать) Дороти несколько раз ощущала фазы упадка и подъема сил; время утренней серии обходов являлось как раз периодом усталости.

Эти «обходы», точнее «объезды», совершаемые на дряхлом велосипеде, ввиду дальности расстояний съедали у нее почти полдня. Каждый день кроме воскресений она ездила навещать от полудюжины до дюжины их прихожан. Входила в тесные домишки, садилась на пылящие трухой «мягкие», то есть набитые черствыми комьями, стулья и вела беседы с измотанными, растрепанными хозяйками. Старалась с пользой употребить торопливые «полчасика»: помочь в штопке или утюжке, почитать главку из Евангелия, поставить компресс на «дюже изболевшие» суставы, посочувствовать беременным, которым с утра совсем невмоготу. Устраивала скачки на палочках-лошадках для малышей, пахнущих едкой кислинкой и беспрепятственно мусолящих ей платье пухлыми липкими ладошками, давала советы по уходу за захиревшим фикусом, придумывала имена для новорожденных. И всегда соглашалась «попить чайку», пила его пинтами и галлонами, так как простые

женщины всегда хотели угостить ее этим «чайком», имевшем вкус и аромат добротного распаренного веника.

Плоды трудов по большей части обескураживали. Казалось, лишь у немногих, очень немногих, подопечных было какое-то понятие о христианской жизни, которую Дороти изо всех сил стремилась им наладить. Одни хозяйки держались замкнуто и подозрительно, придумывали отговорки, когда она их убеждала ходить к причастию. Другие льстиво притворялись святошами ради грошовых подачек из скудной церковной кассы. А встречавшие с удовольствием, главным образом, радостно приветствовали в ее лице аудиторию, всегда согласную покорно слушать жалобы на «делишки» плохих мужей, жуткие истории об умерших («доктора ему прям в жилы этих штеклянных трубок навтыкали») и перечни бесчисленных, крайне неаппетитных, болячек бесчисленной родни.

Добрая половина женщин из списка ее обходов выказывала удручающий, необъяснимо стойкий атеизм. Она все время наталкивалась на это, присущее невежественным людям, глухое и невнятное неверие, против которого бессильны аргументы; как она ни напрягалась, число строго и регулярно причащающихся ни разу не дошло до полной дюжины. Женщины обещали причащаться, держали слово месяц-два и навсегда пропадали. Самыми безнадежными были самые молодые. Их даже не получалось привлечь в местные филиалы церковных лиг, как раз для них организованных (Дороти несла нагрузку ответственного секретаря в трех таких лигах, будучи еще капитаном отряда девочек-скаутов). Когорта Светлых Чаяний и Круг Супружеского Счастья чахли в почти абсолютном безлюдье, функционировали только Дружные Матери, ценившие на вечерах коллективного рукоделия возможность посудачить, а также крепкий чай в неограниченных количествах. Да, результаты работы не вдохновляли. Порой усилия казались ей настолько тщетными, что выручало лишь знание подоплеку чувства тщеты и уныния – коварнейшего наущения Дьявола.

Дороти постучала в перекошенную дверь, из-под которой тоскливо сочился пар от варившейся капусты и грязной мыльной пены. Для Дороти коттеджи уже издали различались по запахам. Запахи бывали донельзя странными. Например, дикий, соленый дух крепко шибал от жилища старого мистера Тумза, бывшего букиниста. Хозяина, дни напролет лежавшего на койке в комнате с занавешенными окнами и выставившего лишь стеклышки пенсне и длинный пыльный нос над тем, что поначалу казалось меховой, огромной и роскошной, накидкой, но от малейшего прикосновения лопалось, разбегаясь во все стороны табуном кошек. Двадцати четырех, если соблюдать точность, кошек, державшихся, по объяснению владельца, «в целях локально-согревательных». Общим главным ингредиентом ароматических коктейлей был запах помоев и старого тряпья, добавки по вкусу и возможностям обитателей: миазмы клозетной ямы, острый детский запахок, парной дух капустной похлебки, отдающая копченой свиной вонь от рабочих плисовых костюмов, годами впитывавших пот.

Дверь Пиферов вечно цеплялась за косяк и при попытках отворить ее рывком угрожающе сотрясла всю постройку. Наконец на пороге появилась миссис Пифер, очень высокая, очень сутулая, вся серая, от жиденьких седых волос до фартука из мешковины и стоптанных суконных шлепанцев.

– Ох, я не я, коли это не милушка мисс Дороти! – Голос, тоскливый и безжизненный, выражал, тем не менее, явную симпатию.

Хозяйка обняла Дороти старческими шишковатыми руками (от непрерывной возни с водой суставы стали похожи на гладкие белые луковицы) и сочно ее поцеловала. Затем повела внутрь старого захламленного дома.

– Пифер-то мой в работу пошел, мисс, – уведомила она. – Нынче-то он доктору Гейторну копает, клумбы ему выделяет.

Мистера Пифера нанимали садовником. Старики Пиферы? и мужу и жене было за семьдесят? значились в списке Дороти среди немногих подлинно благочестивых семейных пар. Жизнь самой миссис Пифер однообразием роднилась с деятельностью земляного червя: от зари до зари, с вечно согнутой и сведенной шеей – низкие притолоки не соответствовали ее росту, она шаркала взад-вперед между колодцем, раковиной, очагом и жалким огородиком. В кухне, довольно чисто прибранной, однако насквозь пропахшей всякой помойной дрянью и неистребимой пыльной ветхостью, было невыносимо душно. Напротив

очага располагалось специальное молитвенное место, устроенное миссис Пифер из сального тряпичного половичка подле останков крошечной фисгармонии, которая в роли пюпитра демонстрировала литографское изображение сцены распятия, бисером вышитое изречение «Взирайте и Молитесь!» и фотографию супругов Пифер, снятую в день бракосочетания в 1882 году.

– Бедняга Пифер! – тягуче изливала жалобы хозяйка. – Ему ль с его годами рыть да копать, когда у его ревматизм уж таков плох! Вон вы скажите, каково это жестоко, а, мисс? А теперь промеж ног у его пошли боли, мисс, и какие-то боли, толком сказать не говорит, но очень, видать, худо ему, в особеннoсть последни утры. Вон вы скажите, мисс, не так ли тяжка-то у нас, простого люда, доля-то наша?

– Конечно, – сказала Дороти, – мне очень жаль. Но я надеюсь, сами вы, миссис Пифер, сегодня чувствуете себя немного лучше?

– А-а, мисс, уж мне-то нипочем лучше не станет. Не стану я здоровше в этом мире, где толечко одна грешность да злобность, не тут уж я стану здоровше.

– О, миссис Пифер, не надо так говорить! Я верю, вы еще надолго останетесь здесь, с нами.

– А-а, мисс, не знамо вам, какая хворость во мне во всю неделю! Прямо до кости ноженьки назади крутило, прямо к огороду не доползть, лучку пучочек не нарвать. Ох, мисс, и тяжкий этот мир, куда нас послано за грехи наши.

– Вы правы, миссис Пифер, нас ждет лучший и вечный мир, а в этом лишь время испытаний духа, чтобы научиться терпению прежде чем Небеса нас примут.

Внезапно миссис Пифер преобразилась – она услышала про «Небеса». Умея говорить всего о двух вещах: нынешних тяжких мучениях и грядущих небесных радостях, старая миссис Пифер откликнулась на сентенцию Дороти, как на магический призыв. Давно потухшие глаза светятся уже не умели, но в голосе затрепетали живые, чуть ли не восторженные нотки.

– Вот, мисс! Как в точности вы это мне сказали! Верное ваше слово, мисс! Мы с моим Пифером вот тоже так толкуем. Этим одним и живы, что будут нам Небеса и отдых, отдых на Небесах навечный. Пускай уж тута мы маленько пострадаем, а там-то нам заплатится в сто, в тыщу раз поболее. Ведь так оно, мисс? Станем все отдыхать на небе – прямо один покой да отдых и нисколько ни ревматизмов, ни лопатой махать, ни стирки, ни стряпни, навовсе уж ничего такого. Вы ведь, мисс Дороти, взаправду верите, что так, а?

– Да, конечно, – сказала Дороти.

– А-ах, мисс, кабы вы знали, какое это нам утешение думать про Небеса! Пифер мой возвратится к вечеру, сам еле жив и с ревматизма прямо скрутит нас: «Ничего, – говорит мне, – милочка моя, зато уж Небеса к нам близко». Говорит: «Небеса, они для нашего брата и сотворенны, для бедняков только, которые работали, в трезвости были да каждое причастие блюли». Это ведь самое что наилучшее, мисс Дороти, когда при этой жизни бедно, а после уж богатыми? Не то что богачам, которым нынче и дом хороший, и автомобиль всякий, а после-то спасения нету от червя вечного сосущего, пламени жгучего, неугасимого. Уж как все это говорится по церковному! Давайте-ка, мисс Дороти, если желаете, помолимся с вами про это? Я прямо с утречка дожидаюсь маленько помолиться!

Миссис Пифер в любой час дня и ночи с готовностью ждала «маленько помолиться» – ее личный эквивалент «попить чайку». Коленьями став на тряпичный коврик, они вдвоем прочли и «Отче наш» и краткую недельную молитву. Затем Дороти вслух читала притчу о кинutom в ад богаче и взятом на небо нищем Лазаре, а миссис Пифер поминутно ликующе вставляла: «Аминь! Верное слово, а, мисс Дороти? И вознесен был ангелами в Авраама, в самое его лоно – красота-то ведь какая! Ну прямо не знаю, какая ведь красота! Аминь, мисс Дороти! Аминь!»

Передав вырезку про чудо-чай из дягиля и найдя, что физически миссис Пифер «как-то не в форме», Дороти натаскала дневной трехведерный запас воды. Очень глубокий колодец Пиферов имел столь низкий бортик, что переход хозяйки в желанный лучший мир явно наметился именно здесь, ожидая лишь, когда миссис Пифер снова полезет за ведром (его просто, без блока, вытягивали на веревке) и свалится в темную бездну.

Потом они еще на несколько минут присели, и миссис Пифер еще немножечко поговорила о Небесах. Достоинo удивления, как властно, постоянно царили в ее думах

Небеса, но совершенно изумляющей была реальность, с какой она их представляла. О золотых палатах, вратах жемчужных она рассказывала ярко, будто впрямь на них смотрела, и острота этого зрения простиралась до самых четких, конкретных подробностей. Перины пуховые, ни перышка! Еда сладкая-сладкая! Одежда шелковая, дорогая, каждое утро стиральная! Работы, даже самой малой, нисколько никогда!

Мечты о райском житье за гробом пронизывали каждый миг существования, так что униженные жалобы на долю «простого люда» неким образом уравнивались верой в закон, согласно которому исключительно за «простым людом» закреплены права на расселение в полях блаженства. Словно у миссис Пифер был страховой полис о возмещении жизни, потерянной в безвылазных трудах, суммой грядущих вечных радостей. Вера ее была, если можно так выразиться, чуточку слишком велика. Странно, конечно, но от уверенности миссис Пифер в яви Небес, куда она жаждала переехать, как в дивный санаторий для безнадежных хроников, в Дороти возникало необъяснимое смущение.

Дороти собиралась уходить, а миссис Пифер провожала ее горячими благодарностями, заканчивая, как всегда, свежими сводками о ревматизме:

– Уж чаю дягильного обязательно напьюсь, – говорила она, – и спасибочки, мисс, что сказали, хоть и не будет мне с его пользы ничегошеньки. А каков, знать-то вам, был всю неделю мой ревматизм-то! Так и охаживал назади ног каленой кочергой, а мне ж и не достать в то место, не растереться ж даже там. Уж знаю, мисс, нельзя и спрашивать, но кабы вы меня чуток потеряли? Примочка-то вон у меня готовая, под раковиной.

Незаметно для миссис Пифер Дороти жесточайшим образом себя щипнула. Она ждала этой финальной просьбы, так как проделывала процедуру многократно, но ей ужасно не хотелось растирать ноги миссис Пифер. «Стыдитесь, Дороти! – одернула она гордыню. – Не фыркайте! Должны умывать ноги друг другу (Иоанн: 13, 14)».

– Конечно, миссис Пифер, с огромным удовольствием, – поспешно согласилась Дороти.

По шаткой лесенке, имевшей хитрый поворот, где надо было сгибаться пополам, они вскарабкались наверх. Свет в спальню проникал через оконце, давно наглухо запертое, ибо раму еще лет двадцать назад снаружи заклинило плющом. Посреди комнаты, вернее во всю ширь, раскинулось супружеское ложе с вечно сырыми простынями и тюфяком, в котором твердые комья оческов сбились топографическим макетом гор Швейцарии. Хозяйка, беспрерывно охая, залезла на кровать, тяжело распростерлась лицом вниз. От камина несло мочой и болеутоляющим лекарством. Взболтав бутылку «примочек Эллимана», Дороти тщательно растерла крупные, оплетенные серыми венами дряблые ноги миссис Пифер.

На улице дышалось, как в раскаленной духовке; Дороти мигом оседлала велосипед – теперь домой. Солнце палило прямо в лицо, но воздух казался сладостным и свежим – счастье, счастье! Безумная радость всегда охватывала ее по окончании «обходов», и, сколь ни удивительно, сама она не догадывалась о причине. Возле фермы Борлейза рыжие разомлевшие коровы тонули в море сочной сверкающей травы, ноздри щекотал доносящийся от стада чистейший аромат свежего сена и ванили. И хотя утренние дела были исполнены всего наполовину, Дороти не смогла себя перебороть: минуту, не слезая с велосипеда, помедлила у луговой калитки, пока корова, почесываясь о воротный столбик и вытянув две нежно-розовые раковины влажного носа, мечтательно глядела на нее.

За живой изгородью Дороти заметила уже отцветшие веточки то ли дикой розы, то ли шиповника и, дабы уточнить растение, перемахнула через калитку. В чащу разросшихся под кустами сорняков пришлось влезть на коленях. Над почвой, у корней, томился пряный густой жар. В уши билось жужжание невидимых бесчисленных насекомых, от ворохов скошенной зелени струилась, окутывая тело, горячая парная пелена. Рядом тянулись вверх тростинки дикого укропа с пышными изумрудными султанами. Дороти подтянула к лицу укропную метелку и глубоко вдохнула – сладкий запах ударил с такой силой, что на мгновение закружилась голова. А она продолжала вдыхать, всей грудью впитывать. Волшебное благоухание лета и радостного детства, аромат чуждедальних островов в пене лазурных южных морей.

И вдруг душа возликовала. Это был тот блаженный восторг жизни и красоты природы, в котором Дороти – не совсем, может быть, правомерно – узнавала Божью любовь. В гуще пахучих жарких трав, под навевающее дрему жужжание мошек, ей слышался могучий хор

бесчисленных земных созданий, возносящих хвалу Творцу. Всякий листок и стебелек звенел, светился поющей радостью. Трели неразличимых в выси жаворонков лились с неба тем же хоралом. Все изобилие лета, тепло земли, пение птиц, гудение пчел, парок над стадом – все сливалось и воскурялось над алтарем благодарения. И потому со ангелами, со архангелами! Дороти начала молиться, молилась восторженно, благоговейно, самозабвенно... Только минутой позже ей стало ясно, что со словами молитвы она целует все еще прижатую к лицу душистую укропную метелку.

Она мгновенно опомнилась, отпрянула. Что с ней? Небу она сейчас молилась или земле? Пылкий восторг угас, сменившись холодком неловкости, – она ошиблась, впала в полужыческий экстаз. Последовало строгое внушение: «Впредь, Дороти, без этого! Ваше дикарство недопустимо!». Отец остерегал ее от поклонения природе, он не однажды говорил с амвона, что здесь лишь примитивный пантеизм и – это, казалось, его особенно сердило – глупое модное поветрие. Отломив шип от дикой розы, Дороти трижды уколола руку в знак напоминания о Святой Троице.

Из-за угла кустарниковой изгороди медленно подплывала загнутая совком черная шляпа. Патер Макгайр, духовный пастырь католиков, также использовал велосипед в визитах к прихожанам и, будучи мужчиной весьма тучным, покачивался, нависая над хрупким транспортом, как мячик на колышке для гольфа. Под пыльной шляпой лоснилось круглое лицо, румяное и плутоватое.

Дороти сразу сникла. Щеки ее порозовели, пальцы нервно и безотчетно стали нащупывать нательный крестик. Патер Макгайр ехал навстречу с видом полной, слегка насмешливой невозмутимости. Она попробовала улыбнуться, робко пролепетав: «Доброе утро». Но он неспешно крутил педали и даже глазом не повел; взгляд его проскользнул по лицу Дороти и далее, храня великолепную бесстрастность. Это был откровенный выпад. Напрямик. Дороти, к сожалению, не обладавшей ловкостью ответных резких ударов, осталось только сесть на велосипед и в продолжении всего пути умирять вихрь недобрых мыслей, непременно вскипавших после встреч с патером Макгайром.

Лет пять назад, когда однажды патер Макгайр, в связи с неимением в Найп-Хилле кладбища для католиков, совершал погребальный обряд на погосте Святого Афельстайна, Ректор счел нужным вслух указать некую погрешность в траурном облачении аббата, после чего достопочтенные священники завели над открытой могилой позорный безобразный диспут. С тех пор они друг с другом не разговаривали – наилучший исход, по мнению Ректора.

Что же касается других религиозных лидеров (мистера Варда из общины конгрегатов, пастора уэслианцев мистера Фоли, а также лысого, ослом ревущего пресвитера баптистской молельни), то и намек на общение со «сворой темных сектантов» грозил Дороти крайним родительским неудовольствием.

5

Пробило полдень. В огромной полуразрушенной теплице, позеленевшие стекла которой от времени и грязи переливались тусклой радугой старинных грубых бокалов, шла – а вернее, с грохотом неслась – репетиция «Карла I». В сценическом действии Дороти не участвовала, она являлась неизменным (практически единственным) изготовителем костюмов для детских представлений. Спектаклем, от режиссуры до механики сценических трюков, руководил учитель церковной школы Виктор Стоун – Виктор, как называла Дороти своего коллегу и ровесника. Сейчас этот необычайно экспансивный постановщик, темноволосый, узкоплечий, затянутый в глухой сюртук на манер пасторского, свирепо махал трубочкой текста перед носами шестерых остолбеневших исполнителей. Еще четверо малолетних актеров сидели у стены на длинной лавке и упражнялись в «шумах за сценой», разнообразя звукоподражательный тренаж стычками над кульком «мятных прыгунчиков» по полпенни десяток.

Жуткую духоту пропитывали едкие пары расплавленного клея и взмокших ребятишек. Зажав во рту портновские булавки, Дороти торопливо ползала по полу, кромсая с помощью садовых ножниц лист бумаги на узенькие ленточки. Рядом кипела, пузырилась клееварка. Сзади, на шатком, перемазанном чернилами столике громоздились части костюмов, клочья пакли, стопа оберточной бумаги, швейная машинка, черепки сухого клея, открытые банки красок и деревянные мечи. Мозг Дороти наполовину занимался разгадкой кроя исторических

ботфортов короля Карла и Оливера Кромвеля, наполовину внимал крикам Виктора, чей темперамент на репетиции всегда молниеносно взвивался до высших градусов. Нервно бегая, изрыгая потоки речей в яростном вольном стиле и делая краткие передышки, чтобы, схватив деревянную рапиру, поразить воспитанника метким ударом, Виктор демонстрировал страсть прирожденного артиста, к тому же вконец истерзанного возней с тупицами.

– Ну выдави хоть каплю жизни! Шевелись! – орал он, тыча клинком в пузо смиренного теленка лет одиннадцати. – Не бубни! Говори по-человечески! Мямлишь, как труп через неделю после похорон. Что это за утробное бульканье? Встань и рявкни на него! Брось этот кислый дохлый вид «второго убийцы»!

– Перси, иди сюда! Быстрее! – не выпуская булавки из рта, позвала Дороти.

Она творила доспехи (самое трудное после кошмарных ботфортов) из упаковочной коричневой бумаги. Впрочем, благодаря длительной практике она умела сделать из клея и бумаги чуть ли не все; из этих материалов с добавлением выкрашенной пакли у нее даже неплохо получались пристроенные к бумажной круглой шапочке пышные парики. На покорение пакли, клея, марли и прочих подручных средств любительского театра тратилась колоссальная часть жизни Дороти. Такая горькая нужда грызла церковный фонд, что месяца не проходило без новой пьесы, или торжественной процессии, или живых картин (не говоря уж о благотворительных базарах и лотереях).

Едва кудрявый как барашек Перси Джаветт, сын кузнеца, сполз со скамейки и приблизился, Дороти сдернула со стола лист бумаги, примерила его к тоскливо ерзающей фигурке, прорезала дыру для головы, напаялила на ребенка, сколола булавками – вчерне нагрудник уже наметился.

Вокруг бурлила смутная разноголосица.

Виктор. Давай, давай! Входит Оливер Кромвель – это ты! Нет, не то! По-твоему, Кромвель вползал, как выпоротая дворняжка? Встань прямо. Выкати грудь! Брови сдвинь! Вот, уже получше. Ну, давай – Кромвель: «Ни с места! У меня в руке пистолет!». Давай!

Девочка. Мисс, мама велела вам сказать, что мне надо сказать...

Дороти. Не вертись, Перси! Ради всего святого, не вертись!

Кромвель. Не с месс... У мня в руке пстолет...

Малышка со скамейки. Мистер учитель! У меня леденчик упал! (Хнычет.) Леде-е-енчик!

Виктор. Нет, нет, нет, Томми! Не то, не то!

Девочка. Мисс, мама велела вам сказать, что мне надо сказать, что она не пошила панталоны, что вы велели, потому что...

Дороти. Я проглочу булавку, если ты снова дернешься.

Кромвель. Ни с места! У меня в руке пистолет!

Малышка (заливаясь слезами). Леде-е-е-енчик!

Вывхватив кисть из клееварки, Дороти с лихорадочной поспешностью принялась мазать надетый на Перси бумажный панцирь, налепливая вдоль и поперек узкие ленточки, предпочитавшие клеиться к пальцам. За пять минут прочнейшая, неуязвимая кираса была готова. «Закованный в звонкую сталь доспехов» Перси жалобно косил глазом на острый край бумаги под нежным подбородком, боялся шевельнуться и очень напоминал щенка, которого купают в тазике. Дороти лязгнула ножницами, с одного бока надрезала кирасу, поставила ее сушиться и тотчас занялась следующим ребенком. Внезапно грянул страшный гром – вступили «шумы за сценой»: ружейная пальба и топот конницы. По временам пальцы от клея намертво слипались, но рядом стояло ведро воды для отмывания рук и латы ковались без передышки. Через двадцать минут уже стояли три полуготовые кирасы; их еще требовалось выкрасить серебрянкой, снабдить шнуровкой, а затем дополнить набедренниками, наколенниками и самой трудоемкой частью лат – шлемами. Размахивая шпагой и надсаживаясь, чтобы перекричать громоподобный стук копыт, Виктор попеременно играл Оливера Кромвеля, Карла I, пуритан, придворных кавалеров, крестьян и знатных леди. Дети тем временем все больше стали вертеться, зевать, капризничать, украдкой щипать друг друга. Используя паузу в сотворении доспехов, Дороти разгребла часть столика и уселась строчить «зеленый бархат» (выкрашенную зеленой марлю, вполне, однако, эффектную с дальнего расстояния). Еще десять минут бешеной гонки. Лопнула нитка – Дороти чуть не

чертыхнулась, сдержалась и поскорее вновь заправила иглу. Она сражалась со временем. До театральной премьеры две недели, а сделать надо невероятное количество всего: шлемы, камзолы, шпаги, ботфорты (о, эти грозящие тысячей трудностей ботфорты!), ножны, парики, шпоры, лес, трон – только от списка сердце переставало биться. И ведь родители учеников ей никогда не помогали; то есть они всегда сначала обещали, но потом как-то уклонялись. От духоты, а, может, от усилий одновременно шить камзол и мысленно кроить проклятые ботфорты, голова Дороти раскалывалась. Даже померк, забылся долг в двадцать один фунт и семь шиллингов Каргилу. Весь ужас сосредоточился на жуткой громаде не сшитых, не склеенных костюмов. Стиль ее напряженных дней: очередная вопиющая проблема (картонные доспехи, треснувшие полы на колокольне, счета торговцев, сорняки в горохе...) так изнуряла срочностью и тяжестью, что прочие заботы временно переставали существовать.

Виктор швырнул шпагу, раскрыл часы.

– Хватит! Конеч! – гаркнул он лютым голосом (тональность, лежавшая в основе его педагогической методы). – До пятницы! Видеть вас больше не могу! Вытряхивайтесь!

Он проследил за убежавшими детьми и, позабыв про них, едва они скрылись из виду, вытащил из кармана нотный листок, глядя в который заметался по теплице перед довольно сухой, вернее совершенно засохшей, публикой в виде двух сиротливо пылившихся вазонов с обломанными ржавыми былинками. Дороти продолжала не поднимая головы горбиться над стрекочущей машинкой.

Как существо неугомонного духа и неумной активности, Виктор обретал счастье только в противоборстве. Под первым впечатлением от его бледного, сурово вдохновенного (в сущности, лишь мальчишески задиристого) лица люди обычно начинали сокрушаться о даровании, гибнущем в ерунде церковного учительства. Правда, однако, состояла в том, что никаких особо ценных талантов Виктор не имел, кроме небольших музыкальных данных и очевидного умения работать с детьми. Потерпев неудачу во многих начинаниях, учителем он стал великолепным, воспитанники превосходно откликались на его деспотичный – наиболее уместный со школярами – стиль. И разумеется, подобно большинству, Виктор свой настоящий талант не ставил ни во что. Единственно достойной он почитал стезю священной богословской войны за истину, выше всего ценя «духовность». Будь его бойкие мозги чуть лучше приспособлены для усвоения греческой и древнееврейской грамматики, он бы бесспорно стал священником, о чем всегда мечтал. Но ввиду абсолютной недостижимости такого поприща его прибило к должности состоящего в приходском штате учителя и органиста – все-таки, как говорится, «при храме». Естественно, Виктор сражался на самом правом фланге боевитых англокатоликов. Клерикал не по чину, но по сердцу, знаток истории религиозных распри, эксперт по части ритуального декора, он неустанно готов был сокрушать протестантов, модернистов, ученых, большевиков и атеистов.

– Я тут подумала, – сказала Дороти, остановив машинку и срезав нитку, – шлемы неплохо вышли бы из старых фетровых котелков, если бы удалось набрать их в нужном количестве. Поля отрезать, нижнюю часть сделать из бумаги и все покрасить серебрянкой.

– Господи, неужели этой чушью голову забивать? – с досадой отмахнулся Виктор, утративший интерес к постановке в ту же секунду, как кончилась репетиция.

– Но что больше всего меня тревожит – ботфорты! – вздохнула Дороти, осматривая швы разложенного на коленях камзола.

– Да дьявол с ними, с ботфортами! К черту всю эту пьесу. Послушай, – начал Виктор, развертывая нотный листок, – я тебя очень прошу поговорить с твоим отцом. Спроси, пожалуйста, нельзя ли нам на следующий месяц устроить хоровое шествие?

– Опять? По случаю чего?

– Ну, я не знаю. Повод всегда найдется. Вот восьмого будет Рождение Пречистой Девы – по-моему, повод замечательный. Мы бы шикарно все обставили. Я раздобыл отличный чувствительный псалом, как раз, чтобы хором вопить, а из «Святого Уэдекинда» можно бы на день взять роскошную хоругвь с Девой Марией на синем фоне. Одно слово согласия – я сразу начинаю спевку.

– Ты же прекрасно знаешь, он откажет, – спокойно возразила Дороти, примеривая к камзолу большие пуговицы. – Отец не слишком одобряет шествия. Лучше не спрашивать его и не сердить.

– Вот еще, черт возьми! – непримиримо вскричал Виктор. – Да мы уже который месяц без шествий! Ни у кого на службах нет такой мертвечины, как у нас. Скучища смертная, будто в молельне у баптистов!

Ровная строгость проводимых Ректором обрядов бесила Виктора. Идеалом ему виделось то, что он называл «подлинно католическим богослужением», имея в виду густые клубы ладана, щедрую позолоту на изображениях святых и облачения еще пышней, чем в римских храмах. Как органист он постоянно настаивал на умножении всякого рода торжественных процессий с обильной сладкозвучной музыкой, тонкой вокальной разработкой и пр. – короче, они с Ректором тянули в разные стороны. И Дороти здесь примыкала к отцовским взглядам. Привитому с младенчества вкусу к прохладной *via media*^[14] англиканства да и самой ее натуре претили действия чересчур «внешние».

– Чертовски было бы эффектно, – мечтал Виктор, – чертовски здорово! Пройтись по боковому нефу, выйти из западных дверей, вернуться через южные, сзади хор со свечами, впереди скауты с хоругвью. Эх, шик!

Слабым, но мелодичным тенорком он пропел несколько начальных тактов: «Славься, День Торжества, день истинно благословенный, святой веки...». Затем добавил:

– А парочка мальчишек махала бы чеканными кадильницами, куря ладан. Ну, представляешь?

– Да. Только отец не переносит такие выкрутасы. Особенно в связи с Девой Марией. «Римская лихорадка», говорит он, доводит до того, что люди крестятся и встают на колени в моменты совершенно неположенные, и вообще Бог знает до чего. Ты помнишь ведь, что было в прошлый Рождественский пост?

Тем злополучным днем Виктор без спроса, самовольно объявил перед общим пением псалом 642 с рефреном «Аллилуйя, Мария! Аллилуйя, Мария! Аллилуйя, Мария милосердная!». Вылазку пошлого папизма Ректор перетерпел с достоинством: молча дослушал первую строфу, чрезвычайно аккуратно закрыл томик псалмов и устремил на паству взор столь каменный, что многие из юных певчих, поперхнувшись, едва сумели дотянуть мелодию. Позднее Ректор рассказывал, что среди деревенщины, горланившей «ллилуйя! лилуйя!», он чувствовал себя в чаду «Пса и бутылки», где пьяный сброд требует пойна.

– К черту! – в привычном мрачном недовольстве бросил Виктор. – Твой отец вечно против, если я пробую внести в службы хоть каплю жизни. У него ничего нельзя: ни благовоний, ни настоящей музыки, ни подходящих церковных одеяний – ничего! А итог? Даже в Христово Воскресение к нам почти не идут. Смотришь воскресным утром – никого кроме мальчишек-скаутов, девчонок-скаутов да кучки затрапезных старушенций.

– Знаю, это ужасно, – кивнула Дороти, любясь первой пришитой пуговицей. – Кажется, что ни делай, бесполезно, просто совсем не удастся приобщить людей к церкви. Но все-таки, – добавила она, – венчаться и хоронить они приходят. И, пожалуй, в этом году не меньше, чем год назад. На Пасху собралось человек двести.

– Двести! Должно две тысячи! Весь город! А в действительности три четверти горожан всю жизнь и близко к церкви не подходят. Вера больше не властвует. Но почему? Я спрашиваю – почему?

– По-видимому, из-за «науки», «свободной мысли» и всего такого, – процитировала отца Дороти.

Замечание изменило курс обличительной тирады Виктора: он уже собирался повторить, что паства Святого Афельстайна тает вследствие страшного занудства богослужений, однако от ненавистных слов «наука-мысль-свобода» речь съехала в самую наезженную колею.

– Вот именно, так называемая их «свобода мысли»! – воскликнул он и снова начал неистово метаться по теплице. – Все от них, свинских атеистов из шайки Рассела и Хаксли^[15]. Еще бы церкви не обессилеть, если вместо того, чтобы громить до основания этих грязных лживых болванов, мы просто засели в своих норах и позволяем безбожникам всюду сеять их скотские мыслишки. А все наши епископы!

Как истинный англикатолик, Виктор был преисполнен гнева и презрения к английским епископам.

– Епископы наши прохвосты, модернисты и карьеристы! Вот так, – резюмировал он слегка успокоившимся, повеселевшим голосом. – Письмо мое, опубликованное на прошлой неделе в «Гласе Господнем», видела?

– Нет, к сожалению, – сказала Дороти, стараясь точно поместить вторую пуговицу. – О чем оно?

– О наших епископах-новаторах и прочей нечисти. Старика Барнса я там здорово поддел!

Практически недели не проходило без письма Виктора в редакцию «Гласа Господня». В пекле каждого боя, в гуще каждой атаки на модернистов и атеистов, он дважды доблестно сражался с доктором Мэйджором, не раз испепелял убийственной иронией декана Инге и епископа Бирмингемского, не робел налетать на самого верховного злодея Рассела (трусливый Рассел, разумеется, не принял вызов). Но Дороти, по правде говоря, нечасто знакомилась с его памфлетами, ибо один вид заголовка «Гласа Господня» возмущал Ректора. Из всех газет в его дом доставлялся лишь «Исторический Церковный вестник», благородный, несколько старомодный еженедельник с мизерным тиражом для истинных ценителей высокого.

– Скотина Рассел! – процедил Виктор, сощурившись и глубоко засунув руки в карманы. – Ох, как у меня от него кровь закипает!

– Это не тот Рассел, который такой ужасно умный математик? – спросила Дороти. – Не он?

– Ну, в своих алгебрах-формулах он, может, и соображает, – нехотя подтвердил Виктор. – Да что с того? Если кому-то там охота вечно возиться с цифрами, это еще не означает... И вообще – неважно! Давай-ка снова то, с чего я начал. Так почему ж у нас не получается зазвать прихожан в церковь? А потому что службы наши без чувства и без веры, вот почему. Люди хотят таких богослужений, которые действительно богослужения, они хотят по-настоящему? по католически прекрасного служения Богу! А что мы им даем? Вместо пищи духовной пичкаем их протухшей скукотищей, хотя всем ясно – протестанщина тупа и холодна, как старый ржавый гвоздь.

– Неправда! – возмутилась Дороти, прикручивая третью пуговицу. – Мы никакие не протестанты, ты отлично знаешь. Папа всегда говорит, что в англиканстве принцип католический, и он уже не знаю сколько проповедей читал о святости апостольского предания^[16]. Из-за этого самого к нему не ходят лорд Покторн и другие вроде него. Только с англикатоликами папа тоже не хочет: он говорит, у них ритуальность чрезмерна и самодовлеет. И я так думаю.

– Я же не утверждаю, что отец твой не прав в доктрине – в доктрине абсолютно прав. Но если он принцип считает католическим, то почему бы и обряд не вести согласно истинной традиции? Почему хоть иногда не напоить воздух благоуханным ладаном? Обидно! И потом его представления о ризах – ты извини, я вынужден сказать – это ж ни в какие ворота! На светлое Христово Воскресенье поверх готической сутаны надел нынешний итальянский стихарь с тесьмой. Это же, черт возьми, как цилиндр с коричневыми туфлями!

– А мне фасон не кажется настолько важным, – сказала Дороти. – Думаю, главное – дух, а не облачение.

– Типичный ответ дубовых методистов! – вскинулся Виктор. – Облачения именно важны необычайно! Зачем священный ритуал, если не выполнять его как следует? Хочешь взглянуть, какой может быть настоящая благородная служба, – зайди к «Святому Уэдекинду» в Миллборо! Вот это да, вот это шик! И лики Девы Марии, и чаши, и дарохранительницы – ух, красота. Из консистории их уже раза три прихватывали, но они, молодчаги, в ус не дуют, ноль внимания на епископа.

– А мне они противны! – держалась Дороти. – Все напказ. Так дымят своим ладаном, что еле угадаешь, где алтарь. Таким, как в «Святом Уэдекинде», надо бы принимать чистое католичество – без лицемерия.

– А вот тебе бы, дорогая, надо в секту. Честное слово, ты готовая сектантка. Звалась бы Плимутским братом или Плимутской сестрой, или как там еще. Уверен, твой любимый псалом 567-й: «Господи, в вечном страхе пребываю перед высотами Твоими!».

– А у тебя, конечно, 231-й: «Каждую ночь шатер мой разбиваю все ближе к Риму!», – парировала Дороти, замотав нитку вокруг четвертой и последней пуговицы.

Спор продолжался еще несколько минут, пока Дороти украшала шляпу знатного дворянина плюмажем (привязывала к собственной старенькой школьной шляпке пучок настриженной бумаги). Они с Виктором не умели поговорить без того, чтобы быстро не впасть в полемику насчет степени допустимой «ритуальности». Дороти полагала, что Виктор, если ему не препятствовать, способен окончательно «скатиться к Риму», и это было очень вероятно. Но сам Виктор не признавал близости рокового края. Сейчас, когда борьба англокатоликов кипела на трех фронтах одновременно – справа упрямство протестантов, слева нахальство модернистов, а сзади, как ни грустно, вероломство римских патеров, не упускавших случая тихонько пырнуть в спину, – весь его горизонт заполнялся упоительной битвой. Первейшим, важнейшим делом жизни являлось пригвоздить доктора Мэйджора в «Глазе Господнем». Интересно впрочем, что страсть пылкого рыцаря веры по сути не содержала ни грана религиозности. Бурная клерикальная полемика воодушевляла азартом состязания, самого интересного на свете, поскольку в нем не предвиделось конца и разрешалось немножко жульничать.

– Ну, слава Богу, тут, кажется, все, – сказала Дороти и покрутила на пальце дворянский головной убор с плюмажем. – Но впереди ведь еще горы, горы! Как я мечтаю забыть когда-нибудь про гнусные ботфорты. Виктор, а сколько времени?

– Без пяти час.

– Боже мой! Нужно бежать! На ужин три омлета – я не могу доверять их нашей Эллен. Ой, Виктор! Есть у тебя что-нибудь нам на распродажу? Если есть пара старых брюк, это бы лучше всего: брюки с благотворительных базаров сразу разбирают.

– Брюки? Нет. Я тебе скажу, что, пожалуй, могу дать. Могу дать «Странствия паломника» и «Книгу мучеников» Фокса, сто лет жажду от них избавиться. Свинская протестантская макулатура! Одна хрычовка из сектанток всучила этот хлам. А ты, стало быть, снова затеяла гроши выклянчивать? Вели бы мы службы в церкви нормально, по католически, могли бы развести приличную паству, не пришлось бы...

– Дашь книги? Замечательно! – прервала Дороти. – Мы всегда ставим книжный лоток и просим только пенни за книжку, так что почти все продается. Нам просто необходим успех на этой распродаже! И знаешь, Виктор, я почти уверена, что мисс Мэйфилл пожертвует нечто необычайно милое. Мои особые надежды на ее сервис Лостофтского завода, мы получили бы не меньше пяти фунтов. Сегодня я все утро специально молилась, чтобы она его дала.

– Вот как? – произнес Виктор без обычного энтузиазма. Так же как хмурого трудягу Прогетта, его, готового сутками дискутировать о пунктах ритуала, упоминания о молитвах собственного сочинения слегка коробили. – Так не забудь спросить отца насчет процессии, – напомнил он, повернув к теме близкой и приятной.

– Хорошо, я спрошу. Только ты знаешь, как будет: он рассердится и назовет это «римской лихорадкой».

– Проклятье! Дьявол ее задери, чертову лихорадку! – воскликнул напоследок Виктор, который в отличие от Дороти не налагал на себя епитимий за бранные слова.

Примчавшись в кухню, обнаружив, что для трех порций омлета имеется всего пяток яиц, Дороти решила соорудить один большой омлет, нарастив объем блюда добавлением вчерашнего вареного картофеля. С краткой молитвой об удаче (омлеты ужасно склонны разваливаться, когда их вынимают из сковородки) Дороти погрузилась в кулинарные проблемы. Виктор тем временем спускался в город, полуобибженно-полумечтательно мурлыча «Славься, День Торжества» и встретив по пути лакея, тащившего к дому священника две старинные ночные вазы без ручек – вклад мисс Мэйфилл в дело богоугодной филантропии.

6

Часы показывали чуть больше десяти вечера. За день много всего случилось, хотя ничего примечательного: карусель хлопот, каждодневно круживших Дороти. В этот довольно поздний час она, как было предварительно условлено, сидела в гостях у Варбуртона, пытаюсь

не сбиться на поворотах очередной из хитро петляющих дискуссий, в которые хозяин дома обожал ее втягивать. Они беседовали (Варбуртон, естественно, всегда выкруливал к этой теме) о религии.

– Дороти, дорогая, – вопрошал опытный оратор, расхаживая, одна рука в кармане пиджака, другая плавно чертит воздух бразильской сигарой. – Дорогая моя Дороти, ты же не станешь всерьез настаивать, что в твои годы – двадцать семь, не так ли? – с твоим умом ты продолжаешь набожно верить более-менее in toto [\[17\]](#)?

– Да, продолжаю. Вам известно – продолжаю.

– Фу! Шутишь? Хитришь, плутишка? Все эти басни, сказочки у колыбельки – ты будешь притворяться, что еще веришь в них? Ну нет, не веришь! Не можешь верить! Страшно сознаться, вот в чем штука. Но успокойся, здесь полная безопасность: супруга надзирателя епархии под дверью не торчит, а я умею таить секреты.

– Не знаю, что вы называете «этими баснями», – садясь прямее, обидчиво начала Дороти.

– Что? А возьмем какую-нибудь совсем несуразную вещицу – допустим, ад. Ты веришь в ад? Заметь, я не имею в виду нечто без запаха, без цвета, о чем толкуют современные епископы, так возбуждающие юного Виктора Стоуна. Я спрашиваю, способна ли ты верить буквально? Веришь ты в ад, как, предположим, в Австралию?

– Да, верю, – ответила Дороти и постаралась объяснить, почему вечная реальность ада реальнее Австралии.

– Хм, – выслушал ее маловвер Варбуртон. – По-своему, конечно, убедительно. Но что меня в вас, людях религиозных, настораживает – как-то чертовски уж бесчувственно вы верите. Воображением, мягко говоря, вы слабоваты. Вот я: безбожный, грешный, как шестеро из семерых живущих, и очевидно обреченный на вечные муки. Кто знает, через час, быть может, мне уготовано уйти и жариться в адской печурке. А между тем ты преспокойно сидишь, болтаешь, будто со мной все в порядке. Порази меня тривиальный рак, проказа или иная земная хворь, ты сильно огорчишься (по крайней мере, льщу себя надеждой на твое огорчение), однако в ситуации, когда мне предстоит сотни веков шипеть на рашпере, ты выглядишь обидно безмятежной.

– Я никогда не утверждала, что вы должны гореть в аду, – проговорила Дороти, конфузясь и мечтая сменить тему.

Честно сказать, вопрос, поднятый Варбуртоном, и для нее являлся крайне затруднительным, ибо в ад Дороти искренне верила, только ей никак не удавалось поверить, что кто-то туда попадал. Бесспорно существующий, ад представлялся ей пустынным и безлюдным. Подозревая неортодоксальность таких взглядов, она предпочитала хранить их при себе.

– Ни о ком невозможно знать заранее, будет ли он в аду, – более твердо заявила Дороти, выбравшись все же из самой страшной топи.

– Что я слышу! – воскликнул Варбуртон в притворном изумлении. – Неужто есть еще надежда и для меня?

– Конечно есть. Это те, кто с примитивным «предопределением», они нарочно пугают, что все равно пойдешь в ад, хотя бы даже и совершенно раскаялся. Но англиканцы – не кальвинисты!

– Стало быть, остается шанс на оправдательный вердикт, если преступное деяние сочтут «свершенным по неведению»? – задумчиво уточнил Варбуртон. И, наклонясь к Дороти, прошептал: – Дорогая, во мне такое чувство, что после двух лет нашего знакомства ты не рассталась с мыслью обратить меня – спасти заблудшую овцу, вырвать из пасти огненной и прочее. Таишь благое упование однажды пробудить грешную душу и встретить меня на причастии каким-нибудь ранним, чертовски промозглым зимним утром? Я угадал?

– Ну... – протянула Дороти, снова впадая в жуткую неловкость. Она и вправду уповала на чудо подобного перерождения, хотя тут наблюдался явно не слишком перспективный случай. Но не могла же Дороти просто смотреть на погибающего ближнего и не пытаться исправить положение. Боже, сколько часов и сил она растратила в беседах с темными деревенскими безбожниками, которые не могли даже объяснить причины упорного неверия!

– Да, – наконец призналась Дороти, заставив себя не уклоняться от честного ответа.

Варбуртон весело расхохотался:

– Твоя прелестная душа исполнена прекрасных чаяний! А ты, между прочим, не боишься, что вдруг я обращаю тебя? Помнишь такую песенку «жила, жила собачка и разом околела»?

Дороти только улыбнулась; «нельзя подавать виду, что он тебя шокирует», этот принцип главенствовал в ее общении с Варбуртоном. Дружеская перепалка безрезультатно продолжалась еще час и, согласись Дороти задержаться, могла бы длиться всю ночь, ибо Варбуртон наслаждался их богословскими дебатами. Он обладал столь часто – просто фатально! – даруемой циникам атеистам дискуссионной ловкостью: Дороти ведь всегда была права, но отнюдь не всегда – победоносно. Они сидели (вернее, Дороти сидела, а Варбуртон стоял) в просторной красивой комнате, окнами выходившей на залитый лунным светом газон и называвшейся «студией», хотя лишенной примет когда-либо имевших здесь место творческих деяний. К великому разочарованию Дороти, знаменитый Бьюли так и не появился.

Собственно, и прославленный писатель, и его верная супруга, и вызвавший восторги знатоков роман «Тихий омут и одалиски» – все было чистойшей выдумкой, экспромтом, удачно осенившим Варбуртона в минуту, когда он измышлял предлог зазвать в гости опасливую Дороти. Дороти впрямь забеспокоилась, найдя в обещанном литературном салоне лишь хозяина. Ей сразу показалось, более того – стало ясно, что из благоразумия следует тут же удалиться. Но она не ушла. Главным образом потому, что страшно устала, а кресло, к которому подталкивал ее радушный Варбуртон, манило очень уж желанным отдохновением. Теперь, однако, ее мучили тревоги. Нельзя здесь оставаться – пойдут слухи и пересуды. Срочные дела, отложенные ради визита, тоже взывали к ее совести. Праздность так мало отвечала привычкам Дороти, что и короткий час беседы имел для нее привкус некой смутной греховности.

Она вздохнула и выпрямилась в чересчур уютном кресле:

– Пожалуй, если вы не возражаете, я попрощаюсь.

– Кстати, об «оправдательном вердикте», – продолжал Варбуртон, пропустив ее реплику мимо ушей. – Не помню, рассказывал ли я тебе, как однажды стою я возле паба «Конец света», жду такси, вдруг на меня кидается чертовски безобразная девица из Армии спасения и ошарашивает (знаешь их бесцеремонную манеру) таким вопросом: «Что, несчастный, скажешь в день Страшного суда?». «Прошу высокий суд отсрочить мою защиту!» – ответил я. Довольно остроумно, не находишь?

Дороти молчала. Ее пронзил новый жестокий укор совести – гадкие, так и не склеенные ботфорты: пока она тут прохлаждается, уже один сапог, по крайней мере, мог бы быть сделан. Вот только усталость неодолима. Какой тяжелый день, от утреннего десятимильного велопробега с доставкой Приходского журнала до вечернего чая у Дружных Матерей в душной дощатой комнатухе позади зала церковных собраний. Каждую среду Матери собирались для неспешных чаепитий и вышивания салфеточек, а Дороти при этом «развивала» их чтением вслух; в настоящее время дочитывалась «Дева из Лимберлоста» Джин Страттон Портер. Обязанности такого рода почти целиком лежали на Дороти, поскольку в их приходе обычную фалангу активисток («церковных кур», как говорят в народе) попеременно составляли четыре или пять женщин, не больше. И среди них одна лишь всецело преданная постоянная помощница – мисс Фут, девушка тридцати пяти лет, долговязая, с мордочкой перепуганного кролика. Но она («удивительно забавное создание», напоминавшее Варбуртону «комету, которая, выставив кроличье тупое рыльце, мчитя по фантастической орбите и никогда не прибывает вовремя») вечно впадала в панику и все проваливала. Ей еще можно было поручить церковное убранство, однако невозможно было доверить ни Матерей, ни школьников, так как набожность ее содержала некий сомнительный оттенок: она однажды по секрету сказала Дороти, что лучше всего возносить молитву под голубым шатром небес.

Сразу по окончании чаепития Дороти убежала в церковь, чтобы поставить свежие цветы у алтаря. Затем с трудом отстучала текст новой отцовской проповеди; машинка, изготовленная еще до Бурской кампании, еле держалась, шрифт едва читался, о четырех

страницах в час мечтать не приходилось. Затем, после ужина, дотемна и до сильнейшей боли в спине, полола грядки. И вот так с одного на другое, третье, десятое... – сегодня она замучилась как никогда.

– Мне в самом деле пора прощаться, – настойчивее повторила Дороти, – уже наверно очень поздно.

– Прощаться? – пожал плечами Варбуртон. – Вздор какой! Вечер же только начался.

Сигару он докурил и прохаживался, покоя обе руки в карманах. Исчезнувший зловещий призрак ботфортов явился снова. Она сделает этой ночью не один мерзкий сапог, а всю пару, внезапно решила Дороти, и это будет наказанием за попусту растраченный здесь час. Но едва в уме начал складываться крой подъема к голенищу, она заметила, что Варбуртон несколько подозрительно притих за ее креслом.

– Который час? – спросила Дороти.

– Примерно пол-одиннадцатого, полагаю. Однако люди, нам подобные, не думают о таком пошлом предмете, как время.

– Ну, если половина одиннадцатого, мне нужно срочно убегать, у меня еще есть работа перед сном.

– Работа? Ночью? Невозможно!

– А для меня возможно. Мне еще надо сделать пару ботфортов.

– Пару чего? – искренне изумился Варбуртон.

– Ботфортов. Для детского спектакля; мы клеим все оформление из упаковочной бумаги.

– Клеим! Из упаковочной бумаги! Господи боже, бесподобно! – Варбуртон бормотал без передышки (в основном, чтобы потоком слов закамуфлировать осторожное приближение к креслу). – И это ты называешь жизнью? Посреди ночи канителиться с бумажками и клеем! Должен признаться, я иногда чуточку отвлекаюсь от своих горестей, радостно вспомнив, что я не дочь священника.

– Мне кажется... – начала Дороти.

В этот момент незримые ладони тихонько обняли ее за плечи – Дороти тотчас изогнулась в попытке вырваться на волю, но Варбуртон притиснул ее обратно.

– Расслабься, – миролюбиво попросил он.

– Пустите меня!

Варбуртон легонько провел пальцами по ее руке от локтя до плеча. Сделано это было осторожно, неторопливо, с нежностью знатока, ценителя женского тела, истинного гурмана.

– У тебя необыкновенно волнующие руки, – проговорил он. – Как случилось, что ты смогла столько лет оставаться в девушках?

– Сейчас же отпустите! – снова вступила в борьбу Дороти.

– Но отпускать что-то не слишком хочется, – возразил Варбуртон.

– Пожалуйста, не надо меня гладить! Мне неприятно!

– Ах, странное дитя! Ну почему же неприятно?

– Я говорю вам – мне не нравится!

– Только не оборачивайся, – еще мягче погладил ее Варбуртон. – Ты, кажется, не оценила всей деликатности моих маневров с тыла: начнешь вертеться – вынуждена будешь увидеть довольно пожилого, в придачу жутко лысого господина, а если будешь сидеть спокойно, сможешь вообразить, что это Айвор Новелло.

Дороти глядела на руку, ласкавшую ее: мужская крупная рука с широкой розовой ладонью, с пучками рыжеватых волос на толстых пальцах... Лицо ее вдруг сильно побледнело, вместо негодования возникла гримаса страха и отвращения. Она отчаянно рванулась, вскочила и повернулась к Варбуртону:

– О, если бы вы только не делали этого! – голос прозвучал не столько гневом, сколько горестной жалобой.

– Да что с тобой?

Варбуртон распрямился, беспечный и беззаботный как всегда, но посмотрел на Дороти чуть пристальней. Она заметно изменилась. И не одна бледность была тому причиной, ее взгляд стал диким, замкнутым, тревожным – странным. Он вдруг почувствовал, что ранил ее чем-то, чего не понимал, а она, может, вовсе не хотела ему открыть.

– Что с тобой? – переспросил он.

– Зачем вы это всегда, при каждой встрече со мной?

– «Всегда, при каждой встрече» – преувеличение, – отметил Варбуртон. – Благоприятная возможность с тобой выпадает крайне редко. Но если тебе в самом деле так не нравится...

– Очень не нравится! Вы знаете, не нравится!

– Ну и прекрасно! Тогда завершаем этот раунд, – великодушно предложил Варбуртон. – Поговорим о чем-нибудь другом.

Полнейшее бесстыдство. Похоже, это было главным в его характере. Только что попытавшись соблазнить Дороти и потерпев позорное фиаско, он совершенно невозмутимо собирался и дальше вести приятный разговор.

– Я ухожу, – сказала Дороти. – Я не могу здесь больше оставаться.

– Да ерунда! Забудь и сядь. Обсудим нравственный базис теологии, или соборную архитектуру, или программу по кулинарии для девочек – любая тема, выбор за тобой. Сама подумай, каково мне будет сейчас остаться в скорби и одиночестве, когда ты бессердечно меня покинешь.

Но Дороти упорствовала. Стойкость, кстати, крепилась дополнительным моментом. Конечно, если уж ее приятель настроился на штурм, то, что бы он ни обещал, атака вскоре возобновится. Однако, помимо наглых приставаний, основу его уговоров не спешить составляло свойственное всем бездельникам нежелание спать по ночам и абсолютное непонимание цены времени. Позволь вы Варбуртону, он бы продержал вас за болтовней до трех, а то и четырех утра. Даже когда Дороти вырвалась наконец из его дома, он шел рядом с ней по песчаной лунной аллее, ни на секунду не закрывая рта, причем вел разговор в таком очаровательном шутливом стиле, что она больше не могла сердиться.

– Завтра с утра пораньше отбываю, – сообщил он, замедлив шаг в конце дорожки. – Беру автомобиль, еду за малышами (внебрачными моими, ну ты знаешь) и послезавтра во Францию. Куда потом, еще не решено; скорей всего Восточная Европа: Вена, Прага, Бухарест...

– Что ж, очень мило, – сказала Дороти.

С проворством, удивительным в таком солидном господине, Варбуртон оказался между Дороти и выходом.

– Мы расстаемся на полгода или более, – заговорил он, – перед столь долгой разлукой излишне, разумеется, спрашивать, хочешь ли ты подарить мне нежный прощальный поцелуй?

Мгновенно, не дав Дороти опомниться, он обнял ее и притянул к себе. Она дернулась – слишком поздно! Поцелуй в щеку состоялся. Он бы поцеловал и в губы, не успей Дороти вовремя отвернуться. Она сопротивлялась бешено, яростно, на мгновение бессильно.

– Пустите меня! – молила она. – Пожалуйста, прошу вас, отпустите!

– По-моему, я уже выше подчеркивал, – мурлыкал Варбуртон, без усилий крепко удерживая девушку, – что отпускать как-то не очень хочется.

– Но мы же прямо против окон миссис Семприлл! Она увидит, непременно увидит!

– Господи боже! – спохватился Варбуртон. – Прости, забыл.

Впечатленный таким доводом, как никаким другим, он выпустил Дороти, и она молнией кинулась за калитку, плотно закрыв ее. Варбуртон внимательно осмотрел фасад ближнего дома.

– Света нигде не видно, – заключил он. – Будем надеяться, что карга нас проворонила.

– Прощайте, – торопливо сказала Дороти. – Теперь-то я просто должна уйти. Передайте привет от меня вашим детям.

С этими словами она пошла, точнее побежала, стремясь скорее выбраться из зоны, куда могли бы дотянуться длинные, жаждущие объятий руки Варбуртона.

На бегу ей послышался резкий короткий стук, будто от опустившейся оконной рамы. Может быть, миссис Семприлл все-таки следила за ними? Ах, ну конечно она следила! Могло ли быть иначе? Представить невозможно, что миссис Семприлл пропустит подобное зрелище. И завтра случай разнесется по городу, ни малейшей детали не потеряется при пересказе... Однако эти соображения лишь черной тенью промелькнули в мыслях быстро шагнувшей Дороти.

Уже на безопасном расстоянии от дома Варбуртона она остановилась, достала носовой платок и стала тереть то место, куда пришелся поцелуй; терла сильно, ожесточенно, до воспаленной красноты. Пока не стерлось ощущение его губ, нельзя было двинуться дальше.

Поступок Варбуртона расстроил, разволновал ее. До сих пор еще сердце стесненно колотилось. «Я не могу, я просто не переношу все это!» – твердила она себе. И, к сожалению, слова ее были правдивы в самом буквальном смысле: она действительно не могла. Мужские ласки – ползущие по телу тяжелые мужские руки, мясистые мужские губы вплотную к ее собственным... Ужасно, омерзительно! Даже мысленный образ заставлял судорожно ежиться. Тут крылась сокровенная тайна, ее неизлечимое увечье. «Если б только они не приставали!» – думала Дороти, идя уже чуть медленнее. Часто в ней возникала эта мольба «если б они не приставали!». Однако было бы ошибкой полагать, что ей вообще не нравились мужчины. Напротив, они ей нравились гораздо больше женщин. И Варбуртон притягивал ее чисто мужской вольной беспечностью и интеллектуальной широтой – качествами, которыми так редко блистают дамы. Но почему мужчины не умеют не приставать? Почему непременно надо лезть с поцелуями и мучить? В них тогда появляется нечто зловещее, гадкое: словно большой пушистый зверь жмет к вам, слишком нежно ласкаясь и нацеливаясь вмиг вцепиться. Есть еще в хищных мужских ласках предвестие других, жутких, чудовищных вещей («всего этого», по определению Дороти), о чем она и мысли не могла вытерпеть.

Конечно, Дороти досталась своя, даже с избытком, доля развязных ухаживаний. Она была в самую меру и миленькой и некрасивой – такой, каких по большей части выбирают скучающие кавалеры. Когда мужчина хочет поразвлечься, обычно он предпочитает девушку не особенно хорошенькую (красотки, полагает он, чересчур избалованы, а потому капризны). Традиционный объект охоты – славные дурнушки. И пусть ты даже дочь священника, пусть живешь в таком месте, как Найп-Хилл, и вечно занята приходскими заботами, назойливой игривости не избежать. Дороти привыкла, давно привыкла к этим уже не первой молодости охотникам с брюшком и жадно выпученным взглядом, которые сбавляют скорость автомобилей, когда проходишь мимо по дороге, или завязывают светское знакомство и через десять минут начинают лапать за коленку. Разные среди них ей попадались. Однажды даже важное духовное лицо, капеллан местного епископа, который...

Бог с ним! Не лучше, а хуже – о, несравненно хуже! – получалось, когда мужчины бывали порядочными и вели себя достойно. Воспоминания унесли ее в дни пятилетней давности, к милому Фрэнсису Муну, викарию из храма Святого Уэдекинда в Миллборо. Дорогой Фрэнсис! Как счастлива она была бы выйти за него, не будь только всего этого! Тысячу раз он просил ее стать его женой, и, разумеется, она столько же раз сказала «нет», а он, конечно, совершенно не понял, почему. Объяснить было невозможно. А потом он уехал и год спустя так неожиданно, нелепо умер от воспаления легких. Дороти зашептала молитву о душе бедного Фрэнсиса, забыв в эту минуту, что отец не вполне одобряет молитвы о покойных. Затем усилием воли подавила воспоминания. Ах, лучше не думать, не будоражить себя снова. Слишком больно.

Замуж она не сможет выйти никогда, давно (да собственно, еще ребенком) решила Дороти. Никто, ничто не одолеет ее ужас перед всем этим – от намека на жуткую тему что-то внутри сжималось и леденело. В известном смысле здесь присутствовало и нежелание пересилить себя, ибо, как все люди с психическими отклонениями, она не вполне четко сознавала, что они есть в ней – отклонения.

Непобедимый сексуальный страх казался Дороти естественным и неизбежным, хотя она, в общем-то, знала, где его исток. Поныне ясно, четко помнились сцены кошмарных отношений отца и матери – сцены, происходившие при ней, когда ей было не больше девяти.

А чуть позднее те пугавшие гравюры с нимфами и преследующими их сатирами. Темной, неизъяснимой жутью вползали в ранние впечатления фигуры рогатых полулюдей, подстерегающих в чаще, крадущихся из-за стволов, чтобы внезапно выпрыгнуть, схватить добычу. Девочкой она целый год боялась войти в лес, где живут страшные сатиры. Потом, конечно, ребяческий испуг прошел, но не прошло рожденное им чувство. Образ сатира прочно затаился в ее сознании. Вероятно, ей не суждено избавиться от этого безумного бегства, от настигающего, застилающего мозг ужаса: цокот копыт в глухом лесу и мускулистые косматые ляжки зверя. Такие странности сознания не сотрешь, не закрасишь. К тому же, в наши дни они слишком обыкновенны среди интеллигентных девушек, чтобы кого-то удивлять и волновать.

Когда Дороти добралась до дома, буря переживаний почти затихла. Все, что клубилось в голове – сатиры, Варбуртон, Фрэнсис Мун, ее женская обреченность – постепенно рассеялось; на первый план твердо и укоризненно вышли ботфорты. Она прикинула, что еще часа два ночью сумеет поработать. Тихо, темно. Она скользнула в заднюю дверь и дальше пошла на цыпочках, боясь неосторожным шорохом разбудить отца, который наверняка уже уснул.

На полпути в теплицу, ощупью пробираясь через коридор, Дороти ясно поняла, как дурно она поступила, пойдя сегодня к Варбуртону. Никогда, даже если в его доме будут другие гости, она не ступит туда ногой, а завтра обязательно накажет себя за легкомыслие. Так что Дороти первым делом нашла в оранжерее свою уже составленную для следующего дня «памятку» и возле пункта «завтрак» карандашом вписала крупное заглавное «Е», («Е» означало «епитимья», то есть опять ни крошки бекона с утренним чаем). Потом зажгла под клееваркой керосинку.

Желтый круг лампы, освещая столик со швейной машинкой и грудой полузаконченных костюмов, напоминал о бесконечности необходимых дел, а также о ее сегодняшней смертельной усталости. Усталость эта, позабытая в момент, когда ее коснулись руки Варбуртона, теперь вернулась, навалилась двойной тяжестью. Вообще, испытывать такой упадок сил Дороти раньше, кажется, не приходилось. Она ощущала себя в полном смысле слова разбитой. Перед столом ее на несколько мгновений окутало и растворило странным чувством: голова опустела, никакого представления о том, как, для чего она сюда пришла. Наконец прояснилось – да, ботфорты! Какой-то гаденький бесенок нашептывал: «А почему бы не пойти сейчас лечь спать, не отложить эти ботфорты до завтра?». Пришлось немного помолиться о даровании сил и крепко ущипнуть себя («Не отлынивайте, Дороти! Надо работать! Возложи руку свою на плуг; Лука: 9, 62). Очистив край стола, она достала ножницы, карандаш, четыре листа бумаги и, пока клей растапливался, приступила к выкройке сложнейшей части сапога – стопы.

Она еще работала, когда часы в отцовском кабинете отбили полночь. К этому времени объем ботфортвов определился, и начался самый противный, грязный, нудный этап – укрепление формы путем обклеивания сеткой узких бумажных полосок. Каждая косточка ныла, руки дрожали, глаза слипались. Дороти уже смутно понимала, что она делает. Но машинально продолжала клеить полоску за полоской и поминутно щипать себя, чтобы не поддаваться усыпляющему тихому клочкотанию клееварки.

Глава II

1

Из черноты глухого сна, словно ее долго тащило сквозь бездонный мрак к мутной и постепенно светлеющей поверхности, Дороти возвратилась в пределы сознания.

Глаза еще были закрыты. Но вот веки почувствовали свет, затрепетали и произвольно раскрылись. Она увидела улицу – бойкую неказистую улицу с рядами сплошных узких фасадов и мелких магазинчиков, с бегущими потоками людей, трамваев и машин.

Впрочем, неверно говорить, что она видела. Объекты зрения не опознавались как люди, автомобили или иные определенные предметы; даже не различались как предметы движущиеся и неподвижные, вообще как предметы. Пока она только смотрела, подобно созерцающим животным: не размышляя, почти не воспринимая. Уличные шумы – галдеж толпы, квакающие клаксоны, громохание скрежещущих на поворотах трамвайных колес – текли общим сторонним гулом, отзываясь лишь в барабанных перепонках. У нее не было ни

слов, ни понятия о словах, она не ведала ни времени, ни места, ни своего тела, ни даже собственного существования.

И все же постепенно восприятие пробуждалось, обострялось. Поток картин просачивался глубже зрительных отражений, собирался в некие образы. Она начала замечать и безымянно отмечать формы вещей. Какая-то продолговатость, подпертая четырьмя более узкими и длинными продолговатостями, двигалась и тянула за собой какую-то квадратность, которая покачивалась на двух кругах. Дороти смотрела и смотрела, как все это передвигается мимо нее, и вдруг в бездействующем сознании мелькнуло слово. Слово «лошадь». Оно мигом пропало, но вскоре вернулось в усложненном виде это лошадь. Затем возникли новые слова: «дом», «улица», «трамвай», «велосипед»... За несколько минут образовались имена чуть не всего, что находилось в поле зрения. Нашлись также слова «мужчина», «женщина», и, пробуя проникнуть в их значение, Дороти обнаружила, что почему-то знает разницу между вещью и существом, людьми и лошадьми, женщинами и мужчинами.

Только сейчас, определив большую часть окружающего, Дороти ощутила и себя. Была до того просто парой глаз и чутким, хотя абсолютно безличным мозгом, но внезапно, с недоумением и легким шоком, открыла свою отдельность, единичность: почувствовала свою особенную жизнь, будто что-то внутри воскликнуло «я это я!». И она уже неизвестно откуда знала, что новорожденное «я» живет давно, существовало прежде, хотя никакой памяти о прошлом не сохранилось.

Однако первое открытие себя заняло ненадолго. Быстро пришло чувство неполноты, неясности, беспокойного недовольства: показавшееся ответом «я есть я» обернулось вопросом «но кто я?».

Кто? Поворочав неподатливый вопрос в сознании, Дороти вывела из наблюдений за людьми и экипажами лишь одно – она человек, не лошадь. Вопрос переменился, встал иначе: «я» это мужчина или женщина?». Опять ни чувство, ни воспоминание не дали ключа к разгадке. Но тут, случайно коснувшись себя кончиками пальцев, Дороти поняла наличие тела и то, что это тело ее, что оно, собственно, ею самою и является. Она принялась изучающе себя ощупывать; спереди наверху руки наткнулись на две мягкие выпуклости – «груды». Стало быть, она женщина. Груды только у женщин. Неведомым образом было известно, что у всех проходящих перед глазами женщин есть эти груды, скрытые одеждой.

Теперь в ней появилось стремление опознать лично себя. Понадобилось осмотреть все свое тело, начав с лица, которое она и в самом деле пробовала разглядывать, пока не убедилась в бесплодности попыток. Тогда она взглянула вниз: довольно длинное, замызанное черное шелковое платье, телесного цвета чулки, тонкие, но испачканные, драные, и вконец сношенные атласные черные туфли на высоких каблуках – ничего сколько-нибудь знакомого. Дороти посмотрела на руки, странные и одновременно не вызвавшие удивления. Руки небольшие, с крепкими твердыми ладонями, очень грязные. В конце концов, Дороти догадалась, что странными руки сделала грязь, а сами они казались такими, какими им и следовало быть, хотя рук она тоже не узнала.

Слегка помешкав и колебавшись, Дороти повернула влево, медленно побрела вдоль тротуара. Осколок знания таинственно прорезался из мглы неведомого прошлого – есть зеркала с особенным их свойством, они бывают в витринах магазинов. Через минуту Дороти приблизилась к окну невзрачной ювелирной лавочки, где гладь наклонного зеркального стекла мелькала отражениями прохожих, и она тотчас отличила свое лицо от дюжины других, сразу его узнала. Правда, опять-таки «узнала» не то слово: воспоминаний о своей внешности не было. Зеркало показало ей лицо – женское и довольно молодое, худое, с паутинками у глаз, весьма бледное, несколько чумазое; волос почти не видно, так как на голову нахлобучен черный фетровый котелок. Лицо нисколько не знакомое, однако вовсе не неожиданное. То есть до этого момента она не знала, каким оно появится, но, увидав, поняла, что именно вот такого и можно было ждать. Оно ей подходило. Как-то внутренне соответствовало.

Отвернувшись от зеркала, в витрине магазина напротив Дороти разглядела слова «Шоколад «Фрай» и обнаружила, что ей известно назначение письменности, а также, после моментального усилия, и то, что ей дано умение читать. Взгляд побежал по фасадам, фиксируя и расшифровывая клочки текстов: названия торговых заведений, рекламы,

газетные афиши. Она с трудом, по буквам разобрала красные заголовки двух плакатов у входа в табачный магазин. Один гласил: «Свежие Новости о Дочери Ректора», другой: «Дочь Ректора. По слухам в Париже». Дороти подняла глаза и прочитала на углу дома белую надпись «Нью-Кент-роуд». Внимание напряглось. Она сумела осознать, что находилась на улице с таким названием и (тут подоспел еще один обрывок загадочно сокрытых знаний) что «Нью-Кент-роуд» улица Лондона. Итак, она в Лондоне.

Холодком пробежавшей дрожи отозвался в ней этот вывод. Сознание наконец вполне проснулось, и с четкостью, которой прежде не было, Дороти ощутила неловкую, пугающую странность своего положения. Что же все это значит? Почему она здесь? Как сюда попала? Что с ней произошло?

Ответ явился почти сразу. Она сказала себе – и как будто целиком поняла смысл сказанного: «Конечно! Я потеряла память!».

Девушка и двое парней, тащивших на спине большие рогожные узлы, притормозили, поглядели с любопытством, затем, мгновение помедлив, пошли дальше, но ярдов через пять, у фонаря, снова остановились. Дороти видела, как они, переговариваясь, оглядываются на нее. Один из юношей, щуплый, темноволосый и румяный красавчик лет двадцати, одетый в ветхие остатки модного голубого костюма и клетчатую кепку, имел вид самого типичного, во все сующего свой нос лондонца кокни. Другой был лет на пять постарше и шире раза в полтора – мощный, приземистый, проворный, на свежем розовом лице курносый нос и между губ, толстенных как сосиски, подкова крепких желтых зубов. Этот выглядел настоящим оборванцем и вместо шапки носил на голове растущий чуть не от бровей, густой короткий ворс огненно-рыжих волос, дававший ему поразительное сходство с орангутангом. Девушка представляла собой глуповатое пухленькое создание в наряде почти таком же, как у Дороти. Довольно отчетливо слышался их разговор.

– Девка-то, видать, расхворалась, – сказала пухленькая.

Рыжий, бархатным баритоном звучно тянувший «Санни-бой», оборвал песенку:

– Да не хворь это. На мели она, точняк. Ну прям как мы.

– А че, сгодились бы для Нобби такая птичка? – ухмыльнулся темноволосый.

– Ох, ты-то! – укоризненно взвизгнула пухленькая, влюбленно махнув его по затылку.

Парни, скинув поклажу, привалили узлы под фонарем. Потом все трое медленно, не особенно решительно начали приближаться. Рыжий, которого, как выяснилось, звали Нобби^[18], выступал впереди полномочным представителем. Он шел пружинисто, пообезьянянн переваливаясь, и так широко, добродушно скалился, что невозможно было не улыбнуться ему в ответ. К Дороти Нобби обратился очень дружески:

– Привет, детка!

– Привет.

– Что, детка, на мели?

– На мели?

– Табак, говорю, дела?

– Табак?

– Ой! Да она чокнулась! – пробормотала пухленькая, дергая за рукав, со страхом удерживая свое субтильное темноволосое сокровище.

– Я, детка, говорю: деньга-то хоть какая имеется?

– Не знаю.

Молодые люди переглянулись, дружно решив, что девица впрямь спятила. Но тут Дороти, обнаружившая минуту назад боковой карман платья, сунула туда руку и нащупала края большой толстой монеты.

– Один пенни, по-моему, имеется.

– Пенни! – презрительно хмыкнул красавчик. – Крутой навар!

Дороти вынула монету. Вид полукроны мигом прояснил три пасмурных лица. Нобби, разинув пасть от наслаждения, выразил чувства серией обезьяньих прыжков, после чего взял руку Дороти с нежнейшей доверительностью.

– Вот это люля-кебаб! – пропел он восхищенно. – Нам приплескало! Тебе тоже, детка, поверь. Благословишь день нашей первой встречи, станешь у нас богачкой, да и мы с тобой. Ну как, идешь в долю?

– Что? – не поняла Дороти.

– То есть, я говорю, готова ты сплотиться со мной, Чарли и Фло? Партнеры, понимаешь? Товарищи, плечом к плечу, в единстве – сила! Наши мозги – твоя монета. Ну, пойдет? Так входишь, детка, или выбываешь?

– Заглохни, Нобби! – вмешалась пухленькая девушка. – Она же, видишь, не сечет. Ты, что ль, не можешь выразаться по-нормальному?

– Все в норме, Фло, – заверил Нобби, – это ты заглохни, а балаболить предоставь мне. Нобби знает подходы к девочкам, Нобби парнишка с опытом. Ну, детка, слушай... Зовут-то тебя, меж прочим, как?

Собравшись вновь сказать «не знаю», Дороти чутко, вовремя остановилась. Из полудюжины мгновенно замелькавших в уме имен она выбрала и произнесла:

– Эллен.

– Эллен! Люля-кебаб! Без никаких фамилий, коль кинуло на мель. Так вот послушай, Эллен, милушка, мы тут втроем решили на хмель податься, чтобы, значит...

– На хмель?

– Хмелюгу драть! – сердито вставил темноволосый, потеряв терпение от бесконечной тупости Дороти. Вообще держался красавчик мрачно и заносчиво, а его уличный лондонский говор звучал грубее, жестче, чем у Нобби. – Хмеля щас в Кенте собирают! Че, ясно те иль те не ясно?

– О, хмель! Для пива?

– Во, люля-кебаб! Она понятливая. Давай, детка, врубайся дальше: мы, значит, шлепаем на хмель, уже нам место там обещано и все как надо – ферма Блессингтона, Нижний Молсворт. Но вышел маленький люля-кебабчик, понимаешь? Грошей у ребятишек нету, так что ногами тридцать пять миль трюхать да еще настрелять дорогой на котелок и чтобы шкиперить^[19]. А это уж тухлый люля-кебаб, притом когда дамы в компании. Но если ты вот, для примеру, с нами, а? До Бромли можно на двухпенсовом трамвае – считай, пятнадцать миль долой и кип всем на одну бы только ночку. Пойдешь при нашем хмелевом мешке (вчетвером мешок сыпать лучше нечего), Блессингтон кладет два пенса за бушель – ты без напряга зашибаешь на неделю свои десять бобов. Что скажешь, детка? Тут, в Коптильне, твои два боба с рыжаком ништяк, но поступаешь в нашу фирму – тебе койка на месяц и приварок, а нам рельсы до Бромли и хоть какой харч.

Из всей речи Дороти уразумела не больше четверти. Но только наугад спросила:

– Харч это что?

– Харч? Ну, жратвельник, котелок – кормежка. Ты, детка, я гляжу, ток что на мель подседа?

– О, я... Ты хочешь, чтобы я пошла собирать с вами хмель? Да?

– Точно, Эллен, дорогуша! Так ты при нас, без нас?

– Хорошо, – торопливо согласилась Дороти, – я пойду.

Решение было принято с легкостью совершенно бездумной. Имей Дороти время обмыслить ситуацию, она, конечно, поступила бы иначе, обратилась бы, вероятно, за помощью в полицию – взяла бы, так сказать, разумный курс. Но троица друзей во главе с Нобби явилась в самый критический момент, и ей, такой сейчас беспомощной, казалось вполне естественным довериться первому встречному. Тем более что предложение идти в Кент как-то необъяснимо успокаивало. Кент почему-то чудился местом приятным и желанным.

Дальнейшего любопытства новые сотоварищи не проявили, вопросов больше не задавали. Нобби лишь одобрительно кивнул: «Порядок, люля-кебаб!» и деликатно переместил полкроны с ладони Дороти в свой собственный карман – «чтоб случаем не затерялось», пояснил он. Темноволосый юноша (судя по разговору, Чарли) ворчливо буркнул:

– Ну, двинули? Полтретьего. Кабы не зевануть еще этот ... трамвай. Где сядят-то в его, а, Нобби?

– На Элефанте, – ответил Нобби. – И ноги в руки, после четырех они задаром не катают.

– Так че ж трепаться! Клевую работку мы поймеем, когда до Бромли пешкодралом, а после в темнотище кип шустрить. Пшли давай, Фло!

– Равнение на знамя, шагом марш! – скомандовал Нобби, закидывая узел на плечо.

Пошли быстро, без лишних слов. Дороти, все еще растерянная, но в несравненно лучшем самочувствии, нежели полчаса назад, шла рядом с Фло и Чарли, которые ее не замечали, общаясь исключительно между собой. Они с первых минут сторонились Дороти, вполне готовые делить ее полкроны, но вовсе не желавшие дружить. Нобби маршировал впереди, будто не замечая тяжелой ноши, торопливо прибавляя шаг, с энтузиазмом имитируя полковой оркестр и распевая солдатскую песню, печатными словами которой были, кажется, только:

...! И это все, что знали музыканты.

...! ...! И для тебя того же!

2

События эти происходили двадцать девятого августа, а тяжкий сон свалил Дороти ночью в оранжерее двадцать первого. То есть период междущарствия длился около восьми дней.

Вообще, такие случаи не редки, газеты чуть не каждую неделю сообщают нечто подобное. Человек исчезает из дома, сутками или более где-то плутает, затем оказывается либо в полиции, либо в больнице без малейшего представления о том, кто же он и откуда. Обычно остается неизвестным, как проходили дни скитальца, бродившего в каком-то трансе, но сохранявшего, по-видимому, достаточно нормальный вид. Насчет Дороти лишь одно было бесспорно – ее во время этих странствий обобрали. В одежде ни единой своей вещи, пропал и золотой нательный крестик.

Когда Нобби завел с ней разговор, Дороти уже явно поправлялась; бережное попечение могло вернуть ей память за считанные дни, может даже часы. Мелочи бы хватило в тот момент (случайная встреча с лицом знакомым, фотография дома, несколько точно составленных вопросов), но вышло так, что столь необходимого стимула ее разум не получил. Она затормозилась в состоянии умственного хаоса: мозг полностью готов к работе, но безволен, бессилён разрешить загадку управляющей им личности.

И разумеется, как только Дороти пошла за Нобби с его друзьями, шанс на успех самостоятельных раздумий был потерян. Попросту времени не стало спокойно решать головоломки. На диковатом, страшноватом дне, куда ее вмиг сбросило, для интеллектуальных упражнений не находилось и пяти минут. Дни пробегали в непрерывной кошмарной деятельности. Именно сплошной кошмар. Не тот, который из внезапных грозных ужасов, а тот, который из постоянного недоедания, убожества, усталости и бесконечной пытки зноем или холодом. Когда ей позже вспоминалось то время, все дни и ночи так сливались, что Дороти никогда не смогла выяснить, сколько же все-таки это продолжалось. Знала лишь, что какой-то период ходила с вечно стертymi ногами и вечной мыслью о еде. Голод и боль при каждом шаге – самое яркое. И еще холод по ночам, а также тупость и рассеянность из-за хронической нехватки сна, из-за жизни на улице, без крыши над головой.

Прибыв в Бромли, компания вначале уселась «побарабанить» (попить чаю) на гнусной свалке, закиданной всякой бумажной рванью и провонявшей отбросами скотобоен. Потом ночь провели в высокой сырой траве у края спортплощадки, стуча зубами, не имея иных постельных принадлежностей кроме мешков. Утром отправились на хмельники. Уже тогда Дороти обнаружила, что насчет ожидавшей их работы Нобби просто-напросто обманул. Все наврал (сам, хохоча, в этом признался), только бы заманить ее в поход. Чтобы найти работу предстояло идти к плантациям и там на каждой ферме выспрашивать, нужны ли еще где-нибудь сборщики хмеля.

Умей они, как птицы, следовать к пункту назначения по прямой, пройти бы оставалось миль тридцать пять, но через трое суток им едва удалось приблизиться к границам хмельников. Необходимость в пропитании вела извилистым маршрутом. Не будь этой заботы о кормежке, дистанцию бы одолели за пару дней, за день бодрой ходьбы. А так, порой некогда было соображать, к хмельникам они движутся или как раз наоборот. Все диктовалось

хлебом насущным. Полкроны Дороти растаяли в течение первых же часов, пришлось активно попрошайничать. Опять загвоздка: одинокому бродяге насобирать в дороге милостыню довольно просто, вдвоем тоже возможно, но когда кланчат сразу четверо! Тут выживешь, если начнешь охотиться за пищей не менее упорно и свирепо, чем дикий зверь. Еда – три дня только о ней, ради нее. Только еда и нескончаемые трудности ее добычи.

Бродили сутками. Зигзагом прочесали просторы всего графства. Шатались от деревни до деревни, от дома к дому; «скулили» возле каждой мясной и булочной, кланчили возле каждого приличного на вид коттеджа, хищно кружили вокруг сельских пикников, махали (и всегда напрасно!) катящим мимо автомобилям, плели для старых сентиментальных джентльменов трагические саги о вдруг свлившись несчастьях. Частенько делали крюк в добрый пяток миль, чтобы разжиться хлебной коркой или горсткой обрезков бекона. Без конца попрошайничали. Дороти наравне со всеми, не помня ни норм, ни правил, призванных устыдить. Но даже общими усилиями они не справились бы с пустотой в желудках, если б помимо нищенства не воровали. В сумерках либо спозаранку лазили по садам, крали яблоки, груши, орехи, терновые сливы, осеннюю малину, но чаще, прежде всего – картошку.

Нобби считал за грех пройти вдоль поля, хотя бы не набив карманы. Главная часть грабительского дела лежала именно на нем, остальные караулили. Нобби был настоящим наглым вором; похвалялся, что стащит любую не прикованную вещь и, не удерживай его порой товарищи, довел бы всех, конечно, до тюрьмы. Однажды он уже схватил гуся, но гусь страшно загоготал, и Чарли с Дороти еле успели оттащить жожака, пока хозяин выходил на крыльцо узнать в чем дело.

За день они покрывали миль двадцать-двадцать пять. Брели по выгонам, через заброшенные деревни с неслыханными названиями, плутали по тропинкам, ведущим никуда, без сил отлеживались в сухих канавах, сладко пахнувших фенхелем и пижмой, забирались вглубь частных лесных угодий и от души там «барабанили», благо вода и хворост под рукой, стряпали что придется в двухфунтовых жестянках из-под табака, этих своих кастрюлях на все случаи. Когда везло, ели отличное рагу из выклянченного бекона и краденой цветной капусты, а иногда шло постное обжорство – поглощались горы печеного в золе картофеля, а то варили в табачной жестянке джем из ворованной малины, пожирая его чуть не кипящим. Единственным неиссякаемым продуктом был чай. Даже когда еды не оставалось ни крошки, ни полкрошки, он был всегда – перекипевший, мутный, черный и живительный. Ничего не давали так легко. «Звините, мэ, не найдется ль щепоточки чайку?» – просьба, редко встречающая отказ даже у черствых кентских домохозяек.

Днем адски пекло, сверкали и слепили белые раскаленные дороги, из-под колес в лицо летела обжигающая пыль. Шумя чужой веселой жизнью, проносились грузовики с семьями сезонников, забивших кузова матрасами, детьми, собаками, птичьими клетками. А ночью резко холодало. Англия не то место, где понежишься в тепле после полуночи. У всей четверки для ночлега имелось только два больших мешка. Одним владели Фло и Чарли, другой достался Дороти, Нобби устраивался прямо на земле. Муки неудобства не уступали мукам холода: лечь на спину – голова без подушки запрокинется, выламывая шею, на бок – отчаянно заноеет упертый в жесткий грунт сустав бедра; если ж под утро и сморит дремота – озноб пролезет в самый глубокий сон. Не мучился ночами только Нобби. В гнезде мокрой травы ему спалось, как в детской колыбели; грубое обезьянистое лицо, обросшее редкой щетиной, будто щеткой из медных проволочных обрезков, все так же благодушно розовело. Нобби принадлежал к породе рыжих, которые не только светятся огнем, но, кажется, и воздух вокруг греют.

Бродяжничество, неприютность Дороти приняла как должное, очень тускло сознавая, вернее смутно ощущая, что в неизвестном прошлом было, возможно, не совсем так. Через пару дней чувство легкой несообразности исчезло. Она сжилась со всем: с грязью, усталостью и голодом, с бесконечным мотанием взад-вперед, с плавящей дневной жарой и знобящей ночной бессонницей. Во всяком случае, сил не осталось, чтобы о чем-то волноваться. Под вечер второго дня подавленная изнуренная команда падала с ног, один Нобби держался молодцом. Даже гвоздь в башмаке, буравивший пятку с момента выступления в поход, его как-то не беспокоил. Дороти засыпала на ходу, иногда по часу шагала в сонном забытии. Ее тоже пригнула ноша. Поскольку парни уже до предела навьючились, а Фло неколебимо отвергала всякий груз, Дороти вызвалась нести мешок с

ворованной картошкой, которой обычно впрок припасали фунтов десять. По примеру парней Дороти перекинула поклажу за спину, и веревка тут же начала распиливать плечо, а колотивший в поясницу мешок вскоре набил кровавую отметину. Ее матерчатые туфли вышли из строя буквально сразу. Уже на следующий день отвалился правый каблук, заставив ковылять; Нобби, крупный специалист в таких делах, посоветовал оторвать и левый. Дороти поменяла хромоту на плоскостопие, теперь казалось, будто ступни привинчены к земле железной штангой, если же приходилось идти в гору, икры сводило судорогой.

Но еще худшим было состояние Фло и Чарли. Их совершенно ошеломила и сразила не столько тяжесть, сколько дальность дневных дистанций. По двадцать миль пешком – они о таком и не слыхивали. Коренным кокни, им выпало несколько месяцев побродяжить в Лондоне, но дороги топтать еще не доводилось. Чарли совсем недавно потерял хорошую работу, Фло тоже до момента родительского проклятья за непутевость и изгнания жила в приличном доме. Столкнувшись с Нобби на Трафальгарской площади^[20], они порешили вместе идти на хмель, воображая забавную прогулку. И разумеется, эти бродяги-новички гнушались своих попутчиков. В Нобби, ценя его обширные практические знания и воровскую лихость, видели некую полезную службу при господах, не более. Дороти же, истратив ее монету, вообще перестали замечать.

Кураж у этой пары за сутки исчез бесследно. Они тащились сзади, непрерывно ныли, требовали себе куски побольше и получше. К третьему дню стали просто обузой. Изнывали в тоске по Лондону, знать не желали эту работу, эти хмельники; все, чего им хотелось, – повалиться в любом удобном месте и жадно лопать добытые объедки. В конце привала их нельзя было поднять без долгих нудных препирательств.

– Подъем, ребята! – объявлял Нобби. – Сгребай вещички, Чарли, пошли!

– Ага, ... пошли! – не шевельнувшись, огрызнулся Чарли.

– Ну, тут-то мы же шкиперить не можем, так ведь? Уговорились же дотопать к вечеру до Сэвенкса, так?

– Ага, до ...! Сэвенкс иль какая другая сучья дыра, по мне без разницы.

– Кончай Чарли! Надо же завтра местечко-то словить? Стал быть, по фермам для начала покрутиться.

– Ага, фермы твои ...! Послать бы их с этим твоим ... хмелем! Не приучен я вроде тебя шлындрасть да шкиперить. По горло мне, понял – по самое ... горло!

– Уж прям этот поганый хмель, – подвизгивала верная Фло, – меня уж тоже прямо рвет с его.

Нобби конфиденциально высказал Дороти мнение, что Чарли с Фло наверняка «отвалят», если найдут, кто их подбросит обратно в Лондон. А самого Нобби ничто не угнетало и не лишало бодрости; ничто, включая гвоздь, превративший драное подобие носка в скользкий, черный от крови ошметок. В пятке со временем выдолбилось столь устрашающее дупло, что через милю приходилось останавливаться и наводить порядок.

– Звини, детка, – пояснял Нобби, – пора подбить проклятое копыто. Ну и гвоздок, люля-кебаб!

Он искал рядом круглый камешек, садился у обочины на корточки и аккуратно забивал железный шип.

– Хорош! – оптимистично заключал он, щупая стельку внутри башмака. – Этот ... – в могиле!

Могиле, однако, очень подошла бы католическая эпитафия Resurgam^[21]. Гвоздь через четверть часа снова вылезал.

Нобби, естественно, пытался приставать к Дороти, но отказ принял без обид. Имел счастливый дар не принимать личные неудачи слишком всерьез. Всегда веселый, обходительный, всегда рокошующий сочным баритоном одну из трех любимых песен: «Санни-бой» или «Эх, погуляем мы в приюте!» (на мотив псалма «О, церкви верная опора!») или же «...! И это все, что знали музыканты», непременно дополняя вокальную партию звуками духового оркестра. В свои двадцать шесть лет Нобби являлся вдовцом, поочередно испытывавшем себя на поприщах бойкого продавца газет, воришки, воспитанника исправительного заведения для юных правонарушителей, солдата, взломщика, бродяги.

Впрочем, составить это жизнеописание мог кто угодно кроме Нобби, органически не способного связать факты в стройный биографический отчет. Только фрагменты живописных воспоминаний: полгода в линейном полку с досрочной демобилизацией вследствие поврежденного глаза; мерзкий привкус баланды в тюрьме Холлуэй; детство в сточных канавах Дептфорда; смерть умершей при родах восемнадцатилетней жены, когда ему сравнялось двадцать; необычайная гибкость прутьев в колонии для малолетних; глухой взрыв нитроглицерина, высадивший дверцу сейфа на обувной фабрике Вудворда, где Нобби взял сто двадцать пять фунтов, до фартинга их промотав менее чем за месяц.

На третий день близость хмельников проявилась в тащившихся навстречу людям, по преимуществу бродягах, сообщавших, что ничего не светит: хмель не уродился, платят гроши, все места заграбастаны «своими» да цыганами. Чарли и Фло раскисли окончательно, лишь правильно отмеренной микстурой из уговоров и угроз Нобби их проволока еще несколько миль. В маленькой деревушке Уэль состоялось знакомство с миссис Макэллигот, старой ирландкой, накануне пристроившейся на соседней ферме. Махнулись толикой краденых яблок на кусок мяса, который она «выскулила» часом раньше. Старуха могла много чего подсказать насчет работы и где за ней охотиться. Всей компанией растянулись на лужайке перед пестревшей с фасада газетными афишами сельской лавчонкой.

– Дак вы иттите-ка вперед к Чалмерсу, – советовала миссис Макэллигот, коверкая слова на манер дублинского простонародья. – Ето за пять милей отсюда. Он вроде как хотит еще сезонных брать. Приймет вас верно, как не приймет, иттить бы токо спозаранку.

– Пять мил! Ни хрена! Ближе нету? – заворчал Чарли.

– Ну, Норман исть. У мне тоже вот от его работа, в утро зачну. А вам бы не иттить к ему. Он из сезонных ток домашних набирает и вроде как замысливает полхмелей своих вовсе на цвет пустить.

– Каких еще «домашних»? – удивился Нобби.

– А таки вот, которы тута при своем хозяйстве или с тутошной крышей. В ином разе хозяину обязано тебе хибару на прожитье давать. Ето вот нынче уж така законность стала. В стары-то годы приходи да дрыхай где хотишь, хоть на конюшне, и никаки допросы про то не строили. Ето все либористы-дьяволы, поганцы клятые, подвели таку драную законность, чтобы сезонных нельзя брать, коли хозяин им удобства не делат. Так Норман и примает токо которых что при доме.

– Ты, что ль, такая, что при доме?

– Да не при черте! А вот Норманн думат, что така! Назаливала ему, как бы недалече угол сымаю, а сама в коровник шкиперить. Не худо, хоть малость воняво, ток вот до свету вытряхайся, чтоб скотникам неприметно.

– Че тут воще работать-то положено? – спросил Нобби. – Я в одиночку бы и не узнал хмель этот драный. Но надо ж для пользы дела опытный вид показывать, а?

– К лешему! Не надо никака опытность. Порви да покидай в ведро, вота и все с ими, с хмелями.

Дороти почти спала. Сквозь дрему до нее долетали обрывки разговора, который шел сначала об уборке хмеля, затем вокруг какой-то сенсационной газетной истории о пропавшей девушке. Фло и Чарли, прочтя афиши, висевшие напротив, несколько оживились: пахнуло ароматом родных лондонских удовольствий. Девушка, вызвавшая столь заинтересованное внимание к своей судьбе, именовалась журналистами «Дочерью Ректора».

– Во, Фло, видала? – приговаривал Чарли, смачно зачитывая вслух: «Тайны Интимной Жизни Дочери Ректора. Потрясающие Откровения». Эка! Была б монета, пенни бы не пожалел на газетку!

– А? Ты про что, чего?

– Чего! Не знаешь? В новостях навалом было. «Дочь Ректора» то, «Дочь Ректора» се. Таковую похабель расписывали!

– Классная, видно, старушка, – глядя в небо, мечтательно промолвил Нобби. – Хоть бы сейчас к ней под бочок. Уж я бы знал как обойтись, уж это точно.

– Ето деваха, котора с дому сбегла, – вставила миссис Макэллигот, – котора баловалась с мужиком годов на двадцать ее старее, а нынче сгинувши и где уж токо вот ее не рыщут.

– Уперла ночью на автомобиле, без ничего, в одном белье! – восхищенно перебирал детали Чарли. – Вся улица видала, как они с хахалем отчаливали.

– Некторы рассказывают, что в Париже он ее свез, запродавал там в ихние кафе-шатоны, – добавила миссис Макэллигот.

– В одном белье дернула! Ну во, видать, зараза!

Разговор мог открыть массу других волнующих подробностей, но перебила Дороти. Обсуждавшаяся тема вызвала смутное любопытство. Особенно как-то задело слово «ректор».

Дороти, приподнявшись, спросила Нобби:

– Ректор это кто?

– Ректор? Старшой как бы над приходскими, боцман церковный. Парень, что проповеди чешет, псалмы навешивает и в том роде. Вчера ж видали одного: просквозил на своем зеленом велосипеде, воротник сзади-наперед. Пастор, значит, ну из попов. Ты точно знаешь.

– Да... Наверное, знаю.

– Попы! Каки поганцы драные, особо некторы из их, – задумчиво качая головой, отозвалась миссис Макэллигот.

Однако и теперь Дороти мало что поняла. Хотя благодаря Нобби чуть просветилась, но лишь чуть-чуть. Все связанное с «попами», «церковью» странно темнело и туманилось – один из нескольких, подобных же провалов в ее знаниях, уцелевших от бывшего.

Настала третья ночь пути. Они уже привычно скользнули шкиперить в заросли, но вскоре полил сильный дождь. Час мучились, тыкались, спотыкались в темноте, ища укрытия, пока не натолкнулись на защищающий от ветра стог, под которым, тесно сбившись, ждали рассвета. Фло, проревев всю ночь самым невыносимым образом, к утру была полужива. Отмытое потоками дождя и слез, пухлое глуповатое лицо стало похоже на оплывший ком свиного жира, если можно вообразить ком жира в припадке жалобных рыданий. Нобби порядком повозился под живой изгородью, набрал более-менее сухих веток, развел огонь, сварил утренний чай. Природа не изобрела еще стихии, способной помешать Нобби накипятить его жестянку чая. У него среди прочего всегда имелись обрезки шины, дававшие вспышку и на мокрых дровах, он даже обладал редчайшим, известным лишь немногим мастерам искусством вскипятить воду над свечкой.

После ужасной ночи руки, ноги у всех окостенели, Фло заявила, что не может шагу ступить, Чарли выразил полную солидарность. И раз уж компаньоны наотрез отказались двинуться, то, сговорившись насчет места встречи, Нобби с Дороти вдвоем отправились попытать счастья на ферме Чалмерса. Через пять миль по бесконечным фруктовым садам добрались наконец до хмельника, где им сказали, что бригадир «скоро будет». Поэтому они часа четыре просидели возле плантации, подставив солнцу вымокшие спины и наблюдая работу сборщиков. Картина удивительно мирная, идиллическая. Хмель, наподобие гигантских плетей фасоли, вился высокими рядами, образуя стенки густой сочной листвы с гроздьями дымчато-зеленых пушистых шишек. От колыхавшихся под ветерком крупных легких кистей веяло горьковатой серой и свежим холодным пивом. В проходах группы загорелых сборщиков рвали гроздья, бросали их в ведра из мешковины и непрерывно пели. С ревом гудка пошли перекусить, согреть над ворохами затрепавших в огне плетей свои чайные котелки. Дороти жгуче завидовала этим людям. Таким счастливым с их костерками, с их ломтями хлеба и бекона, с овевавшим их ароматом дыма и хмеля! Она жаждала получить эту работу. Но сорвалось. К часу дня появился бригадир, выяснилось, что здесь все занято, и они снова пустились в путь, вознаградив себя на ферме Чалмерса только покражей дюжины яблок.

На месте условленного randevu Чарли и Фло не оказалось. Конечно, Нобби с Дороти их искали, хотя оба сразу же поняли бесполезность розысков. Ясное дело – Фло перемигнулась с шофером какого-то грузовика, и парень из расчета сорвать дорогой поцелуй лихой девчонки взялся подвезти парочку до Лондона. Главная пакость, что беглецы скрылись с обоими узлами. У Дороти и Нобби не осталось ни корки хлеба, ни чаинки, ни подстилок, ни даже табачной жестянки состряпать варево из выпрошенной, наворованной провизии – ничего кроме висевших на них лохмотьев.

Тяжко пришлось следующие двое суток. Тяжко. Как им, голодным и замученным, хотелось найти работу! Но с продвижением вглубь хмельников шансы, казалось, уменьшались. Бессчетные марши от фермы к ферме, и всюду один ответ – сборщики не

нужны. А ведь на эти переходы уходило все время, некогда было даже побираться, так что питались исключительно сорванными с деревьев яблоками и сливами, терзавшими изжогой и несколько не укрощавшими голодных резей в животе. Ночью дождь не пошел, зато значительно похолодало. Дороти даже не пробовала спать, до утра просидела у костра, следя, чтоб не потух. Прятались они в роще, под вековым, низко спустившем ветви букom, который хорошо укрывал от ветра, однако периодически орошал каскадом ледяных капель. Нобби раскинулся навзничь: рот приоткрыт, одна щека в слабо мерцающих отблесках огня, сопение невинного младенца. Всю ночь неясные тревожащие мысли, вызванные физической мукой и бессонницей, настойчиво роились в сознании Дороти. Действительно ли такова ее судьба – по целым дням бродить с пустым желудком, ночами дрожать под мокрым деревом? Так ли жилось ей в наглухо сокрытом прошлом? Откуда же она явилась? Кем была? Никакого ответа. А на заре снова в дороге. К вечеру обошли одиннадцать хозяйств, ноги у Дороти подкашивались, голова так кружилась, что стоило больших трудов держать на ходу равновесие.

Вдруг, уже в сумерках, фортуна улыбнулась. В очередной раз попросились на ферме Кейрнса у деревни Клинтон, и тут же, без единого вопроса, их взяли. Старшина только смерил взглядом, кивнул: «Ладно, годится. Выход с утра – бригада девятнадцать, ряд седьмой», и даже не спросил, как их зовут. Уборка хмеля, видимо, не нуждалась ни в опыте работников, ни в чьих-то персональных отличиях.

Лагерь сборщиков находился неподалеку, на лугу. В туманном ощущении чего-то среднего между радостью от удачи и равнодушия от усталости, Дороти пробиралась лабиринтами крытых жестью хижин и цыганских кибиток с развешенными в проемах пестрыми тряпками. На узких травяных тропинках возились кучи детей; довольно симпатичные люди, одетые во всякое рванье, готовили ужин над множеством разведенных огоньков. У края поля стояло несколько особенно убогих, целиком склепанных из жести круглых лачуг для сезонников бессемейных. Жаривший на костре свой сыр старик указал Дороти женскую лачугу.

Толкнув дверь, Дороти вошла. Помещение диаметром метра три с половиной, оконная рама без стекол, мебель отсутствует. Внутри ничего кроме огромной, чуть не под крышу соломенной копны; практически хибара целиком была набита соломой, что обещало слипавшимся от сна глазам просто райский комфорт. Дороти проворно полезла внутрь, но снизу раздалось истошное:

– Пшла! Куда прешься? Слазь, балда! Тебя ток на башке у меня не хватало!

Копна, по-видимому, была населена. Дороти стала продвигаться осторожнее, за что-то зацепилась, куда-то провалилась уже почти во сне. Вдруг рядом, как русалка из соломенной волны, вынырнула полураздетая бабенка.

– Здоров, подруга! – приветствовала она. – Че, сестренка, вовсе дух вон?

– Да, я устала... Очень устала.

– Ну так и колотун, к дьяволу, задерет в этой соломе, коль не покроешься. Покрышки-то нету небось?

– Нет.

– Обожди, дерюгу тебе вытяну.

Она исчезла и снова всплыла с большим мешком для хмеля. Дороти уже спала; еле очнувшись, она кое-как влезла в мешок такой длины, что получалось закрыться с головой, и устроилась, утонула в глубокой рыхлой норе, где было еще теплей и суше, чем мечталось. Труха щекотно забивалась в ноздри и волосы, солома кололась и сквозь мешок, но никакое ложе – ни лебяжий пух Клеопатры, ни плавучий диван Гаруна-аль-Рашида – не одарило бы более сладкой негой.

3

Удивительно, как легко и быстро привыкаешь к неведомому до того труду на хмельниках. Через неделю числишься специалистом, и кажется, будто занимался сбором хмеля всю жизнь.

Сама работа необыкновенно проста. Физически, конечно, изнурительно – по десять-двенадцать часов на ногах, к вечеру буквально падаешь, зато осваивать, уметь здесь нечего.

Треть сборщиков составляли подобные Нобби и Дороти новички. Многие прибыли из Лондона, не представляя, как этот хмель растет и что с ним делают. Один сезонник спросил первым делом «где лопаты?», полагая, что урожай выкапывают.

Распорядок будней единый, неизменный. Полшестого слышишь стук в стену хижины, выползаешь из спальной норы и начинаешь копошиться, искать свою обувь под аккомпанемент сонных проклятий еще зарытых тут и там в соломе товаров (которых шесть-семь или даже восемь); любая снятая по глупости одежда вмиг обязательно теряется. Затем хватаешь пучок соломы, охапку высохших плетей, прихватываешь с кучи, наваленной за дверью, вязанку хвороста и разжигаешь костер. Дороти, легче поднимавшаяся утром, всегда сама готовила их завтрак, а уж потом стуком звала, будила Нобби. Рассветы в том сентябре выдались холодные, черное небо на востоке наливалось синим кобальтом, трава белесо серебрилась от росы. Утреннее меню без перемен: чай, бекон, хлеб, поджаренный на сале того же бекона. Пока ешь, готовишь аналогичный набор съестного для обеда и, взяв его, отправляешься на плантации. Шагаешь мили полторы ветреной голубеющей зарей, нос мерзнет, подтекает, так что нет-нет и остановишься, утрешь его мешковиной передника.

Плантации нарезаны приблизительно по акру; отдельные участки последовательно обрабатывают группами человек в сорок под руководством бригадира, часто назначаемого из цыган. Хмель вьется почти на четыре метра вверх по веревкам, подвязанным к горизонтальным рядам проволоки. Между рядами метра полтора, в каждом проходе свое «ведро» – глубокий холщовый мешок, распяленный у горловины тяжелой деревянной рамой, которая тоже висит на проволоке, свободно по ней передвигаясь. Приходишь, сразу цепляешь мешок на место и разрезаешь две ближайšie веревки, подхватывая огромные и густые, как косы сказочной Рапунцель, островерхие, заливающие росой плети. Держишь их над ведром и начинаешь с нижнего, широкого конца обрывать самые крупные кисти. Работа сначала идет медленно, неуклюже. В околоченных руках нет гибкости, намокший хмель выскальзывает. Самое сложное – рвать чисто, без ненужной зелени, так как обмерщик всегда нацелен забраковать твой сбор, найдя в нем слишком много листьев.

Усеянные мелкими колючками, стебли хмеля за два-три дня сплошь раздирают кожу на руках. С утра, когда пальцы не гнутся и только некоторые из подсохших ссадин кровоточат, это истинное мучение; попозже мышцы разминаются, кровь начинает сочиться из всех царапин и боль стихает. Если хмель уродился и сборщик не ленив, плеть обдирается минут за десять и дает до половины бушеля. Однако хмель хмелю рознь. То попадаются участки, где шишки с грецкий орех великолепными пышными гроздьями, – разок целиком крутанешь и готово, а то такая реденькая мелочь, что отрываешь по одной горошине. Иногда за час бушель не соберешь.

Работается вяло, пока возишься с ворохами мокрого хмеля. Но выплывает солнце: хмель высыхает, источая чудесный горький аромат, людская утренняя хмарь рассеивается, и дело закипает. От восьми до полудня рвешь, рвешь, рвешь все быстрее – азарт растет; в такт с набавляющим ход временем хочется поскорее ободрать плеть, двинуть свое ведро дальше по ряду. На новом участке перед стартом ведра в одну шеренгу, однако постепенно лучшие сборщики вырываются вперед и некоторые уже заканчивают ряд, когда другие еще на полпути. Если сильно отстанешь, лидеры в соответствии с правилами могут развернуться и добирать с твоей висячей стенки тебе навстречу, что называлось «хапать чужой хмель». Дороти и Нобби всегда оказывались среди отстающих, поскольку шли парой, а большинство ведер сыпали вчетвером. И потом, Нобби с его громадными корявыми ручищами был не особенно проворным сборщиком. Вообще женщины тут заметно превосходили мужчин.

Обыкновенно соревнование умельцев развертывалось между идущими с обеих сторон от ряда Дороти и Нобби «ведром шесть» и «ведром восемь». Одну команду представляло цыганское семейство – курчавый, сивогривый, сверкающий серьгами отец, его поджарая, с дубленой кожей жена и два их здоровенных сына. Другую возглавляла старая уличная торговка зеленью, жительница Ист-энда, носившая широкополую шляпу и длинный черный плащ, нюхавшая табак из лаковой табакерки с изображенным на крышке пароходом. Ей помогали наезжавшие поочередно на пару дней смены дочек и внушек. Рядом со сборщиками трудилась целая стая детей: шли за взрослыми, подбирали упавший хмель. И вечно внучка зеленщицы бледненькая малышка Роза вместе со смуглой как индеец цыганской девчонкой убегали рвать тайком осеннюю малину или качаться на хмелевых лианах. То и дело в

лившиеся хоровые песни врезался крик старухи лоточницы: «Эй, Роза, кошка ты ленивая! Хмелину, давай, подыми! Слышь, мигом по жопе всыплю!»

Добрую половину бригады составляли цыгане. Всего в лагерь их, по здешнему прозвищу «надувал», стянулось не менее двухсот. Народ неплохой, довольно дружелюбный, умевший пышно и красиво тебе польстить для своей пользы, однако ловкачи с непостижимой плутоватостью дикарей. На безразлично застывших восточных лицах выражение ленивых хищников: сонно-бездумный покой и недреманная агрессивная готовность. Общаясь, они прокручивали всего полдюжины стандартных реплик, зато без усталости, тысячекратно. Два парня из соседнего ряда каждый час задавали Нобби и Дороти любимую загадку:

- Чего не сможет самый умный англичанин?
- Не знаю. Что?
- Мухе жопу пощекотать телеграфным столбом!

И неизменный стонущий хохот шутников. Поражало невежество цыган, гордо сообщавших, что никто из них не прочтет ни единого слова. Курчавый глава семейства, смутно разглядев в Дороти «грамотею», деловито советовался с ней, доедет ли он на своем фургоне до Нью-Йорка.

В полдень гудок с фермы сигнализировал часовой перерыв, а незадолго перед тем приходил обмерщик. Под упреждающий условный возглас бригадира «двадцатая, берись!» все торопливо кидались подбирать упавший хмель, обрывать там и сям пропущенные остатки, выгребать листья из ведра. При этом требовался известный артистизм. Не стоило собирать слишком «чисто», ведь листья тоже набавляли объем. Цыгане, крупные спецы по этой части, были настоящими виртуозами предельно «грязного», но безопасного сбора.

Обмерщик появлялся с корзиной, вмещавшей ровно бушель, в сопровождении «буха», счетовода. В «бухи» обычно нанимались мелкие клерки, начинающие бухгалтеры и прочая конторская молодежь, воспринимавшая эту работу как отпуск с дополнительным заработком. Черпая из ведра бушель за бушелем, обмерщик громко приговаривал: «Один! Два! Три! Четыре!», сборщики отмечали цифры в личных расчетных книжках. За каждый бушель начислялось два пенса, и процесс замера, естественно, сопровождался бесконечными стычками, упреками. Хмель продукт рыхлый, при желании бушель спрессуешь в квартовом горшке, поэтому вслед за очередной изъятной порцией сборщик, наклоняясь, взбивал, пушил оставшуюся массу – обмерщик же, в свою очередь, приподнимал и встряхивал мешок, чтобы хмель лег плотнее. Нередко, получив распоряжение «брать тяжелый», обмерщик умудрялся так утрясти мешок, что черпал сразу по два бушеля, вызывая бурю негодования. Раздавались выкрики «Гляди, как б... трамбуется! Чего ж ты, сволочь, еще ногами не потопчешь?», слышался глухой говор опытных сезонников о том, как, уходя с плантаций, обмерщиков напоследок купали в загаженном коровьем пруду. Из ведер хмель перекочевывал в тюки, теоретически весившие по сотне фунтов, однако неподъемные и требовавшие пары дюжих носильщиков, когда хмель «брали тяжелым». Час перерыва: разводишь костер из плетей (это строжайше запрещалось, но делалось всеми без исключения), греешь свой чай, ешь свои бутерброды с беконом. После обеда вновь работа до пяти-шести, вечерний проход обмерщика, потом свобода и возвращение в лагерь.

В памяти Дороти воспоминания об уборке хмеля всегда всплывали картиной послеполуденных часов. Длинных, трудных, пронизанных ярчайшим солнцем, звучащих дружным хоровым пением, пропахших хмелем и дымом костров, несравненных, незабываемых часов. К середине дня ноги уже не стоят, в ушах и волосах зудит нападавшая с листьев мелкая изумрудная тля, руки от сернистого сока черные, только сочащиеся ранки алеют на совершенно негритянской коже. А ты счастлив, полон нелепым, глупым счастьем. Работа захватывает и поглощает. Тупая работа, все однообразно, изнурительно, болячки не сходят с рук, но не надоедает и, если хмель хорош, погода ясная, чувствуешь, что работал бы так вечно. Радость и в теле и на душе, светлая радость час за часом обрывать пахучие пухлые гроздья, смотреть, как серебристо-зеленая грудка в твоём ведре растёт всё выше, с каждым бушелем прибавляя пару пенсов в кармане. Солнце палит, жара печёт, и горьковатый, ненасытно вдыхаемый аромат, как бриз с холодных океанов пива, ласкает свежестью. В солнечный день работа с песней, вся плантация поёт. Почему-то той осенью звучали только печальные песни об отвергнутой любви, об одинокой верности – уличные вариации «Кармен» или «Манон Леско». Такая, например:

Счастливой парочкой
Идут ночной порой,
А мне одно-о-ой!
С разбитым сердцем!
Или такая:
Танцую я, слеза глаза туманит,
В моих объятиях все-е-м другая!

Или:
Колокола звонят по ми-илой Салли,
Но нет в моги-иле места для меня!
Маленькая цыганка на все лады горланила:
Как мы грузно, ой, как грузно,
Все живем на Грузной ферме!

И хоть ей постоянно объясняли, что называлась ферма «Грусть», она упорно разливалась о «Грузной». У старой лоточницы и ее внучки Роз тоже был собственный припев в такт работе:

Хмели вшивы!
Эх, паршивы!
Жди обмерку, не зевай,
Подымай их, подымай!
Чертом ходит мерщик,
Мешки трясет на низ.
Залазь с головою,
Хмелями обожрись!

Особенно любили «Колокола звонят по милой Салли» и «Счастливой парочкой». Их никогда не уставали повторять, пропели за сезон наверно не одну сотню раз. Звенящие сквозь гущу лиственных стенок, эти мелодии так же сплелись с образом хмельников, как душистая горечь и пестрота солнечных бликов.

Вернувшись около половины седьмого в лагерь, идешь к ручью позади хижин и, порой впервые за день, умываешься. Минут двадцать скребешь с рук черный деготь. Вода и даже мыло бесполезны, помогают лишь две вещи – речной ил и, как ни странно, тот же хмелевый сок. Затем ужин: чай, хлеб и опять бекон, если Нобби не сходил в лавку, не купил на пенни пару кусков чего другого. Покупки всегда делал только Нобби. Он умел за два пенса торговать у мясника четырехпенсовый кусок и вообще знал множество маленьких экономических секретов. Например, всякой форме хлеба Нобби предпочитал круглый каравай, ибо при разрезании, объяснял он, выходит похоже на две буханки.

Еще до ужина неудержимо клонит в сон, но так уютно у пылающих костров, что просто невозможно их покинуть. От фермы позволялось брать в сутки на хижину по две вязанки, однако сборщики тащили хвороста сколько хотели да еще приволакивали громадные, всю ночь тлевшие пни корявых вязов. Иногда разводили костры, вокруг которых садилось человек двадцать, и пели далеко за полночь, рассказывали всякие истории, пекли на углях краденые яблоки. Парни с подружками ускользали в темные закоулки. Возглавляемые Нобби смельчаки, взяв мешки, уходили чистить ближайшие сады. Дети в сумерках затевали игру в прятки или гоняли на лугу несчастных козодоев, которых глупая городская ребятня принимала за фазанов. В ночи под воскресенье полсотни сборщиков, напившись в сельском пабе, маршировали вдоль деревни, ревя похабные куплеты и страшно шокируя мирных селян, смотревших на сезонников, как, вероятно, чинные провинциалы римской Галлии смотрели на ежегодные готские набеги.

Когда залезешь наконец в свою соломенную нору, удобства и тепла не жди. После первой блаженной ночи Дороти обнаружила, что солома – постель ужасная. Не только колкая, но, не в пример сему, со всех сторон сквозящая. Правда, была возможность натаскать с поля практически неограниченное количество мешков для хмеля, так что, сотворив себе

четырёхслойный кокон из надетых друг на друга мешков, Дороти удавалось достаточно согреться, чтобы поспать хотя бы часов пять.

4

Что касается денег, добываемых на уборке хмеля, их еле-еле хватало сводить концы с концами.

Ставка у Кейрнса была по два пенса за бушель, а при хорошем урожае умелый сборщик в час насыпает три бушеля. То есть теоретически шестьдесят часов в неделю сулили тридцать шиллингов. Реально, однако, никто в лагере к такой сумме не приближался. Лучшие сборщики вырабатывали тринадцать-четырнадцать шиллингов, худшие – только шесть. Нобби и Дороти, объединяя труды и доходы, имели около десяти шиллингов в неделю.

Заработок снижали разные причины. Во-первых, плохой хмель на некоторых участках. Кроме того, задержки, ежедневно отнимавшие от рабочего времени час-другой. Закончив одну плантацию, надо перебираться со своим тюком на следующую, до которой, возможно, целая миля. И еще может выясниться, что произошла ошибка, то есть бригада, сгибаясь под тяжестью набитых тюков, должна напрасно тратить полчаса в поисках нужного места. Хуже всего, если дождь. А тот сентябрь был таков, что дожди припускали в два дня из трех. Иногда приходилось все утро или всю вторую половину дня корчиться под накинутым мешком подле стенки необработанного хмеля, мокнуть, дрожать, ждать, когда тучи разойдутся. Собирать в дождь не получается. Скользкий хмель не ухватишь, а соберешь кое-чего, так и того обидней – мокрый хмель слипнется, собьется жалким комком на дне ведра. Случалось, полный день в поле приносил меньше шиллинга.

Впрочем, для большинства это значения не имело; цыгане привыкли к нищенским барышам, а прочих сборщиков, главным образом, представляли небогатые торговцы, лоточники и другой относительно сытый лондонский мелкий люд, который на хмель ехал, как на летний отдых, и совершенно удовлетворялся заработком, достаточным, чтоб оплатить проезд в оба конца и незатейливо повеселиться в субботу вечером. На самом деле, если бы хмель не считался отпуском, эта агрономическая отрасль тотчас бы рухнула. Цены на хмель теперь такие низкие, что никакому фермеру не по карману в действительности содержать своих сезонников.

Дважды в неделю разрешалось взять «суб», авансовую субсидию из наработанной тобою суммы. Но вздумая уйти среди сезона (что весьма неудобно для фермеров), согласно правилам рассчитают по пенсу бушель вместо обычных двух пенсов – просто оттяпают у тебя половину заработанного. Общеизвестно, что под конец уборки, когда сезоннику уже начислены изрядные деньги и потерять их ему не захочется, хозяева снижают тариф до полутора пенсов. Забастовки практически невозможны. Профсоюза у сборщиков нет, а бригадиры не на сдельщине? на обычном недельном жаловании, которое в случае прекращения работ иссякнет; понятно, что командиры через себя перевернутся, чтобы не дать своим бригадам бастовать. Фермер вообще держит сезонника в тисках, но виноват не фермер. Корень зла в бросовой цене на хмель. К тому же, Дороти потом увидела, насколько смутно большинство сборщиков представляет итоговую цифру своих заработков. Система сдельщины отлично маскирует низкий тариф.

Первые несколько дней, еще не получив права на «суб», Дороти с Нобби ходили полуголодными и голодали бы по-настоящему, если б соседи не подкармливали. Все были чрезвычайно к ним добры. Недалеко, в одной из больших хижин жили торговец цветами Джим Бэрроуз и Джим Тарль, крысомор дорогого лондонского ресторана. Жены этих друзей были родными сестрами, и обе семьи очень симпатизировали Дороти, стараясь не оставить ее и Нобби с пустым желудком. Вечером непременно подходила пятнадцатилетняя Мэй Тарль; подчеркнуто беспечно, дабы не показалось милостыней, предлагала кастрюлю тушеного мяса. Формулировка неизменная:

– Вот, Эллен, пожалуйста, мама прямо не знает куда деть, хоть, говорит, выбрось совсем, а потом говорит, что Эллен, может, сгодится. Нисколь, говорит, для нас не надо, ты ей очень любезность сделаешь, когда примешь.

Невероятно, какое множество продуктов Бэрроузы и Тарли «прямо не знали куда деть». Однажды прислали половину свиной тушеной головы, а кроме еды снабдили Дороти кое-

какой кухонной утварью и оловянным блюдом, исполнявшем роль сковородки. И самое приятное – ни одного бесцеремонного вопроса. Хотя они догадывались о некой тайне в жизни Дороти. «Сразу видать, что Эллен-то с верхов ко дну прибило», – делились они впечатлениями, но душевное благородство не позволяло им смущать девушку любопытством. Более двух недель у Дороти не возникало нужды придумать хотя бы фамилию для «Эллен».

С получением «суба» финансовые тяготы закончились. Теперь Нобби и Дороти спокойно, удивительно легко существовали на полтора шиллинга в день. Четыре пенса – табак для Нобби, четыре – каравай хлеба, семь пенсов – чай, сахар, молоко (молоко с фермы всего полпенни за полпинты), маргарин, бекон «кусочками». Конечно, дня не проходило без того чтоб еще не растратить пенс-другой. Вечно неутоленный аппетит и вечные грошовые соблазны, проблемы: побаловать себя то ли копченой селедкой, то ли пончиком, то ли пакетиком чипсов. Казалось, половина графства вступила в заговор с целью дочиста вытряхнуть твой кошелек. На четырех сотнях сезонников местные торгаши наживали больше, чем за все остальное время года (что не мешало глубоко презирать понаехавших грязных кокни). После полудня по рядам плантаций ходили рабочие с фермы, продававшие яблоки и груши – полдюжины за пенни. Лондонские разносчики таскали корзины пончиков, фруктового пломбира на воде, кулечки с «полпенни леденцов». Ночью лагерь наводняли лоточники, грузовиками возившие из Лондона всякую уцененную бакалею, рыбу с жареной картошкой, креветок, заливных угрей, позавчерашние пирожные, стеклянноглазых костяных кроликов, года два пролежавших в морозильне и сбывавшихся здесь по девять пенсов штука.

Пища у сборщиков, в основном, дрянная, и это неизбежно: даже купив нормальную еду, некогда кроме воскресений ее готовить. По-видимому, лишь изобилие дармовых яблок предотвращало свирепую цингу. Воровство яблок было системой; все в лагере если не крали их, то уж всюю потребляли. Было известно про целые банды налетчиков-велосипедистов (как говорили, нанятых лондонскими уличными торговцами), грабившие сады по выходным. Что касается Нобби, он превратил покражу фруктов в научную дисциплину. Сколотил за неделю шайку юнцов, благоговевших перед героем – четырежды отсидевшим тюремный срок взломщиком, и каждой ночью водил в походы, из которых отряд возвращался с грузом не меньше центнера. Сады близ хмельников тянулись необозримо; яблоки, особенно маленькие золотисто-коричневые руссеты, в связи с отсутствием покупателей гнили под деревьями. «Грех не прибрать», – говорил Нобби. Пару раз его шайка краля и цыплят. Удивительно, как при этом не всполошили всю округу. Нобби, однако, знал хитрый маневр с накидыванием мешка, чтобы цыпленок «скончался темной ночью без мук» – во всяком случае, без шума.

Так минула неделя, еще две, и Дороти нисколько не приблизилась к разгадке своей личности. Пожалуй, наоборот, отдалилась, почти забыла тревоживший вопрос. День ото дня привычной становилось пребывать в странном состоянии, не думая ни о прошлом, ни о будущем. Естественное следствие жизни на хмельниках, где занимают лишь сиюминутные проблемы. Какие там серьезные вопросы, когда вечно хочется спать и вечно занят: либо работаешь, либо варишь, либо ходишь за чем-нибудь в деревню, либо улещиваешь капризный мокрый хворост, либо таскаешься взад-вперед с банками воды. (Единственный водопроводный кран был в двухстах ярдах от лачуги Дороти, и на таком же расстоянии невыразимо гнусная засыпная уборная). Изматывая до предела, до капли высасывая энергию и одновременно наполняя глубоким подлинным блаженством, такая жизнь заполоняет. В прямом смысле лишает сознания. Длинные дни в полях, грубая пища и недостаток сна, аромат хмеля и запах дыма – все это убаюкивает, погружает в какое-то животное безмыслие. С разумом происходит то же, что с кожей, дубеющей на постоянном ветру, под солнцем и дождем.

По воскресеньям в поле, конечно, не работали, но утром всюю трудились: готовили главную недельную трапезу, стирали, штопали. Прерывистый резкий звон деревенской колокольни мешался в воздухе с жиденьким пением «Господь, Спаситель наш» на проходящей под открытым небом и весьма плохо посещаемой службе, устроенной заботами специальной «Миссии Святого Какого-то для Сборщиков Хмеля». Под эту музыку трескали горы хвороста, вода булькала в ведрах, кастрюлях, консервных банках и всех имевшихся под рукой емкостях, над всеми крышами плескалось, трепетало сохнущее тряпье. В первое же воскресенье, одолжив у Тарлей жестяной таз, Дороти вымыла голову, потом выстирала свое

белье, рубашку Нобби. На белье было страшно смотреть. Как долго она его носила, неизвестно, но уж не меньше двух недель, да ведь и ночью ни разу не снимала. От чулок вообще остался только верх, туфли же до сих пор держались лишь коркой плотно налипшей на них грязи.

Развесив белье сушиться, Дороти приготовила обед, роскошное меню которого включало цыпленка тушеного (краденого), картофель отварной (краденый), компот из яблок (краденых) и чай, поданный во взятых напрокат у миссис Бэрроуз настоящих чайных чашках с ручками. После обеда и до вечера Дороти просто сидела, прислонясь к солнечной стороне лачуги, на коленях мешок, чтобы подол не трепыхался, веки иногда чуть поднимаются и тут же снова опускаются. Две трети населения лагеря предпочли это же занятие – дремать на солнце, изредка просыпаясь для пристального созерцания того, что было перед глазами, а именно: пасущихся коров. Вот и все, на что чувствуешь себя способным после тяжелой рабочей недели.

Дороти третий час отдохновенно млела, когда мимо вразвалку прошел Нобби, голый до пояса (рубаха его сохла), с откуда-то добытым экземпляром «Пиппинс Уикли», грязнейшей из грязных воскресных газетенок. Газету Нобби на ходу подкинул Дороти.

– Почитай, детка, развлекись, – великодушно бросил он.

Дороти взяла «Пиппинс Уикли» и положила на колени, слишком сонная, чтобы читать. Огромный заголовок вопил в упор: «ДРАМА СТРАСТЕЙ В ДОМЕ СЕЛЬСКОГО РЕКТОРА». Тут же несколько броских подзаголовков с жирно выделенными отдельными словами и фотография девушки. Секунд пять Дороти таращилась на тусклый, смазанный, хотя все-таки вполне годный для опознания собственный портрет. Под фотографией тянулась колонка текста. Вообще-то большинство газет уже оставило загадку «Дочери Ректора», новость на протяжении полумесяца теряла свежесть и вконец устарела. Но в «Пиппинс Уикли» мало беспокоились, нова ли новость, если она достаточно пикантна, а урожай зверских убийств и изнасилований, увы, скуден. Так что решились в последний раз толкнуть «Дочь Ректора» – причем дать на первой полосе, в почетном левом верхнем углу.

Дороти сонно пялилась на фотографию. Лицо, смотревшее из-под пластов тошнотворно крикливого шрифта, абсолютно ничего ей не говорило. Без понимания, без какого-либо интереса Дороти машинально прочла и перечла заголовки «ДРАМА СТРАСТЕЙ В ДОМЕ СЕЛЬСКОГО РЕКТОРА». Нет, текст сейчас не воспринимался, даже разглядывать фотографии было чересчур утомительно. Мозги в дреме совсем отяжелели. Глаза, закрываясь, мельком скользнули вниз, к изображению то ли лорда Сноудена, то ли неразумного джентльмена, не заказавшего удивительный бандаж для грыжи, и Дороти крепко уснула с «Пиппинс Уикли» на коленях.

Стенное рифленое железо служило неплохой диванной спинкой, Дороти славно проспала до шести вечера, когда Нобби разбудил ее сообщением о том, что чай готов, и она бережно (пригодится для растопки) сложила «Пиппинс Уикли», так и не ознакомившись с содержанием.

Шанс открыть свою тайну снова пропал. И тайна долго могла оставаться без ответа, если бы не беда, разразившаяся через неделю и оборвавшая летаргическое блаженство.

5

Под вечер следующего воскресенья в лагерь нагрянула полиция, арестовавшая Нобби с двумя его друзьями.

Все произошло мгновенно, и Нобби, даже получив сигнал тревоги, вряд ли мог спастись бегством, так как по деревьям кишели патрули. Кент временами изобилует отрядами специальных местных констеблей, которых приводят к присяге ранней осенью как своего рода ополчение для борьбы с вороватым племенем сезонников. На сей раз фермеры, уставшие от постоянных садовых грабежей, решили продемонстрировать карательную акцию *in terrorem*^[22]. Разумеется, поднялся страшный шум. Дороти выглянула из лачуги, увидела столпившихся вокруг костра людей и побежала туда вслед за остальными, холодея от предчувствия какого-то личного несчастья. Она сумела втиснуться в первый ряд – да, случилось именно то, чего она боялась.

Нобби стоит, схваченный гигантом в полицейском мундире, другой полисмен держит за руки двух перепуганных юнцов. Один из них, суший ребенок едва ли лет шестнадцати,

навзрыд рыдает. Мистер Кейрнс, плотный мужчина в сизых бакенбардах, и двое парней с его фермы вытянулись на карауле возле похищенной собственности, только что извлеченной из-под соломенного ложа Нобби: вещественное доказательство № 1 – куча яблок; вещественное доказательство № 2 – пучок измызганных кровью куриных перьев. Завидев Дороти, Нобби сверкнул подковой крупных зубов и браво подмигнул. В толпе наперебой кричали, спорили:

«Гляди, б...к несчастный как рассопливился!» – «Пусти его! Эх, вляпался малец!» – «Так стервецу и надо, не будет всех нас под подозрение подводить!» – «Пусти его!» – «У их за все сезонник виноватый! Яблоко драное сгноят, так опять мы!» – «Пусти его!» – «Может, заткнешься? Были б, к примеру, твои чертовы яблоки?» – «А ты что ль, к дьяволу, не...» и т. п. И затем: «Посторонись, братва! Мамаша парнишки притопала».

Толстуха с исполинской грудью и разметавшимися по могучей спине волосами (точь-в-точь фигурная пивная кружка) умело протаранила толпу и завопила, поначалу на полисмена и мистера Кейрнса, потом на Нобби, сбившего с пути ее безвинного сыночка. Сквозь этот визг Дороти все же слышала, как мистер Кейрнс строго допрашивал Нобби:

– Теперь, молодой человек, ты признавайся, какие тут твои сообщники, чтоб сады шарить! Мы положили навечно прикончить эти разбойны игры! Признание, осмелюсь сказать, тебе учтется.

Нобби с обычной бодростью ответил:

– Учтется! В твоей заднице!

– Не вздумывай дерзить, молодой человек! Не то вон на суде-то погорячей достанется.

– Достанется погорячей! Тебе по заднице!

Нобби широко ухмыльнулся. Собственное остроумие переполняло его наслаждением. Поймав взгляд Дороти, он снова подмигнул ей перед тем, как арестованных увели. И больше Дороти никогда в жизни его не видела.

Крики все продолжались, несколько дюжин мужчин последовали за конвоем, освистывая мистера Кейрнса и полицию, однако вмешиваться никто не рискнул. Дороти между тем тихонько отошла, даже не стала узнавать, можно ли будет попрощаться с Нобби. Так жутко сделалось и так хотелось скорее скрыться. Колени ее дрожали. Она вернулась в свою хибару, где соседки возбужденно обсуждали арест Нобби. Зарылась глубоко в солому, чтоб ничего не слышать. Женщины галдели еще полночи; уверенно считая Дороти «евонной девкой», непрерывно ей соболезнавали, окликали вопросами. Дороти притворялась спящей. Но про себя, конечно, знала, что этой ночью ей не уснуть.

Она очень расстроилась и страшно испугалась. Хотя бившийся страх был как-то несоразмерно беспокоен. Ведь ей самой ничего не грозило: на ферме не имели сведений, что она принимала краденые дары (и если начистоту, все в лагере их принимали), а Нобби никогда бы ее не выдал. И дело было не только в сильной тревоге за Нобби, которого, кстати, ничуть не волновала месячная тюремная отсидка. Странная смута поднималась изнутри – что-то происходило, менялось в ее сознании.

Словно она уже совсем не та, что час назад. Во всем внутри и вокруг перемена. Как будто пузырек, заткнувший протоки мозга, лопнул, освободив путь позабытым мыслям, волнениям. Развеялся сонный дурман последних трех недель. Она действительно жила во сне (где кроме сна все принимаешь, ни с чем не споришь?). Лохмотья, грязь, бродяжничество, нищенство, воровство – все было как бы естественно. И потерять память – естественно; по крайней мере, можно было об этом не думать. И вопрос «кто я?» мерцал так слабо, что надолго забывался. А вот сейчас он резко встал, пугающий и неотступный.

Вопрос ворочался, бился, терзал почти всю ночь. Не столько, может, сам вопрос, как ощущение надвигающейся разгадки. Память явно и несомненно возвращалась, а вместе с ней вползало некое неприятное открытие. В сущности, Дороти боялась того момента, когда себя узнает. Вот-вот готово было прорваться нечто такое, чего знать не хотелось.

Половина шестого она привычно встала, нашарила туфли, надела. Выйдя на улицу, раздула огонь, поставила жестянку с водой на тлеющие угли. И тут же в голове полыхнуло вроде бы неуместное воспоминание – привал в деревушке Уэль, где они повстречались с миссис Макэллигот. Ярko, во всех деталях: сама она, прикрыв лицо рукой, навзничь лежит в траве; Нобби со старой ирландкой, сидя по обе стороны ее бессильно распростертого тела,

беседуют; Чарли смачно зачитывает вслух афишу «Тайны Интимной Жизни Дочери Ректора», и она без особого интереса спрашивает, приподнявшись: «Ректор – это кто?».

Сердце стиснуло ледяной хваткой. Вскочив, Дороти торопливо, почти бегом, кинулась в хижину, принялась рыть солому, пробираться к своим мешкам. Вещи, тонувшие в соломенном кургане, оседали на самом дне. Но через несколько минут, в течение которых ее щедро и крепко кляли все сонные соседки, она нашла то, что искала. Подаренный Нобби, недельной давности номер «Пиппинс Уикли». Вернувшись с ним, Дороти встала у костра на колени и расстелила газету.

Это было сразу на первой странице – фотография и три крупных заголовка. Да! Вот оно!

*ДРАМА СТРАСТЕЙ В ДОМЕ СЕЛЬСКОГО РЕКТОРА
ДОЧЬ ПАСТЫРЯ И МАТЕРЫЙ СОВРАТИТЕЛЬ
СЕДОЙ ОТЕЦ БЕЗ УМА ОТ ГОРЯ*

(экстренный выпуск «Пиппинс Уикли»)

«Лучше бы я увидел ее в могиле!» – рыдая, вскричал его преподобие Чарльз Хэйр, приходский ректор из Найп-Хилла, графство Суффолк. Сердце его было разбито вестью о тайном бегстве единственной дочери с весьма немолодым холостяком, неким Варбуртоном, судя по описанию человеком из артистических кругов.

Мисс Хэйр, покинувшая город в ночь двадцать первого августа, исчезла бесследно, все попытки ее обнаружить пока не принесли успеха». Далее жирно выделено: «Есть некоторые основания доверять поступившему сообщению о том, что мисс Хэйр видели с мужчиной в имеющем крайне дурную славу отеле в Вене».

И ниже: «Напомним читателям драматические обстоятельства этого тайного побега. Двадцать первого августа, незадолго до полуночи, миссис Эвелин Семприлл, скромная уважаемая вдова, обитающая в доме напротив жилища мистера Варбуртона, случайно выглянув в окно спальни, заметила, что ее сосед возле своей калитки беседует с молодой особой. Ясная лунная ночь позволила миссис Семприлл узнать мисс Хэйр, дочь местного священника. Постояв у калитки, пара прежде чем зайти в дом обменялась поцелуями, характер которых, по наблюдению миссис Семприлл, свидетельствовал о необузданности страстей. Спустя полчаса мистер Варбуртон вывел свою гостью, и они вместе сели в его автомобиль, умчавшийся по дороге на Ипсвич. Мисс Хэйр, одетая в момент отъезда чрезвычайно скудно, находилась, видимо, под сильным воздействием алкоголя.

Как позже выяснилось, мисс Хэйр имела давнюю привычку секретно навещать мистера Варбуртона. С невероятной трудностью нам удалось уговорить миссис Семприлл дать интервью на столь прискорбную и тягостную для нее тему, коснувшись которой, она...».

Яростно скомкав «Пиппинс Уикли», Дороти сунула газету в огонь под жестянку с кипятком. Банка упала, зашипело дымное облако, и почти моментально Дороти выхватила еще не вспыхнувшие листы. Нечего увиливать – лучше уж знать самое худшее. Дальше она читала, зачарованная ужасом. Не слишком приятно читать такое о себе. А в том, что именно о ней, Дороти почему-то больше не сомневалась. Внимательно посмотрела на фотографию. Снимок туманный, но безусловно узнаваемый. Хотя теперь ничем не нужно было пробуждать память. Она все вспомнила, всю круговерть всей своей жизни вплоть до вечера, когда совсем без сил вернулась от Варбуртона и, надо полагать, уснула в оранжерее. Все восстановилось настолько ясно, что забыть это уже казалось неправдоподобным.

Она не завтракала, не подумала приготовить что-то на обед, но когда наступило время, привычно, вместе с остальными пошла на хмельники. Там она в одиночку кое-как пристроила тяжелое ведро, подтянула свежую плетку и начала собирать. Вскоре, однако, почувствовала, что не способна даже на машинальную работу. Гнусный лживый рассказ в «Пиппинс Уикли» давил и дергал, не давал отвлекаться. В голову бесконечно лезли обрывки сальных подробностей: «необузданные страсти», «одетая чрезвычайно скудно», «под воздействием алкоголя». Каждое слово, как ожог, и хочется завывать от боли.

Наконец, она бросила притворяться, что работает, выпустила из рук увавшую в мешок плетку и села подле углового столба. В бригаде, видя ее состояние, сочувствовали. «Эллен малость шарахнуло, – переговаривались сборщики. – Еще бы, коль дружка-то замели?». (Естественно, весь лагерь был уверен, что Нобби – любовник Дороти). Ей советовали сходить

на ферму, сказать больно. Ближе к полудню, перед появлением обмерщика, из всех рядов начали подходить, подкидывать ей в мешок горсти хмеля.

Обмерщик застал Дороти так и сидящей на земле. Измученное, постаревшее, белое, вернее серое сквозь слой загара и грязи, лицо. Ведро, в котором едва три бушеля, на двадцать ярдов позади всех остальных.

– Что за дела? – рявкнул обмерщик. – Что, больная?

– Нет.

– А чего же не рвала? Решила барыней тут прогулки гулять? Сюда не чтоб расслаживаться ходят, понятно?

– Да кончай ты занозой по ей дрючить! – вдруг заорала старуха-зеленщица. – Можно несчастной девке хоть чуток отдыху и покою? Будто не ты да не твои шпики драные ейного мужика в кутузку сволокли? Нету у ней забот, чтоб еще тут ее за... каждый легавый прихвостень!

– Уймись, мать! – сердито бросил обмерщик, но и его взгляд потеплел, когда выяснилось, что ночной арестант был сожителем девушки.

В перерыв старая лоточница увела Дороти к своему костру, налила крепкого чая, дала ломоть хлеба с сыром. После перерыва на место Нобби отрядили другого, тоже оставшегося без компании, напарника. Это был низенький иссохший старый бродяжка по прозвищу Глухарь. Немного подкрепившись чаем и стараясь не отставать от Глухаря, сборщика очень ловкого, Дороти сделала обычную дневную норму.

И вообще, обдумав ситуацию, она мало-помалу справилась с собой. Ежилась, вспоминая «Пиппинс Уикли», но уже могла прямо взглянуть на положение дел. Достаточно понятно, что случилось, что стало поводом для клеветы бдительной вдовы Семприлл. Миссис Семприлл из-за окна подстерегла их расставание у калитки, заметила поцелуй Варбуртона, а когда оба вдруг исчезли из Найп-Хилла, естественно – естественно для миссис Семприлл – последовал вывод о тайном совместном бегстве. Все живописные детали этой леди «увиделись» потом. Или действительно она так видела? Единственное, за что нельзя было поручиться насчет миссис Семприлл, – плетет ли она свои басни сознательно или каким-то трюком больного, извращенного ума на самом деле принимает мерзость своих фантазий за реальность.

Как бы то ни было, грязь выплеснута, так что хватит напрасно горевать. Надо побеспокоиться о возвращении в Найп-Хилл. Понадобится прислать ей кое-что из одежды и два фунта, чтобы уехать поездом домой. Домой! Слово это пронзило. Домой после диких недель! Все в ней затрепетало при воспоминании о доме!

Но!

Маленькое холодное сомнение высунуло змеиную головку. Об одной стороне дела Дороти до сих пор не подумала. Возможно ли сейчас домой? Смеет ли она?

Сможет ли посмотреть в лицо обитателям Найп-Хилла после всего, что приключилось? Да, вопрос. Если ты украшала первую полосу «Пиппинс Уикли» – ты, которая «под воздействием алкоголя», «одетая чрезвычайно скудно»... ох, только не об этом! Но если ты с ног до головы залита грязной клеветой, как же вернешься в городок, где две тысячи жителей знают, целыми днями обсуждают личную жизнь друг друга?

Дороти колебалась, не могла решить. То ей казалось, что рассказ о ее тайном любовном бегстве такой абсурд, которому никто, конечно, не поверит. Варбуртон, например, опровергнет – бесспорно разобьет по всем статьям. Но тут же она вспоминала, что Варбуртон в Европе, что он, если история не попала в континентальные газеты, даже не знает ничего. И снова падала духом. Ей хорошо было известно, чего стоит расплата за скандал в маленьком полудеревенском местечке. Косые взгляды, молчаливые перемигивания, когда проходишь мимо! Жадно сверлящие глаза в щели сквозь занавески каждого окна! На перекрестках около завода Блифил-Гордона кучки юнцов, нахально тебя обсуждающих!

– Джордж! Э, Джордж! Вишь вон там девку с кошелкой, белесую такую?

– Че, ту тощую? Угу. А ктой-то?

– Дочка поповская, мисс Хеер. Ну ты че? Слыхал, какой номер она тут отколола? Удрала с мужиком, в папаша годным, и загудела с им в Париже! Во уж по виду на нее не скажешь, а?

– Иди ты?

– Ну! Она самая, точно говорю. В газетах прописали и воще. А как мужик выпер ее недельки через три, она обратно к дому примотала, стыда ни грамма. Ну скажи, не наглая?

Да, годы и десятки лет могут тянуться такие разговоры. Тем более, что сообщения «Пиппинс Уикли» наверное лишь бледный контур устных сочных повествований миссис Семприлл. Газета все-таки не переступит определенной грани. Но есть ли что-то, что удержит, ограничит миссис Семприлл? Только пределы ее воображения, безбрежного как небо.

Одна мысль утешала: в любых ситуациях ее защитит отец. Найдутся, разумеется, и другие. Разве у нее нет друзей? По крайней мере, ее знают и уважают в их приходе; ни Дружные Матери, ни девочки-скауты, ни женщины из списка ее обходов никогда не поверят подобным рассказам о ней. Но главное – отец. Все перетерпишь, если родной дом укроет и близкие поддержат. С отцовской помощью, с его бесстрашной твердостью она, наверное, сумеет выстоять.

К вечеру Дороти решила, что при всех ожидающих неприятностях возвращение в Найп-Хилл вполне разумно, взяла после работы авансом шиллинг, сходила в лавку и купила пачку дешевой бумаги. Усевшись на траве возле костра (столов и стульев у сезонников не водится), начала писать огрызком карандаша:

«Дорогой папа! Если бы ты знал, какое счастье, что я снова способна писать тебе. Надеюсь, ты не очень сильно тревожился обо мне и огорчился из-за этих ужасных мерзостей в газетах. Просто не представляю, что ты мог подумать, когда я так внезапно исчезла и почти месяц не давала знать о себе. Но понимаешь...».

Так странно было держать в саднящих онемевших пальцах карандаш! Буквы кривились, строчки разъезжались. Тем не менее, крупными детскими каракулями, Дороти все подробно объяснила, завершив длинное письмо просьбой прислать одежду и два фунта на билет. Она также просила в адресе называть ее «Эллен Миллборо» (фамилию подсказал соседний с Найп-Хиллом городок). Фальшивое имя смущало, казалось постыдным, почти преступным, но еще ужаснее было обнаружиться перед людьми в деревне, а значит наверняка и в лагере как Доротея Хэйр – та самая на шумевшая «Дочь Ректора».

6

Едва решение было принято, Дороти уже не терпелось покинуть хмельники. Утром она буквально заставила себя продолжить тупую, нудную работу; условия стали невыносимыми и еда несъедобной, когда в памяти появилось, с чем сравнивать. Имелась бы нужная сумма, расставание состоялось бы немедленно. Как только от отца придет письмо, она тотчас же попрощается с друзьями, сядет в поезд, везущий к дому, и несмотря на предстоящие пытки освобожденно вздохнет.

Через три дня после собственного послания она отправилась за ответом. Деревенская почтмейстерша, лицо которой отличали сходство с таксой и жестокая неприязнь ко всем сезонникам, холодно обронила, что ничего нет. Дороти приуныла. Обидно – письмо где-то задерживалось. Ну что ж, не страшно, завтра наверняка доставят, сутки только подождать.

Назавтра она уже в полной уверенности шла получать письмо из дома. Вновь ничего. Охватило дурное предчувствие, а когда и на пятый вечер ответ не прибыл, беспокойство сменилось жуткой паникой. Дороти купила еще одну пачку бумаги и написала еще одно огромное, на четырех листах, письмо, вновь все излагая, объясняя и умоляя не оставлять ее в тревожной неизвестности. Теперь она постановила держаться, не ходить на почту целую неделю.

Зарок был дан в субботу. Выдержки ей хватило до среды. Лишь в полдень заревел гудок, она покинула свой ряд и побежала вниз, на почту – за полторы мили, то есть оставив себя без обеда. Униженно немея, приблизилась к почтовому прилавку. Такса-почтмейстерша сидела в дальнем конце в своей проволочной клетке, вела какие-то подсчеты. Глянула мельком, пронырливо на Дороти и продолжила отмечать цифры, выказывая полное безразличие.

У Дороти заныло под ложечкой, дыхание пресеклось. «Есть что-нибудь для меня?» – еле-еле выговорила она.

– Имя? – перо и взгляд не отрывались от счетной книги.

– Эллен Миллборо.

На мгновение длинный собачий нос сунулся за плечо и ткнулся в корреспонденцию под литерой «М».

– Нет, – снова углубившись в бухгалтерию, отрезала почтмейстерша.

Неведомые силы вывели покачнувшуюся Дороти за дверь, направили к хмельникам, помогли дойти до дороги и оставили. Двинуться было невозможно от слабости и тянущей под ребрами, отчасти вызванной голодом, смертельной пустоты.

Молчание отца могло означать только одно. Он поверил рассказу миссис Семприлл! Отец думает, что она, Дороти, бесстыдно, в крайне непристойных обстоятельствах сбежала, а теперь, изворачиваясь, лжет. Он слишком возмущен, слишком разгневан, чтобы писать ей. Все, чего он желает, это полностью с ней порвать; выкинуть из головы, из сердца, как скандальную гадость, которую надлежит отринуть и забыть.

Возвращаться домой нельзя. Никак нельзя. Отношение отца ясно доказывало опрометчивость ее планов. О, разумеется, она не может ехать домой! Вернуться крадучись, поджавши хвост, и опозорить отчий кров – ах, невозможно, совершенно невозможно! И как такое пришло ей в голову?

Но тогда что? Ничего другого не остается кроме того, чтобы вообще уйти – уйти куда-то, где можно скрыться, затеряться среди большой толпы. В Лондон, быть может. Туда, где она неизвестна, где ни ее лицо, ни имя не вызовут немедленных воспоминаний о грязной сплетне.

Тем временем от сельской церкви из-за поворота донесся звон колоколов. Местные звонари, подобно весельчакам, подбирающим мотив одним пальцем, пытались настроить мелодию «Твердо ступай Его дорогой». И вскоре отдельные звуки послушно слились в знакомый воскресный перезвон: «Не наливай моей супруге! Пьянчужка может сбиться с круга!» – старый привычный перезвон еще не снятых колоколов Святого Афельстайна. Звуки впивались ностальгической тоской, неслись потоком моментальных ярких картин: запах кипящей клееварки над грудой недошитых, недоклеенных костюмов для школьного спектакля, перекрывающий молитву перед Святым Причастием щебет скворцов за окном спальни, голос скорбно читающей хронику болей «назади под коленками» миссис Пифер, тревоги о прогнившей колокольне, просроченных счетах, выюнке в горохе – калейдоскоп бесконечных срочных дел, круживших ее между хлопотами и молитвами.

Молитвы! Очень ненадолго, на минуту, эта мысль задержалась в ней. Молитва – прежде исток и центр существования. Все горести, все радости раньше вели к молитве. Дороти вдруг, впервые, сообразила, что ни разу в своих бездомных скитаниях не помолилась, даже когда вновь обрела потерянную память. И более того, не ощущала к этому ни малейшего влечения. Машинально зашевелив губами, она почти сразу же осеклась: ни смысла, ни толку. Молитва, прежняя опора жизни, перестала что-либо значить. Такой факт Дороти отметила, медленно поднимаясь по дороге; отметила небрежно, мимоходом – куст у обочины, вспорхнувшая ворона, нечто мелькнувшее и тут же стертое сознанием. Да ей и некогда было обдумывать подобную проблему, вытесненную вопросами первостепенной важности.

О будущем, вот о чем требовалось поразмыслить. В целом, план действий уже наметился. Когда закончится сезон на хмельниках, ей следует поехать в Лондон, оттуда опять послать отцу просьбу насчет одежды и денег? какой бы гнев она ни вызвала, Дороти не могла поверить, что отец совершенно покинет ее в беде, и начать поиски места. Наивность ее достигала такой степени, что страшное «искать работу» не пугало. Она ведь усердна, вынослива, а вокруг столько всяческой работы ей по силам. Наняться, скажем, гувернанткой... нет, лучше служанкой или горничной. Не много есть домашних дел, которые она не выполнит лучше любой прислуги, и чем скромнее место, тем проще ей будет сохранять в тайне свое прошлое.

Во всяком случае, двери отчего дома закрыты, это несомненно. Отныне надо полагаться на себя. С этой идеей (весьма смутно представляя ее практическое содержание) Дороти прибавила шаг и вернулась на хмельник как раз к началу послеобеденных трудов.

Убирать хмель оставалось совсем недолго. Пройдет неделя – Кейрнс прикроет работы, сборщики кокни сядут в свой специальный лондонский поезд, цыгане запрягут коней, набьют фургоны и караваном потянутся к северу, в Линкольншир, чтобы быстро захватить там работу на картофельных полях. Кокни-то в это время уже по горло сыты хмельникам.

Жаждают вновь очутиться в старом добром Лондоне с торговыми рядами Вулворта, с лавочкой хрустящей жареной рыбы за углом, без всякого спанья в соломе, поджаривания бекона на оловянных крышках и плачущих от дыма глаз. Хмель был отпуском, но таким, окончания которого ждешь-не дожدهшься. Спешешь сюда, полный восторга, а уезжаешь, ликуя еще больше, клянясь, что никогда уж на эти хмельники ни ногой, – до следующего августа, когда забудешь и зябкий сон и заработанную мелочь, а будешь помнить только румяный жаркий полдень и кувшины пива возле пылающих ночных костров.

По утрам делалось все мрачнее, все сильнее ощущалась осень: пасмурное небо, первые падающие листья, скворцы и зяблики сбиваются в стаи перед зимовкой. Дороти еще раз обратилась к отцу, повторив прежние просьбы. Он не ответил, и никто ей не написал. Ведь даже адрес ее никому не был известен, хотя почему-то теплилась надежда, что Варбуртон, может, напишет. Мужества очень не хватало, особенно ночами в мерзкой соломе, когда она, лежа без сна, пыталась заглянуть в грозящее неизвестностью завтра. Хмель Дороти теперь собирала с яростной, отчаянной энергией, день ото дня острее ощущая, что каждой горстью хоть на грош, хоть на волосок отодвигает неминуемую голодовку. Глухарь, ее напарник, тоже трудился наперегонки со временем, хватал последний заработок до следующего сезона. Цифра, к которой они ежедневно стремились, – пять шиллингов (тридцать бушелей) на двоих, но эта мечта так и не осуществилась.

Старый чудаковатый Глухарь товарищем после Нобби был никудышным, хотя вообще-то человеком неплохим. В давние времена служил стюартом на корабле, но уже много лет бродяжил, глухой как тетерев, напоминавший в разговоре тугоухую тетушку из анекдотов. Он любил показать себя, поважничать, однако безобидно. Часами дудел чрезвычайно коротенькую песенку «Эх, бури-бури, бури-бури», явно не слыша собственного пения и столь же явно наслаждаясь. Дороти никогда не видела таких, как у него, волосатых ушей. Слева и справа из уха густой пушистый хохолок наподобие бакенбард в гриме театрального «простака». Глухарь неизменно являлся собирать хмель у Кейрнса, накапливал за сезон фунт и потом, прежде чем опять уйти в босяки, неделю жил роскошной жизнью в ночлежке на Ньюнгтон-батс. Единственную в году неделю спал на том, что условно считалось кроватью.

Уборка завершилась двадцать восьмого сентября. Осталось, правда, несколько полей, но хмель там был плохой, и Кейрнс в последний момент решил «пустить его на цвет». Бригада номер двадцать закончила участок в два часа дня, юркий цыган бригадир, карабкаясь по столбам, добрал пропущенные гроздья, и обмерщик увез остатки. Только он скрылся с глаз, раздался крик «сувай их в ведра!» и Дороти увидела, как женщины кинулись врассыпную, а к ней с самым злодейским видом несутся шестеро мужчин. Не дав опомниться, разбойники ее схватили, всунули целиком в холщовое ведро и хорошенько покачали из стороны в сторону. Затем она была извлечена и расцелована дышавшим луком цыганским парнем. Вначале Дороти сопротивлялась, но, увидав, что так же шутят со всеми женщинами, покорилась. Таков уж неизменный ритуал прощания с хмельником. Ночь подарила много праздничных удовольствий и мало сна. Далеко за полночь, под веселые куплеты «С давних пор», Дороти шла, притоптывала в общем хороводе вокруг гигантского костра, держа за руки краснощекого мальчишку из мясной лавки и совершенно пьяную старушонку в шотландской карнавальной шапочке.

Утром все двинулись на ферму получать деньги. Дороти получила фунт четыре пенса и еще пять пенсов заработала, помогая в подсчетах тем, кто ни читать, ни писать не умел. Кокни платили за такую помощь пенни, цыгане дарили медовыми словами. Потом народ повалил к станции Вест-Акворт, Дороти отшагала эти четыре мили вместе с Турлями: мистер Турль нес на плече оловянный сундук, миссис Турль несла младенца, дети несли всякую всячину, а Дороти катила вместившую полный комплект фаянсовой посуды детскую коляску с двумя круглыми и двумя овальными колесами.

На станцию прибыли в полдень. Специальный поезд должен был отойти в час, появился в два и тронулся в четверть четвертого. После фантастически медленного петляния по всему Кенту, чтобы то тут, то там подобрать дюжину или полдюжины сезонников, после тысячекратных отползаний задним ходом и бесконечных стоянок на запасных путях, пропуская все другие составы – шесть часов одолевая тридцать пять миль, поезд около девяти вечера высадил пассажиров в Лондоне.

Эту ночь Дороти спала у Турлей. Они так привязались к ней, что приютили бы и на неделю, и больше, пожелай Дороти воспользоваться их радушием. Но две их комнаты (в многоквартирном доходном доме недалеко от Тауэр-бридж-роуд) едва вмещали семерых членов семьи. Спальное место для гостьи пришлось соорудить из пары дырявых ковриков, старой диванной подушки и пальто.

Простившись, поблагодарив Турлей за всю их доброту, Дороти утром прямоиком пошла в Бермондские общественные бани и отскребла пятидневный слой грязи. Затем отправилась искать жилье, владея суммой в шестнадцать шиллингов восемь пенсов, а также тем, что было на ней надето. Дороти как могла заботилась о платье стиркой и штопкой, черный цвет тоже помогал скрывать изъяны. Благодаря тому, что в день прощания на хмельниках миссис Киллфрю, «домашний» сборщик из соседней бригады, подарила почти неношенные дочкины туфли и пару шерстяных чулок, низ костюма смотрелся даже довольно rispetably.

До вечера снять комнату не удалось. Часов десять бродила Дороти повсюду, из Бермондса в Саутворк, из Саутворка в Лэмбет, сквозь путаницу улиц, где сопливые ребятишки прыгали по тротуарам, заваленным гнилью капустных листьев и банановой кожуры. Везде, куда она стучалась, в ответ категорический отказ. Длинная вереница хмурых женщин, встававших на пороге дома так враждебно, будто она моторизованный налетчик или налоговой инспектор, осматривавших с ног до головы, цедивших коротко: «Одиноким девушек не берем» и резко хлопавших дверью. Она не знала, разумеется, что ее вид вызывал подозрения у всех добропорядочных хозяек. С линялой и затрепанной одеждой они, возможно, смирились бы, но отсутствие багажа сразу губило дело. Одиноким девушки без вещей это худший сорт человечества – таков первая из мудростей лондонских дам, сдающих комнаты.

Ближе к семи, уже не держась на ногах, Дороти осмелилась осторожно войти в крошечную неряшливую забегаловку неподалеку от театра «Олд Вик» и попросила чашку чая. Владелица кафе, заговорив и выяснив, что нужна комната, дала совет «испробовать у Мэри, которая на Веллингс-корт за мостом». У этой хозяйки особых претензий к жильцам, видимо, не имелось, лишь бы платили. Она явно не важничала, даже уличная мелюзга звала ее (значившуюся в документах как миссис Соьер) без церемоний – Мэри.

Разыскать Веллингс-корт непросто. Идешь, идешь по Лэмбет-кат, доходишь до еврейской мануфактурной лавочки «Сногшибательные брюки», круто сворачиваешь в узкий переулок, затем налево в еще более тесный проулок, где плечами едва не трешься о грязную штукатурку, на которой прилежанием юных камнерезов бесчисленно, глубоко, надежно, высечено словечко «...», и наконец попадаешь во двор, сдавленный четырьмя узкими задними фасадами с нагромождением чугунных наружных лестниц.

Справившись о «Мэри», Дороти отыскала ее в мрачном подвальном закутке. Истасканное, изнуренное существо с поразительно редкими волосенками выглядело как нарумяненный и напудренный череп. Сквозь сиплый сварливый хрип невыразимая тоска. Не задавая вопросов, почти не глядя, Мэри потребовала десять шиллингов вперед и просипела:

– Двадцать девятый. Третий этаж. С черного хода.

Черным ходом, очевидно, следовало считать темную винтовую лестницу внутри дома. Дороти стала на ощупь пробираться вдоль отсыревших стен, впитавших стойкую вонь тряпичного старья, сальных помоев и всякой гнили. На третьем этаже гремел визгливый хохот, из комнаты навстречу Дороти выскочили две бойкие девицы. Секунду они молча пялились. Совсем молоденькие лица были густо обсыпаны розовой пудрой, накрашенные губы пламенели цветущей геранью. Но среди плотной розовой замазки стеклышки глаз блестели тоскливо и равнодушно, и это отдавалось какой-то жутью, вроде маски юной девы на полумертвом старческом лице. Та, что повыше, приветствовала Дороти:

– Драсьте, лапуся!

– Добрый день.

– На новое местечко? Какую камору дали?

– Номер двадцать девять.

– Оссподи, в эту щель заткнуть! На ночь сегодня выходишь?

– Н-нет... не думаю, – сказала Дороти, несколько удивленная вопросом. – Я слишком устала.

– Сама уж вижу, что не пойдешь – марафет даже не навела. Но ты чего? Может, дошла вовсе? Гляди, не прогори на экономии. Если надо чего, помаду, там, и вообще, только шепни. Мы ведь все, знаешь, киски дружные.

– О!.. Нет-нет, спасибо, – смутившись, поблагодарила Дороти.

– Да ладно! Ну, нам с Дорис пора на выход. Оч-ченно деловая встреча на Лейстерской площади! – Тут она подтолкнула бедром подружку, и обе дурашливо, не особенно весело хихикнули.

– Слушай-ка, – доверительно прибавила высокая, – это же самый кайф, когда хоть ночку драную одной всласть покемарить. Мне б вот так! Чтоб вчистую безо всех и никакой черт ножищами не пихался. Порядочек, когда можешь так-то себя побаловать, э-э?

– Да, – сказала Дороти, чувствуя, что ответить надо утвердительно, но плоховато улавливая общий смысл.

– Ладно, до скорого, лапуся! Крепко не спи, а то как раз часика в два ищи-свищи вломятся!

Когда девицы ускакали, огласив лестницу очередным дурацким визгом, Дороти отыскивала дверь с номером двадцать девять и вошла. В лицо дохнуло промозглой затхлостью. Клетушка площадью метров шесть была обставлена незатейливо. Посередине железная койка с истрепанным одеялом и парой серых простыней, у стены на фанерном ящике цинковый таз и заменяющая кувшин пустая бутылка из-под виски. Над изголовьем выданный из «Киноэкрана» фотопортрет обольстительной Бэби Дэниель.

Серые грязные простыни были к тому же отвратительно сырыми. Не в состоянии нагишом лечь в эту пакость, Дороти разделась только до нижней сорочки, вернее до ее останков, ибо белье практически истлело. И хотя на кровати каждая мышца заныла от изнеможения, уснуть не получалось. Угнетал страх, томила неизвестность. Гнусная атмосфера беспощадно демонстрировала реальность – одиночество, бессилие, наличие всего шести держащих у края пропасти шиллингов. Не способствовало покою и то, что шумная возня вокруг с течением ночи нарастала. Сквозь хлипкие перегородки отлично слышались визг, взрывы идиотического хохота, песни мужскими хриплыми басами, рулады грампластинных комических куплетов, чмоканье поцелуев, дикие предсмертные стоны и время от времени бешеное громохканье железных коек. К полуночи шумы стали сливаться гулом монотонного прибора, Дороти впала в неглубокий, тревожный сон. Но тут же (показалось? через минуту) забытие было прервано: дверь распахнулась, вихрем внеслись два женских, судя по очертаниям, призрака, сорвали все покровы кроме простынь и унеслись. В номерах «Мэри» ввиду нехватки одеял единственным способом ликвидации дефицита служил грабеж соседей. Таких грабителей и называли «ищи-свищи».

Утром, за полчаса до открытия ближайшей публичной библиотеки Дороти пошла посмотреть газетные объявления о найме. Перед подъездом уже слонялось десятка два невнятных потертых личностей, с каждой минутой их прибавлялось, к открытию набралось не менее шестидесяти. Толпой ринувшись в открытые двери, все помчалось в дальний конец читальни, к доске с вырезанными из свежей прессы столбцами «Требуются». Вслед за искателями работы читальный зал начали заполнять обмотанные рванью пугала женского и мужского рода, проводившие ночь на улице и являвшиеся в библиотеку спать. Эти тащились поодиночке, плюхались, облегченно кряхтя, за первый свободный стол, подтягивали к себе первое, что попадалось. «Вестник Свободной церкви» или «На страже вегетарианства» – значения не имело, просто здесь полагалось изображать читающих. Над раскрытой газетой бродяги моментально, уронив подбородки на грудь, отключались. Служитель обходил зал, тыча уснувших, как кочегар поленья, они от тычков всхрапывали, просыпались, ждали, когда он отойдет, и снова проваливались в сон.

Между тем у доски с вырезками бушевало сражение: все рвались в передний ряд. Два парня в синих комбинезонах оказались сзади, теперь один из них, нагнув голову, футбольным форвардом пробивался через толпу. Минута – и цель достигнута. Оттуда крик товарищу: «Во, Джо, для нас! «Нужны механики. Камден-таун, гараж Лока», ждем туда!». Обратный футбольный проход, и оба мчатся к выходу. Туда, со всех ног в Камден-таун, скорей, скорей! А в эту же минуту из каждой библиотеки Лондона, прочтя это же объявление, другие безработные механики понеслись с упованием на то же место, которое

почти наверняка уже досталось кому-то, кто имел деньги купить газету и узнал о вакансии в шесть утра.

Наконец Дороти тоже удалось подойти к доске, списать несколько адресов, где требовалась «прислуга за все». Тут выбор был большой: казалось, половина лондонских леди призывала выносливых служанок, способных справиться со всем. Положив в карман список из двадцати адресов и подкрепив себя трехпенсовым завтраком (чай, хлеб с маргарином), Дороти отправилась устраиваться.

В первоначальном своем невежестве она не знала, что ее шансы найти работу практически равны нулю, но следующие четыре дня активно просвещали. За это время Дороти восемнадцать раз лично просила место и четырежды письменно. Прodelала огромные пешие переходы по всем южным окраинам: Клэпхем, Брикстоун, Далвич, Сиденхем, Бэкенхем, Норвуд – однажды забрела даже в такую даль, как Кройдон. Ее вели в чистенькие мещанские «залы» и подвергали допросу дамы всевозможного типа: рослые пышные крикухи, тощие кислые ехидны, бдительные ищeyки в золотых пенсне, вялые размазни из тех, что увлекаются вегетарианством и посещением спиритических сеансов. И у всех до единой, толстой или худой, черствой или чувствительной, одно – впускают, слушают, едят глазами, задают дюжину щекотливых, оскорбительных вопросов и отказывают.

Любой опытный человек заранее предугадал бы такой исход. В обстоятельствах Дороти невозможно было надеяться, что кто-то рискнет ее нанять. Против нее свидетельствовали и затрепанное платье, и отсутствие рекомендаций, а культурная правильная речь, которой она не могла скрыть, решительно ставила точку в приговоре. Сборщики хмеля, кокни и бродяги, внимания на ее язык не обращали, зато дамы из пригорода распознавали его быстро, и он пугал их точно так же, как квартирных хозяек неимение багажа. Стоило им угадать образованную барышню – стоп, игра проиграна. Дороти уже привыкла, что эхом первой ее фразы вспыхивал изумленный взгляд, жадный и любопытный женский взгляд, перебегающий с лица к натруженным рукам, от рук к штопаной юбке. Иногда ее прямо спрашивали, почему девушка высших классов ищет место прислуги. Хмыкали в уверенности, что барышня «попала в беду» (то есть без мужа родила), и, покопавшись в ней вопросами, живо спроваживали. Как только у Дороти появился адрес, она написала отцу, ответа через двое суток не дождалась, снова написала, уже в отчаянии – это было пятое ее послание, и все прежние канули в пустоту. Взывала: если он тотчас же не вышлет денег, ей не выжить! Срока для получения ответа едва-едва хватало до конца недели у «Мэри». Потом выгонят за неуплату.

Тем временем тщетные поиски работы продолжались, и последние гроши таяли в день по шиллингу (сумма, продлявшая существование, хотя оставлявшая вечно голодной). Надежды, что отец все-таки ей поможет, Дороти почти не питала. Но как ни странно, с усилением голода и убыванием шансов найти место безумное отчаяние стихло, сменившись вялым унынием. Она, конечно, мучилась, однако уже не так боялась. Подземный мир, зиявший под ногами, вблизи страшил гораздо меньше.

По-прежнему ясные, осенние дни, следуя календарю, становились все холоднее. Каждое утро солнце, безнадежно сопротивляясь нашествию зимы, еще чуть позже выходило красить фасады светлой акварелью. Дороти допоздна слонялась по улицам или сидела в библиотеке. К «Мэри» шла только ночевать и непременно запиралась придвинутой поперек двери койкой. Номера эти не были публичным домом (подобное в Лондоне исключительная редкость), но обиталищем дешевых проституток, где потому и драли десять шиллингов за каморку, вряд ли стоившую пяти. Старая «Мэри» – кстати, не домовладелица, лишь управительница – сама, как демонстрировала ее внешность, в свое время трудилась на панели. Поселиться в таком притоне значило погубить себя даже в общественном мнении Лэмбет-кат. Женщины при встрече фыркали, мужчины нагло проявляли интерес. Нахальнее всех был хозяин лавочки «Сногшибательные брюки». Плотно сбитый еврей лет под тридцать, с румяными щеками и черной каракулевой шевелюрой, он полсуток стоял на тротуаре, бесстыжей трубой ревел, что брюк дешевле нигде не сыщешь, и мешал прохожим. Всякий рискнувший хоть на миг остановиться хватался за руку и силой вталкивался в лавку. А уж там зазывала превращался в истинного головореза. Какой-либо нелестный отзыв о его товаре он предлагал опровергнуть собственным кулаком, и многие покупали сногшибательные брюки лишь по причине малодушия. Наряду с деловой активностью, он еще неустанно высматривал

«уличных пташек», и в их числе самой пленительной для него оказалась Дороти. Уразумев, что это не проститутка, хотя под кровом «Мэри» вот-вот станет, какие могут быть сомнения!? он сладострастно ждал. Завидев Дороти в конце проулка, быстро занимал озицию на углу, выпячивал богатырскую грудь, пытал пташку черным масляным глазом («ну что, уже созрела?») и напоследок нежно, деликатно щипал за зад.

В последнее оплаченное утро, спустившись вниз, Дороти с очень слабым проблеском надежды кинула взгляд на доску, где мелом писали имена получивших корреспонденцию. «Эллен Миллборо» не значилось. Итак, ничего не осталось кроме улицы. Надо уходить. Ей не пришло в голову поступить, как поступила бы каждая обитательница этого дома, – слезливо похныкать, попытаться выклянчить еще хоть ночку без оплаты. Она просто ушла, у нее даже духу не хватило сказать об этом управительнице.

Планов никаких, абсолютно никаких. Весь день за исключением получаса, когда она выходила истратить три пенса из последних четырех на чай и хлеб с маргарином, Дороти просидела в библиотеке, листая еженедельники. Утром читала «Искусство парикмахера», после полудня «Содержание певчих птиц». Другого ей не досталось; в читальне, переполненной ищущим куда себя деть народом, за всякое издание шла борьба. Свои газеты Дороти изучила от корки до корки, включая разделы частных объявлений. Подробно вникла в тонкости того, «Как править французские бритвы», «Почему негигиенична электрощетка для волос», «Помогают ли семена рапса размножению снегирей?». Только к такому занятию она и чувствовала себя способной. В теперешней невероятной апатии лучше было исследовать гигиеничность электрощетки, нежели собственное беспросветное положение. Страх совершенно ее покинул. Мысли о будущем мозг отвергал категорически; в сознании едва проглядывала даль предстоящей ночи. Впереди ночь на улице – вот все, что она знала; вернее, смутно, без интереса предполагала. Зато «Искусство парикмахера» и «Содержание певчих птиц» на удивление захватывало.

В девять часов библиотечный служитель, обойдя зал, крючком на длинной трости загасил газовые светильники, библиотека закрылась. От выхода Дороти повернула налево, затем по Ватерлоо-роуд побрела к реке. У перил железного пешеходного мостика остановилась. Дул сильный ветер. Пласты тумана, поднимаясь с воды как дюны, ползли, свивались зыбкими столбами, уносились на северо-восток. Густая сырь, пробрав сквозь платье чувствительным ознобом, резко напомнила о приближении ночного холода. Дороти пошла дальше и силой притяжения, собирающей вместе всех бездомных, пришла на Трафальгарскую площадь.

Глава III

1

Место действия Трафальгарская площадь. Сквозь туман одна из скамей у северного парапета. На скамье и вокруг нее компания в дюжину человек. Среди них Дороти.

Чарли (поет). Ав Мари, ав Мари, аве Мари-ия!.. – (Биг Бен бьет десять.)

Хрюкач (передразнивая бой часов). Ду-дум, ду-дум! Эй, там, заткнешь, что ль, свою долбаную брякалку? Семь часов еще тут на этой площади, пока будет где привалиться и соснуть. Хрен дела!

Мистер Толлбойс (сам с собой). Non sum qualis eram boni sub regno Edwardi!^[23] Во дни невинности, до той минуты, как Дьявол, вознеся меня, низвергнул в пучину черную газет воскресных! Меня, почтеннейшего приходского ректора из Литтл-Фоли-близ-Дьюзбери...

Глухарь (поет). Эх, бури-бури, бури-бури...

Миссис Уэйн. Ах, милочка, я сразу догадавшись, что вы леди, которая при воспитании. Нам-то с вами известно, как вот невыносимо так принизиться. Для нас это ж не то, как вот для некоторых.

Чарли (поет). Ав Мари, ав Мари, аве Мария милосе-ердная!

Миссис Бендигго. Муж называется, ага? Сам в рынке по четыре фунта в неделю зашибает, а жена у его «пшла вон» звезды числить на площадь драную! Муж он!

Мистер Толлбойс (сам себе). Златые дни, златые дни! Моя увитая плющом церковь подле холма цветущего, мой крытый алой черепицей ректорский дом, в куще старинных тисов дремлющий! Моя библиотека, моя теплица виноградная, моя кухарка, моя горничная,

мой садовник! Мой счет в банке, имя мое в церковном справочнике! Костюм мой черный безупречный, воротничок мой задом наперед, моя муаровая шапочка, лихой казацкою папахою средь прихожанок мелькающая...

Миссис Уэйн. Одно, за что спасибо Господу, что бедная моя мамаша не доживши видеть, как ее старшенькая, для которой на воспитание, милочки, уж ничего-то не жалели и молоко прямо из-под коровы...

Миссис Бендигго. Муж он, как же!

Рыжий. Чаю, что ли, хоть сварганим? Больше во всю ночь не хлебнешь, запрут кофейню в полонинадцать.

Живчик. Ой, Боже! Холод проклятуший, помру ей-богу! Ничегошеньки же не поддето под брюками. Ой, Боженька!

Чарли (поет). Ав Мари, ав Мари...

Хрюкач. Четыре пенса! Шесть часов шлаться – четыре пенса! А эта сволочь, шаромыга одноногая, внаглую огребает по всем пивнухам от Алдгейта до Крайней улицы. Выставит свою долбаную деревяшку, трясет бляхами ветеранскими, которых на базаре сторговал. Гад!

Глухарь (поет). Бури-бури, бури-бури.

Миссис Бендигго. Ладно, но я уж паразиту выложила, что об нем думаю. «Мужик, говорю, да? Анализ делать вот такое в бутылках носят!» И говорю ему...

Мистер Толлбойс (сам себе). Златые дни, златые дни! Бифштекс прожаренный, селяне кроткие и умиление Творца всевышнего! Утра воскресные в алтарном кресле дуба мореного, благоухание букетов свежих, шуршание стихарей крахмальных в духоте сладостной! Вечера летние, в окошко кабинета лучи закатные – и я, задумчивый, чаем налившийся и дымом трубки своей окутанный, том в переплете кожаном изящном листающий: «Лирические Грезы Вильяма Шентона, эсквайра», «Сокровища Старинной Английской Музы из собрания Дж. Лэмпри, ДБ», доктора богословия распутного...

Рыжий. Пошли хоть кто, кипятку наберем с бачка-то? Молоко есть, чай есть. Вот токо сахар драный есть у кого?

Дороти. Холод, какой холод! Просто насквозь пронизывает! Неужели вот так всю ночь?

Миссис Бендигго. Да уймись! До смерти не выношу плаксивых девок.

Чарли. А что ль не вдарит холодрыга? Гляди, тумана уж на самый столб налезло. К утру хрычу Нельсону грабли отморозит^[24].

Миссис Уэйн. Конечно, когда мы еще при нашем торговом деле состояли, когда у нас табак и сласти в лотке прямо на углу...

Живчик. Ой, Боженька! Одолжь, Рыжий, пальтом угреться. Ей-богу, подыхаю!

Хрюкач. Гад долбаный! Чтоб я в другой раз его не достал, кишки б наружу ему не выпустил!

Чарли. Солдатский фарт, старик, солдатский фарт. Сегодня костенеть на площади – завтра антрекот лопать и пуховик давить. А в четверг чертов, так чего и ждать?

Миссис Бендигго. Отлезь, отлезь, Папуля! Нужна больно мне на плече твоя башка вшивая, коли муж у меня есть?

Мистер Толлбойс (сам себе). Никем не превзойден в проповедях, псалмах и модуляциях. На всю епархию прославлен исполнением «Сердцем воспряньте». Равно был прекрасен во всех стилях церкви Высокой, Низкой, Широкой и Безразмерной. Блестяще интонировал католический вой англокошачий, рубил святыне марши англиканцев, гнусил низкоцерковное нытье и подпускал на радость сектам инакомысленным рулады ржания лошадиного...

Глухарь (поет). Эх, бури-бури...

Рыжий. Отыми когти, Живчик! Да никакой одежды ты с меня не получишь, покуда вшу свою не вытравишь.

Чарли (поет).

Ка-ак сердце жаждет хладных струй,

Ко-агда горит огнем желаний...

Миссис Макэллигот (во сне). Это ты, Майкл, мил мой?

Миссис Бендигго. Небось у его и другая живая жена была, когда подлец со мной женился.

Мистер Толлбойс (торжественным тоном священника). А если кто из вас знает причины или препятствия, мешающие соединению этих двоих священными узами брака...

Живчик. Браток! Браток драный! Пальта он драного пожалил!

Миссис Уэйн. Ну, если вы о чае разговор, так у меня привычки нету отказывать чайку попить с приятностью. Как еще живши бедная мамашенька, так мы с ней чайничек за чайничком...

Проныра-Ватсон (сам себе, гневно). Суки! Сами же наведут и сами садят. И дела даже не успеешь провернуть, а срока каждому впаяют. Суки!

Глухарь (поет). Эх, бури-бури...

Миссис Макэллигот (полусонно). Майкл мил мой... Уж вот взаправду ласков был дружок-то дорогой. Никакой боле парень мне не глянулся с той ночи, как сошлись мы за мясниковым двором, и он мне дарил сосисков, которые коло складов на свой харч выскулил.

Миссис Бендигго. Ну, я гляжу, нам чаю драного дадут в аккурат через сутки.

Мистер Толлбойс (нараспев, цитируя). «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда о тебе вспоминали, о Сион!»^[25]

Дороти. О, какой холод, какой холод!

Хрюкач. Ну все, чтоб мне до Рождества еще хоть раз тут эти звезды долбанные числить! Да я в завтрашний день выдеру свою койку, хоть бы из брюха у сволочей выдеру.

Проныра-Ватсон. Свой, говорит, сыскарь? Смит из «Летучего отряда». Иуда он летучая! Одно токо и могут, дьяволы, – повяжут ребятишек и на, судейский клюв, долбай их.

Рыжий. Ну че, пойду накапаю с бачка-то? Есть у кого медяк на кипятке?

Миссис Макэллигот (просыпаясь). О-хо-хо! Вся хребтина сломата! Езус свят, лавка эта прям поясницу впополам! А сон мне был, как бы я на постеле, и мне на тунбе чай поставлен с гренкой масляной. Ну, уж видать, не прикемарить до завтра, пока не доберуся в читальную.

Папуля (высовывая голову из пальто, как черепаха из-под панциря). Об чем ты вякнул, малый? А, деньгу за воду? Ты это скок дороги топчешь, хвост кролячий? Деньгу за драный кипятке? Ты его выскуль, парень, выскуль! Не плати, коли можно наскулить, и не скули, коли спереть можно. Такое мое слово, я ж дороги топчу с мальства самого. (Скрывается в недрах пальто.)

Мистер Толлбойс (нараспев). О все вы, чада Божии!

Глухарь (поет). Эх, бури-бури...

Чарли. А кто тя сцапал-то, Проныра?

Живчик. Ой, Боженька!

Миссис Бендигго. Отвали, отвали! Во народ, прям как под заклад скамейку хапают.

Мистер Толлбойс (нараспев). О все вы, чада Божии, хулите Господа, хулите Его, поносите во веки вечные!

Миссис Макэллигот. Ето уж, знамо дело, завсегда на нас, которые католики несчастны, валят всяку обиду клятую.

Проныра-Ватсон. Смит, морда полицейская! «Летучий» у него отряд – гнида летучая! Нарисовал, как влезть, как брать чего, а там уж фараонов полно и взяли всех зараз. Я сочинил вот, пока в Черной Мэри тряслись:

Легавый Смит, он знает ребяток замечать,

А сам-то – ... поганый, от меня передать.

Хрюкач. Эй, будет, что ли, этот долбанный чай? Давай, Живчик, ты ногу скорый, сбегай, приволоки побарабанить. Монету старой шлюхе не кидай. Похнычь, слезу пусти.

Мистер Толлбойс (нараспев). О сыны, дочери человеческие, хулите поносите Его!

Чарли. А этот Смит, видно, типчик крученный?

Миссис Бендигго. Я, девочки, скажу, что меня аж до сердца забирает. Вспомню только, что муж мой окаянный храпит под четырьмя перинами, а мне на площади околевать! Ух, паразит!

Рыжий (поет). «Счастливой парочкой...» Гляди, не слей, Живчик, с того бачка, куда сосиски ложены варить.

Проныра-Ватсон. Крученный, говоришь? Да рядом с им штопор навроде шила. В ихнем драном Летучем отряде нет такого, чтоб за десять бобов не сдал бабулечку свою на живодерню и не уселся б после на могилке чипсы хрумкать. Суки легавыя вонючие!

Чарли. Адская невезуха. И скок отсидок за тобой?

Рыжий (поет).

Счастливой парочкой

Идут ночной порой...

Проныра-Ватсон. Четырнадцать. Тебе такую карту не покрыть.

Миссис Уэйн. Что ж, он вас то есть и не обеспечивает?

Миссис Бендигго. Куда! Вот за каким вот гадом поганим замужем.

Чарли. А я девять раз адски попадался.

Мистер Толлбойс (нараспев). О Анания, Азария и Мисаил!^[26]

Хулите и поносите Его во веки вечные!

Рыжий (поет).

Счастливой парочкой

Идут ночной порой,

А мне одно-о-ой!

С разбитым сеердцем!..

Черт, три дня вроде бы щетину не скоблил, а ты, Хрюкач, рыло давно споласкивал?

Миссис Макэллигот. О-хо-хо! Коли етот парнишка чаю не притащит, у мене нутренность посохнет, как сельдь копченая.

Чарли. Не, ты запевать не годен, никто из вас. Слыхали бы, как мы с Хрюкачем в Рождество перед пивнухой заголосим «Доброго Вацлава-короля». Или псалмы адские. У парней в баре с нашей песни слеза фонтаном хлещет. А как, Хрюкач, мы с тобой, обалдевши, два раза в одну дверь-то колотились? Карга старая так орала – кишки свело.

Мистер Толлбойс (маршируя взад-вперед с воображаемым барабаном).

Тварь всякая, великая и малая,

Дыхание всякое, гнилое и усталое...

Биг Бен бьет пол-одиннадцатого.

Хрюкач (передразнивая бой часов). Ду-дум! Ду-дум! Еще тут часов шесть долбанных! Хрен дела!

Рыжий. Днем с Живчиком четыре бритвы в «Вулворте» стырили. Поскоблюсь завтра коло чертовых фонтанов, мыльца бы токо где стрельнуть.

Глухарь. Когда стювартом был в Восточном Пароходстве, два дня видал, как индийцы в ихних катамаранах черепах себе ловят океанских? во каких здоровенных, как стол целый.

Миссис Уэйн. Вы то есть ранее были духовным, сэр?

Мистер Толлбойс (останавливаясь). По чину Мельхисидека^[27]. Но отчего же «ранее», мадам? Священник всегда священник. Нос est corpus^[28], фокус-покус. Хотя лишенный сана – круассана, как у нас принято выражаться, и накрахмаленный ошейник публично сдернут самим епископом.

Рыжий (поет).

Счастливой парочкой,

Идут ночной порой...

Слава те Господи! Живчик идет. Щас будет бесплатный розлив.

Миссис Бендигго. Когда до черта уж наждешься.

Чарли. А че, брат, вышло, что уволили досрочно? Обычные дела? Девушки из церковного хора сразу в дамки?

Миссис Макэллигот. Не сильно скор ты бегать-то, а, парень? Плескай уж, дай глотнуть, пока язык со рта клятого не отпал.

Миссис Бендиго. Отлезь, Папуля! Прям уселся на мой сахар!

Мистер Толлбойс. «Девушки» исключительно для благозвучия. Обыкновенные байковопанталонные силки на холостое духовенство. Куры церковные – украшательницы амвонов, начищательницы подсвечников, девицы старые, с летами все костлявее и безнадежнее. Особый демон им назначен: вселяется, как только стукнет тридцать пять.

Живчик. Сука старая кипятку не давала. Бегал, искал какого фраера, чтоб пенни выскулить на воду.

Хрюкач. Да врешь ты! Сам небось пожрал и нахлебался.

Папуля (высовываясь из пальто). Побарабанить, а? В сам бы раз хлебнуть горяченького. (Слегка рыгает.)

Чарли. Адские тетки, сиськи виснут, как ремни для правки бритв? Знаю таких.

Проныра-Ватсон. Чай – пойло драное. Хотя лучше какавы, которая в тюряге. Дай-ка, браток, кружку.

Рыжий. Стой, я ще банку молочную раздырявлю. Есть у кого хорошее перо?

Миссис Бендиго. Потихе с моим драным сахаром! Мне прям вот интересно, кто покупал-то его?

Мистер Толлбойс. И «сиськи виснут, как ремни для правки бритв»? Благодарю тебя за тонкий юмор. Особенно пристальное внимание на страницах «Пиппинс Уикли»: «Тайный Роман Исчезнувшего Каноника. Интимные Откровения». А также «Джон Булль», поместивший «Открытое письмо Шакалу в Сутане Пастыря». Прискорбно – шел на повышение в чине. (Обращаясь к Дороти.) Скандал, понимаете ли, в благородном семействе. Вам, вероятно, не вообразить, что было время, когда этот подлейший зад плющил бархатные подушки церковной кафедры?

Чарли. А вон и Флорри. Точно знал, что как чай заварим, она подвалит. Адский нюх у девчонки на угощение.

Хрюкач. Эхма, всю жисть куски выстукивать. (Поет.)

Туки, туки, туки, тук,

Звать меня, я Черту-друг...

Миссис Макэллигот. Ай, бедна детка, мозгами не думат. Почем на Пикадилли не ходить, не снимать каждую ночь по пять бобов? Пользы ей нету тут шляться круг старых бродяг попрошайных.

Дороти. Это нормальное молоко?

Рыжий. Нормальное? (Приложившись ртом к банке, дует в одну из дырок. Из другой начинает сочиться клейкая сероватая жижа.)

Чарли. С удачей, Флорри? Видал, ты кавалера зацепила, хорош?

Дороти. На нем написано «Младенцам непригодно».

Миссис Бендиго. Ну, ты-то вроде бы уж не младенец драный. Бросай-ка, милая, свои фасоны букингемские.

Флорри. Кофем да сигареткой угостил, скупердяй вшивый! А у тебя, Рыжий, что, чаю тут есть? Рыжulenький, ты мой самый любимчик.

Миссис Уэйн. У нас ведь обществом тринадцать!

Мистер Толлбойс. Не извольте беспокоиться, ибо обеда ни в коем случае не подадут.

Рыжий. Давай, господа-дамы! К чаю накрыто. Бери кружки!

Живчик. Ой боже! У меня ж даже полчашка не налитая!

Миссис Макэллигот. Так, ну за все нам счастливы дни и завтра бы ночевку получшее! Я бы вот в церковь схоронилась, да они, б.... не пускают со страху, что им блох нанесешь. (Пьет.)

Миссис Уэйн. Что ж, не в такой совсем манере, как я привыкши чашечку чайку, но все ж таки... (Пьет.)

Чарли. Адский чаек! (Пьет.)

Глухарь. На пальмах, на кокосовых все попугаи, хвосты зеленые поболее ярда. (Пьет)

Мистер Толлбойс.

О как я опьянялся чистотою ангельских слез,

Текущих из сосудов дьявольски грязных! (Пьет.)

Хрюкач. Теперь уж до пяти чаю ни капли долбаной! (Пьет.)

Флорри вытаскивает из-под резинки чулка обломанную фабричную сигарету и клянчит спичку. Мужчины (кроме Глухаря, Папули и мистера Толлбойса) потрошат для самокруток окурки. Курильщики растягиваются на скамье, на булыжнике, на широком парапете; красные тлеющие огоньки созвездием мерцают в туманном сумраке.

Миссис Уэйн. Ну вот! Приятственно ведь так согреться чашечкой чайку? Не то чтоб это для меня нечувствительно, что безо всякой чистой скатерти, без прекрасного сервиза, который у нашей мамашеньки всегда, и уж всегда чай наилучший, какой только уж самый дорогой, по два девять за фунт...

Рыжий (поет).

Счастливой парочкой

Идут ночной порой...

Мистер Толлбойс (поет на мотив «Deutschland, Deutschland uber alles»). «Славься, славься, фикус в кадке!»

Чарли. И че, давно, ребята, вы в Коптильне?

Хрюкач. Так завтрашний день задеру эти пивнухи, не будут знать, где плешь, где пятки. Свою полкрону наскулю, хотя б подвесить да из нутра ихнего долбаного вытрясти.

Рыжий. Третий день. От Йорка перли, полдороги шкиперили. С холоду чуть не загнулся.

Флорри. Чайку, Рыжухчик, не осталось? Ладно, люди, до скорого! Утром возле Уилкинса свидемся. (Уходит.)

Миссис Бендигго. Во шлюшка прохиндейская! Сглотнет свой чай и усвистит без всякого спасибо. Прямо и секунды драной у ней нету.

Миссис Макэллигот. С холоду? Да, бывает так-то. Шкиперишь непокрытая в травнице, роса клятая как с ведра льет, огню после не разожгешь, а хошь побарабанить, поди молочка-то выпроси. Немало так было, как с Майклом мы бродяжились.

Миссис Бендигго. И с черномазым, и с косым пойдет, телка паршивая.

Дороти. Сколько же она получает каждый раз?

Хрюкач. Шестерик.

Дороти. Шесть пенсов?

Чарли. Еще и много. За сигарку под утро ходит.

Миссис Макэллигот. Ни раза не брала я помене шиллинга, ни раза.

Рыжий. Однажды в темнотище мы с Живчиком прямо на погосте залегли. Утром очухался – глядь, я на камне драном намогильном.

Живчик. На ней вошь всякая, и нижней крабовой до ужаса.

Миссис Макэллигот. В одну ночь мы с Майклом в свинарнике приладились. Ток сунулись в сарай, а он мне: «Мать Божия! Да это ж тут свинища!». А я ему: «Пушай, свинища! Теплей станет». Ну, залазим, стара свинья на боку дрыхает, храпу как с трактора. Я тихо подладилась, за шею ей обнялась и во всю ночь меня свинища угревала. Куда хуже шкиперить случилось.

Глухарь (поет). Эх, бури-бури, бури-бури...

Чарли. Во наш Глухарь шпарит без перерыва? Какая-то, говорит, жужжалка из глотки сама играет.

Папуля. Как пацаном я был, так мы чаев и бутильбродов и другой этой ерунды не потребляли. Жили тогда на настоящем, прочном корму. Мясо вареное. Пудинг на сале.

Голова пороссячья. Клебка свиная. Откармливались, как петухи бойцовые на рыжак в день. А теперь уж полсотни годов при дороге. Картоху роешь, горохи гребешь, с репы лист молодой щиплешь и все тебе. Да дрыхнуть в мокрой соломе, да брюхо до сытности не набить. Эх, ...! (Скрывается в недрах пальто.)

Миссис Макэллигот. А каков смел был Майкл, куда хошь ходил. Мы многие разы залазим в дом пустой и прям на койке спать. «Другой народ при своем доме, – скажет он мне, – а почем нам-то с тобой нету?».

Рыжий (поет). «Танцую я, слеза глаза туманит...»

Мистер Толлбойс (сам себе). Absument haeres Caecuba dignior! Да, Гораций, «нет у Цекуба наследников достойных»^[29]. Подумать только, Кло-сен-Жак – двадцать одну бутылку хранил мой погреб в роковую ночь, когда младенец на свет появился и я бежал поездом предрассветным с молочными бидонами!

Миссис Уэйн. Сколько ж венков нам было послано, когда наша мамашенька скончавшись, вам не поверить! Больших, дорогих, все с лентами...

Миссис Бендиго. Жила б я заново, пошла бы замуж ради денег.

Рыжий (поет).

Танцую я, слеза глаза туманит,

В моих объятиях все-е-м другая!

Проныра-Ватсон. Тут, гляжу, многим о себе повить охота, обида накатила, да? Че ж тогда мне, бедняге невезучему? Вас небось сразу, как восемнадцать сравнялось, на нары не кидали?

Живчик. Ой, Боженька!

Чарли. Поешь, Рыжий, как кот с отбитым потрохом. Слушай меня, даю концерт-вокал: «Ису-ус, души моей возлю-ю-убленный...»

Мистер Толлбойс (сам себе). И предстал в Крокфорде. С епископами, со архиепископами, со всей компанией небесной...

Проныра-Ватсон. Сказать, как первый раз в кутузку загремел? Родимая сестрица заложила, ага! Корова была отродясь. И мужа нашла психа богомольного: такой, сатана, богомольный, что у ней нынче десять ребятишек. Вот он ее и подучил на меня стукнуть. Но я, что они сдали меня, вравно им дал отплату. Сразу как вышел молоток купил, пошел к им в гости и пианину их на спички поколол. «На, говорю, родная, получи! Кобыла ты, говорю, сучья!».

Дороти. Как холодно, как холодно! Ноги, кажется, совершенно онемели.

Миссис Макэллигот. Остывшая уже опосля чаю дрального? Я уж вот тоже вся зазябла.

Мистер Толлбойс (сам себе). Хлопоты пастыря, хлопоты пастыря! Мои устроенные на лужайке базары благотельных салфеточек рукодельных, горшочков расписных! Мои лекции Дружным Матерям – «Миссионерство в Западном Китае», с волшебным фонарем, четырнадцать слайдов в наборе! Мой юношеский Крикет-клуб «Только для трезвенников!», мои занятия по подготовке к таинству конфирмации: воспитание непорочности раз в месяц на скамьях зала церковного! Мои бойскаутские оргии: отряду Отважных Волчат салютовать Великим Воем! Отдел моих «добрых домашних советов» читателям журнала приходского: «Поршень от вашей старой авторучки еще послужит превосходной клизмой для вашей канарейки».

Чарли (поет). «Ису-ус, души моей возлю-ю-убленный...»

Рыжий. Подымайся, братва – утюг прется!

Папуля высовывается из пальто. Появляется патрульный полицейский.

Полисмен (трясет спящих на соседней скамейке). Ну-ка, вставай, вставай! Проснись! Спать хочешь, домой иди. Ночлежку себе развели! Живо вставай! Ну!

Миссис Бендиго. Ишь ты черт, молодой да проворный. В начальники лезет; волю ему, так и дыхнуть не даст.

Чарли (поет).

Ису-ус, души моей возлю-ю-убленный,

Просторы духа открыва-а-ающий ...

Полисмен. Ну ты, заткнись! Это чего тебе, молельня у баптистов? (Живчику.) Мигом вставай и безо всяких!

Чарли. Затычки нет, сержант. В самом нутре гармоника – музыка из меня наружу как натуральность.

Полисмен (трясет миссис Бендигу). Вставай, мамаша!

Миссис Бендигу. Мамаша! Кто это мамаша? А хоть бы и мамаша, да не такому чертову сынку! Скажу еще, констебль, те по секрету: мне как захочется, чтоб меня жирной мужской лапой за тело хапали – к тебе не попрошусь. Найду кого, кто малость покрасивше.

Полисмен. Ладно-ладно! Нечего тут обиды строить, закон есть. Приказ имеем, при исполнении. (Величественно удаляется.)

Хрюкач (вполголоса). Сынок папаши долбаного, сучьей матери!

Чарли (поет).

Пока волна катится бур-рна,

Пока гр-роза гр-ремит над ней!

Последние два года я в Дартмурской тюряге басом на хоре пел.

Миссис Бендигу. Мамаша я ему! (Кричит вслед полисмену.) Че ж ты домушников дрнанных не ловишь, все ходишь суваться к женщине уважаемой, замужней?

Рыжий. Вались, братва. Уперся вроде. (Папуля уползает вглубь пальто.)

Проныра-Ватсон. А как щас в Дартмуре? Джем в завтрак-то дают?

Миссис Уэйн. Конечно, это уж действительно нельзя, чтобы народ в улицах спал. Вид как бы очень неприятный, и потачки нельзя для разных всяких, у кого жилища даже не имеется, типа вот некоторой шушеры...

Мистер Толлбойс. Златые дни, златые дни! Скаутские походы с ученицами в ближний лесок – фургончик напрокат, гладкие чалые лошадки, сам я в костюме сером фланелевом, шляпе соломенной, в неброском светском галстуке. Булочки, имбирное пиво под вязами зелеными. Дюжина школьниц скромных, благонравных, пылко резвящихся в высоком папоротнике, и я, счастливейший наставник их духовный, весьма спортивный, in loco parentis^[30] задочки девичьи пошлепывающий...

Миссис Макэллигот. Ну, кому дрых, а мне уж сна на эту ночь не станет от моих старых костей клятых. Силов нету так шкиперять, как мы прежде-то, когда с Майклом.

Чарли. Джем не дают, но сыр там теперь на неделю по два раза.

Живчик. Ой, Боже! Мочи моей нет, ток идти попроситься в Совет приютский.

Дороти встает, но едва не падает – колени одеревенели от холода.

Рыжий. Ну и загонят враз в работный дом. Двинем, что ль, утром на базар? Рано к рынку придем, яблоки-груши настреляем.

Чарли. По горло я, браток, сыт этим паршивым Дартмуrom. Нас там, сорок парнишек, адски уделали за то, что вниз пошли к старухам деревенским. Грымзы одна другой страшней. Отлично погуляли! Нас после на хлеб и воду да еще к стенке прицепили – чуть, сволочи, не загнобили.

Миссис Бендигу. Ни в жисть! Да ни ногой, пока муж чертов там ошивается. Спасибо, хватит мне и одного фингала на неделе.

Мистер Толлбойс (нараспев, цитируя).

«Как нам петь притеснителям в земле чужой?

На вербах Вавилона повесили мы арфы наши!»

Миссис Макэллигот. Держися, детка! Ногам топай, чтоб кровя бегали. В прогулку щас пойдем с тобой до Павла^[31].

Глухарь. Эх, бури-бури...

Биг Бен бьет одиннадцать.

Хрюкач. Шесть долбанных часов еще! Хрен дела!

Проходит час. Замирает очередной бой Биг Бена. Туман рассеивается, холод усиливается. Сквозь тучи по южному краю неба крадется грязноватый лунный диск.

Несколько самых закаленных бродяг остались на скамейках, где они, скрючившись, замотавшись своей одежкой, ухитряются дремать и время от времени стонут во сне. Другие разбрелись было по сторонам с намерением до утра греть себя ходьбой, однако к полуночи почти все снова на площади. Меняется полицейская смена. Новый патрульный регулярно навещает осматривать спящих, но не гоняет их, лишь проверяет, нет ли мертвых. Вокруг каждой скамейки вертятся кучки людей, поочередно садящихся и спустя несколько минут вскакивающих, не выдерживая холода. Рыжий и Чарли, набрав воды из фонтанов, идут на Чэндос-стрит с отчаянной надеждой заварить чай на клинкерной печке дорожных рабочих, но греющийся возле огня констебль велит им убраться прочь. Живчик внезапно исчезает – вероятно, просить бесплатную ночлежку в Совете приютов. Около часа ночи разносится слух, что какая-то дама-благотворительница раздает чай, бутерброды, сигареты под мостом Чаринг-Кросс, и народ стремительно несется туда. Слух оказывается ложным; площадь вновь постепенно заполняется. Непрерывная перемена сидящих и стоящих, ускоряясь, приобретает сходство с игрой в «музыкальные стулья». На скамье, сунув руки под мышки, людям удается впасть в некое полубоморочное забытие, когда две-три минуты кажутся вечностью, а в провалах темных бессвязных снов не покидает сознание мучительной реальности. Ночь все яснее и холоднее. Хор переливающихся звуков: стоны, проклятия, пение, взрывы смеха – все сквозь дробь произвольно стучащих зубов.

Мистер Толлбойс (нараспев, цитируя). «Излился я, как вода, и кости мои рассыпались!»

Миссис Макэллигот. Два часа пробродились с Эллен на Сити. Ей-бог, точно в склепу могильном. Фонарищи наскрозь тя светят, а людев нисколько нету, ток топтуны легавые впару гулят.

Хрюкач. Пять чертовых минут второго, с полдня не жрал ни крохи! Подвезло нам с этой долбаной ночкой!

Мистер Толлбойс. Я предпочел бы назвать ее «ночкой для попойки». Однако у каждого свой вкус. (Нараспев.) «Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильнул к гортани!»

Чарли. Сказать, чего щас было? Налет с Пронырой сделали. Он увидел, что у табачника в витрине «Золотых хлопьев» прям горой наставлено. «Добуду, грит, цигарок чертовых, хоть, грит, по новой пускай садят!». Навернул шарф на кулак, ждем, когда близко грузовик потяжелее загромыхает, потом Проныра в стекло нокаутом – шаррах! Мы хватить десяток пачек и дунули, пыль столбом, никто б и жопы наши не приметил. За углом одну пачку распатронили, а ни фиго! Пустых адских оберток стырили – я оборжался!

Дороти. Ног не чувствую, сейчас просто упаду.

Миссис Бендигго. Вот сволочь, гад! В такую чертову ночь женщину с дома выставить! Погоди, я тебя в субботу джином так напою,? не замахнешься. В лепешку тогда раскатаю! Станешь у меня отбитый как антрекот двухпенсовый!

Миссис Макэллигот. Эй, двиньтесь, дайте детке подсесть. Жмися, миленька, к стару Папуле, под руку ему подлезь. Пуцай блохастый, а угреет тебя.

Рыжий (притоптывая на месте). Топай ногой, ребята, другой печки нету. И запевай, черт, кто-нибудь, чтобы нам, к дьяволу, приплясывать веселей!

Папуля (просыпаясь и высываясь). Чой-то? (Сонная голова отваливается, рот открыт, острый кадык торчит из жилистой стариковской шеи подобно томагавку.)

Миссис Бендигго. Какая бы супруга то имела, что я от его приняла, она б давно щелоку ему в чай драный подсыпала.

Мистер Толлбойс (поет, стуча в воображаемый барабан). Вперед, святая рать неве-е-ерных!

Миссис Уэйн. Вот уж право! Кто бы из нашего семейства подумал бы такое, когда в прежние наши дни усядемся вокруг камина, который кафелем обложен, прямо мрамор, и чайничек кипит, и блюдо наше из фарфора, а на нем полно лепешечек, что в лавке напротив куплены, жареные, еще горячие... (Стук зубов вынуждает ее умолкнуть.)

Чарли. Ну, братва, никаких псалмов адских. Выдам вам малость похабели для веселости, чтоб руки-ноги сами в пляс. Готовь уши!

Миссис Макэллигот. Не поминала бы ты, миссис, жарены лепешки. Брюхо уж в хребет клятый влиплося.

Чарли встает, откашливается и ревет зычным голосом про «Разудалого Билла-матроса». На скамейке всеобщий хохот пополам с дрожью от озноба. Песню хором повторяют, каждый куплет все громче, притоптывая и прихлопывая в такт. Сидящие, тесно сжавшись плечом к плечу, раскачиваются и ногами словно жмут на педали фисгармонии. Даже чинная миссис Уэйн через минуту не выдерживает и, засмеявшись, присоединяется к остальным. Дружное веселье несмотря на клацающие зубы. Мистер Толлбойс, выпятив свой громадный живот, шагает взад-вперед, изображая церемонный марш то ли со знаменем, то ли с епископским жезлом. Ночь теперь совершенно ясная, временами по площади проносится сильный ледяной ветер. Холод пробирает до костей, хлопки и топот превращаются в неистовое буйство. Вдруг люди замечают идущего с восточной стороны полицейского – пение мигом стихает.

Чарли. Во как! Песенки в самый раз для подогрева.

Миссис Бендиго. Чертов ветер! И подштанников не успела натянуть, паразит прям в секунду вытолкал.

Миссис Макэллигот. Ладно уж, слав будь Езус свят, скоро в Грейз-инн нам подпол церковный на зиму откроют. Всяко будет где на ночь привалиться.

Полисмен. Прекратить безобразие, не в кабаке! Вздумали среди ночи песни орать. Всех разгоню, если вы тишину блюсти не можете.

Хрюкач (вполголоса). Пес долбаный!

Рыжий. Ну да, на каменном полу дадут подрыхнуть с тремя газетами вместо одеял. По мне, так лучше уж на Площади. Хоть бы какой дали топчан проклятый.

Миссис Макэллигот. А все ж горячего плеснут да хлебца два куска. Многи ночи рада была я и тама шкиперить.

Мистер Толлбойс (нараспев). Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень»!

Дороти (вскакивая). Ох, какой холод, какой холод! Даже не знаю, что хуже: когда сидишь или стоишь. Как вы выдерживаете? Неужели подобные ночи всю жизнь?

Миссис Уэйн. Не надо вот так думать, милочка, что здесь нету которые с благородной привычкой.

Чарли (поет). Не унывай, приятель, скоро ляжешь в гроб!.. Брр-р! Иисус адский! Грабли к черту посинели! (Бьет чечетку, хлопает себя по бокам.)

Дороти. Но как вы можете это терпеть? Всегда, из ночи в ночь, из года в год? Не может быть, чтоб люди жили такой жизнью! Пока сам не узнаешь, не поверишь. Это же невозможно!

Хрюкач. Я бы рассказал им, мать их в душу!

Мистер Толлбойс (тоном проповедника). Все возможно по милости Господней.

От слабости в коленях Дороти падает обратно на скамейку.

Чарли. Полвторого. Ну че? Коль неохота окочуриться, копыта адские надо размять или соорудить пирамиду. Кто за адский моцион до Тауэра?

Миссис Макэллигот. Ох, уж куда пойду? Ноги-то клятые боле не ходют.

Рыжий. Даешь пирамиду! Приморозило сверх нормы. Лезь все гуртом на чертову скамейку! Извиняй, мать!

Папуля (сонно). Чой-то еще? Соснуть чуток, так враз должно пихать, растрясывать?

Чарли. Вот это дело! Потеснись! Папуля, дай местечко для моей тощей задницы. Друг на дружку забирайся, сильнее теснись, на вошь плевать. Сплотись, народ, как шпроты в адской банке!

Миссис Уэйн. Нет уж! Я вроде бы, молодой человек, не приглашавши вас себе на коленки.

Рыжий. Садись, мамаша, на мои тогда, не жалко. Ух ты! От пасхи я с первой жакеточкой в обнимку!

Люди, женщины и мужчины вперемешку, сбиваются в громадный жутковатый ком наподобие лягушек в сезон метания икры. Судорожное движение стремящейся ужаться человеческой массы распространяет в воздухе запах заношенного сального рванья. Один мистер Толлбойс продолжает маршировать.

Мистер Толлбойс (декламируя). О, солнце и луна, огонь и град, все звезды и светила и небеса небес, кляните Господа!

Глухарь, которому кто-то сел прямо на грудь, издает странный, невоспроизводимый звук.

Миссис Бендиго. Пшел ты с моей больной ноги! Я те чего? Тахта что ль чертова гостинная?

Чарли. Как, не пованивает наш Папуля, когда впритирку?

Рыжий. Щас будет для вши большой банкет.

Дороти. Боже, Боже!

Мистер Толлбойс (останавливаясь). Зачем к Богу взываешь, грешник, на одре смертном воющий, скулящий? Ропщи и по примеру моему воспой нечистого: хвала тебе, Люцифер, князь тьмы! (Поет на мотив «Свят, свят, свят».) «Инкубы и суккубы^[32], пред Вами смиренно упадая!...»

Миссис Бендиго. Да заткнись, дьявол богохульный! Жиром оброс, так холод его не берет.

Чарли. Хороша задница у тебя, мать, прям перина. Карауль, Рыжий, как утюг с угла покажется!

Мистер Толлбойс. Maledicite, omnia opera^[33]. Славься черная месса! Священник всегда священник. Дайте бифштекс с кровью и чудо вам сотворю. Серные свечи, «Отче наш» задом наперед, распятие вверх ногами. (К Дороти.) Будь у нас черный козел, вы тоже, барышня,годились бы.

Тепло в куче сбившихся тел становится ощутимым. Всех охватывает дремота.

Миссис Уэйн. Вы не подумайте, чтобы в моей привычке у джентльмена на коленках.

Миссис Макэллигот (сонно). Каждый раз причащалася дотоль, как чертов поп не захотел грехов мне отпустить за Майкла моего. Среди этих попов есть таки поганцы клятые!

Мистер Толлбойс (приняв позу священника). Per aquam sacratam quam nunc spargo, signumque crucis quo nunc facio^[34]...

Рыжий. Есть у кого табачку? Последний чинарик чертов скурил.

Мистер Толлбойс (словно с амвона). Братья возлюбленные, пред очами Господа нашего собрались мы на праздник святой богохульства глумливого. Преследует Отче нас грязью и хладом, голодом и одиночеством, зудом и сифилисом, вошью головной и подбрюшной. Пища наша – корки размокшие и мяса обеды скользкие, в кульках газетных нам небрежно брошенных. Радость наша – перекипевший чай и кексы задубевшие, в щелях вонючих поглощаемые, стаканчик жижи пивной кислой и объятия мегер беззубых. Конец наш – яма общая на двадцать пять гробов, ночлежка подземельная. И оттого долг наш святой – вовеки проклинать и поносить Его. И потому со демонами, с архидемонами ...

Миссис Макэллигот. Езус свят, кажись, усыпаю. Ох, и кака чума долбана впоперек на мне все ноги давит?

Мистер Толлбойс. Аминь. От зла нас избавляй, но от соблазнов не уводи...

С первыми словами своей молитвы он переламывает освященный хлеб, из которого струится кровь. Слышится громовой раскат, пейзаж меняется. Ноги у Дороти ледяные. В клубах тумана носятся чудовищные образы крылатых демонов и архидемонов. Нечто, клюв или коготь, впивается в плечо Дороти, возвращая ей ощущение жестокой ломоты в конечностях.

Полисмен (тряся Дороти за плечо). Ну-ка давай, проснись-ка! Пальто нет? Белая как смерть. Ничего лучше не придумала, как здесь на холоде заснуть?

Дороти чувствует, что совершенно околела. На ясном, очень высоком небе колючки звезд светятся дальними электрическими фонариками. «Пирамида» разъехалась.

Миссис Макэллигот. Бедна детка, не может тягости сносить, как нам в обычай.

Рыжий (колотя себя ладонями). Брр-р! У-ух! Веселуха чертова могильная!

Миссис Уэйн. Она леди порядочная, с воспитанием.

Полисмен. Так, да? Эй, мисс, пошли-ка ты со мной в Совет приютский. Не бойся, кровать там тебе дадут. Видно, что ты этих-то всех повыше.

Миссис Бендигго. Спасибо, констебль! Слыхали, девочки? «Повыше» он нашел! Ишь ведь любезный! (Полисмену.) А ты, что ль, джентльмен чертов с моноклем?

Дороти. Нет-нет! Не надо. Мне было бы лучше остаться здесь.

Полисмен. Ну, как желаешь. Вид-то у тебя совсем плохой. Попозже подойду еще взглянуть. (Отходит в некотором сомнении.)

Чарли. Как уют адский за угол свернет, наваливайся, братцы, по новой. Один приемчик для согрева.

Миссис Макэллигот. Нукося, детка, жмись ко мне под бок.

Мистер Толлбойс (нараспев). «Излился я, как вода, и кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей!»

Снова все громоздятся на скамейке. Теперь, однако, температура почти нулевая и ветер хлещет просто зверски. Зарываясь лицами внутрь груды, люди похожи на поросят, толкающихся в поиске материнских сосков. Дремотные провалы сокращаются до нескольких секунд, сонные видения становятся еще кошмарнее и фантастичнее. В куче то довольно бойкие разговоры и даже шутки, а то лишь яростные молчаливые попытки сжаться и болезненные стоны. Мистер Толлбойс внезапно изнемогает, монолог его переходит в бред; всей своей объемистой массой он рушится на остальных, едва их не задушив. «Пирамида» разваливается. Некоторые остаются на скамейке, другие сползают наземь или приваливаются к парапету. Подошедший патрульный приказывает немедленно подняться. Лежащие встают, но только полисмен отходит, снова падают. Уже никаких звуков кроме храпа, перемежаемого стонами. Головы сидящих мотаются, как у китайских болванчиков. Мгновения сна и пробуждения в ритме часового маятника. Доносится три мерных удара. С восточной стороны площади раздается громкий клич: «Ребята! Сюда! Газет дают!».

Чарли (вздрагивая и просыпаясь). Газеты адские! Рванули, Рыжий? Крутой забег!

Они бегут, вернее торопливо ковыляют, к углу, где юными расклейщиками бесплатно раздаются излишки утренних газетных афиш, и притаскивают целую пачку. Пятеро крепких мужчин тесно садятся на скамейку, укладывают четверых женщин и Глухаря поперек колен, затем с диким трудом (укрытие ведь строится изнутри), запихивая края листов себе под горло и за спину, сооружают огромный, в несколько слоев бумажный кокон. Из него торчат только головы и ступни; сверху тоже нахлобучены газетные колпаки. Бумага постоянно где-нибудь отворачивается, впуская жгучий холод, однако теперь уже возможно дремать по пять минут подряд. В это время – с трех до пяти утра – у полицейских не принято тормозить спящих на площади. Тепло понемногу все же накапливается, притекая даже к ногам. Под газетами не обходится без некоторых тайных нежностей с дамами. Но Дороти сейчас слишком плоха, чтобы ее это тревожило. Около четверти пятого бумага окончательно смята и разодрана – сидеть больше нельзя. Люди встают, чертыхаются, обнаруживают, что ногам стало чуть легче, и начинают парами слоняться туда-сюда, частенько останавливаясь из-за нехватки сил. Желудки у всех свело от голода. Вскрывается еще одна припасенная Рыжим банка сгущенки, которая вмиг дружно опустошается путем обмакивания и обсасывания пальцев. Те, у кого в кармане пусто, бредут в соседний Грин-парк, где их никто не будет беспокоить до семи. Те, кто имеют хоть полпенса, направляются в кафе Уилкинса, в сторону Чаринг-кросс. Все знают, что никогда раньше пяти там не откроют, и тем не менее без двадцати пять перед входом уже толпа.

Миссис Макэллигот. Полпенни-то хоть есть при тебе, детка? Поганцы четырех токо пускают на один чай.

Мистер Толлбойс (поет). Ранней зарей вознесу я хвалу Тебе!

Рыжий. Вроде со сна, что под газетой прихватили, маленько получшело. (Поет.) Танцую я, слеза глаза туманит...

Чарли. Э, парни, парни! Гляди в окно, ух, теплотища там – стекло упарилось! С бачков, гляди, кипятки каплет, гренок и хлебца с ветчиной адские кучи, на сковородочках сосисочки шкворчат! Ну че, не свистит брюхо от таких видов?

Дороти. У меня пенни. Можно заказать чашку чая, этого хватит?

Хрюкач. Много сосисок долбанных отвалят на наши четыре пенса! Чаю, может, полчашку с драным пончиком. Вот те весь завтрак!

Миссис Макэллигот. Да целу чашку на себя не надобно. Мой пенс да у Папули пенс, и сложимся трое один чай брать. А что чирей у деда на губе, кака забота? Пей коло ручки, так ниче и не пристанет.

Часы бьют без четверти пять.

Миссис Бендигго. Крону ставлю – у паразита моего на утро жареная пикша. Хоть бы застрял кусок у гада в глотке!

Рыжий (поет). Танцую я, слеза глаза туманит...

Мистер Толлбойс (поет). Ранней зарей вознесу я хвалу Тебе!

Миссис Макэллигот. У их то хорошо, что спать дают башкой на стол до семь часов. Одна клятая благодать бродяжкам с площади.

Чарли (облизываясь, как голодный пес). Сосисочки! Сосиски адские! Гренки сырные с маслом! Мяса ломоть жирный с картошечкой, с пинтой хорошего пивка! О, Иисус адский!

Чарли бросается в атаку, расталкивает очередь, гремит ручкой стеклянной двери. Вся толпа, человек сорок, напирает, пытаясь штурмом взять крепость мистера Уилкинса. Хозяин яростно грозит через стекло. Кое-кто грудью и лицом жметя к окну, словно отогреваясь видом теплого зала. В сопровождении франтоватых парней в светлых костюмах из переулка с воплями выскакивают Флорри и четыре ее подружки (проведя часть ночи на кроватях, девушки относительно бодры). Натиск этой буйной ватаги так сильно швыряет толпу вперед, что засовы едва не взломаны. Свирепо двинув створкой, мистер Уилкинс отпихивает навалившихся на дверь. В холодном уличном воздухе растекается парное облако ароматов кофе, жареных гренков, сосисок и копченой рыбы.

Голоса парней сзади. Нельзя, что ли, пораньше-то открыть? Оголодали тут уже совсем, на хрен! Давай, тарань дверь! Навались, люди!

Мистер Уилкинс. Пошли вон! Я сказал, вон! Не уйметесь, чертом клянусь, никого не пущу сегодня!

Голоса девиц сзади. Мис-тер Уил-кинс! Мис-тер Уил-кинс! Ой, будьте лапочкой, пустите! Поцелуем, приласкаем за просто так. Ой, будьте лапочкой!

Мистер Уилкинс. Вон, сказано вам! До пяти не открываем, знаете. (Хлопает дверью.)

Миссис Макэллигот. Езус свят, ети вот десять минуток длиньше чем цела ночка! Ладно, дам пока отдыху ногам-то старым. (Садится на корточки, многие следуют ее примеру.)

Рыжий. Есть у кого полпенни? Иду в долю на пирожок.

Голоса парней (изображают военный оркестр и поют).

...! И это все, что знали музыканты!

...! ...! И для тебя того же!

Дороти (обращаясь к миссис Макэллигот). Вы только посмотрите на нас! Как мы одеты и какие лица!

Миссис Бендигго. Сама-то, извини, не то чтоб Грета Гарбо.

Миссис Уэйн. Что это времечко уж так медлительно идет, когда чашечку чаю в ожидании?

Мистер Толлбойс (нараспев). «Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле!»

Чарли. Копчушки! Кучами адскими! Через стекло подыхаю с адского запаха.

Рыжий (поет).

Танцую я, слеза глаза туманит,

В моих объятиях все-ем другая!

Тянется вечность. Бьет пять. Проползают еще какие-то невыносимо долгие века. Внезапно дверь распаивается, и люди стремглав кидаются захватывать места в углах. Почти теряя сознание от жары, они не садятся, а падают; бессильно навалившись на столы, всеми порами впитывают тепло и запахи съестного.

Мистер Уилкинс. Ну вы! Правила знаете, и чтоб без фокусов! До семи дрыхните, коли охота, но после за примечу какого храпака – враз в шею! А теперь, девушки, живо за дело, тащите чай!

Оглушительный хор. Два чаю сюда! На четверых большую чашку с пирожком! Копчушек! Мис-тер У-ил-кинс! Почему это сосиски? Пару! Мис-тер У-ил-кинс! Цигарку свернуть бумажки нету? Коп-чу-шек! Рыб-ки!..

Мистер Уилкинс. Тихо! Кончай орать, не то обслуживать не станем!

Миссис Макэллигот. Чуешь, миленька, как жар обратно в ногу текет?

Миссис Уэйн. Что это грубости какие хозяин произносит? На мое мнение, он не особо джентльмен.

Хрюкач. Во голодуха-то подперла, хрен дела! Пару сосисок бы для счастья!

Девицы (хором). Копчушек нам! Мис-тер У-ил-кинс! Копчушек нам сюда на всех! И пирожков!

Чарли. Не слабо! Хоть нанюхаться этой жратвой. Поинтересней чем на адской площади.

Рыжий. Э, слышь, Глухарь! Ты скоко уже отпил? Гони назад чертову чашку!

Мистер Толлбойс (нараспев). «Тогда уста наши были полны веселия, язык наш – пения!»

Миссис Макэллигот. Ей-бог, валяю с тутошной жары.

Мистер Уилкинс. Кончай там песни! Правила не знаешь?

Девицы (хором). Коп-чу-шек!

Хрюкач. Долбанные пирожки! Рыбехи драные! Кишки у меня крутит.

Папуля. Чай разве нынче-то? Вместо чаю чуток пыли в воде наварят и подают. (Рыгает.)

Чарли. Теперь козырь – всласть покемарить. А во сне адский антрекот с двойным гарниром. Клади, народ, башки на стол, сдвигайся для удобства.

Миссис Макэллигот. К боку мне привалился, детка. На моей кости и то мякоти боле, чем в тебе.

Рыжий. Шестерик дал бы щас за чертову цигарку, если б имелся чертов шестерик.

Чарли. Сплотись! Башку свою, Хрюкач, давай к моей. В порядке. Иисусе адский, как я щас задряхну!

К столику проституток несут блюдо жирных копчушек.

Хрюкач (засыпая). Копчушки еще драные! Сколько ж ей раз в койку водить, чтоб покупать по стольку?

Миссис Макэллигот (в полусне). Кака тоска, кака была тоска-то, как Майкл от меня ушел. Кинул с дитем клятым и что хотишь.

Миссис Бендигго (гневно тыча пальцем в проплывающий мимо поднос). Гляньте-ка, девочки! Вы гляньте-ка! Не взбесишься? Че нам-то в завтраки копчушек не дают? Шлюхам-то драным полны сковородки, а мы вчетверо с одним чаем и рады до смерти! «Копчушки»!

Мистер Толлбойс (тоном священника). Возмездием вам за грехи будут копчушки!

Рыжий. Не сопи в рожу мне, Глухарь! Прямо рвет меня!

Чарли (во сне). Чарльз Уиздом, обнаружен пьяным на тротуаре – мертвецки пьяным? – да, ваша честь – шесть шиллингов! – проходи – следующий!

Дороти (на груди миссис Макэллигот). О, рай блаженный!

Все спят.

2

Такую жизнь Дороти вела десять дней; точнее, девять дней и десять ночей. Выбора просто не было. Отец, по-видимому, совершенно ее отверг, и хоть имелись в Лондоне друзья, готовые помочь, могла ли она появиться перед ними после всего, что с ней случилось (или предполагалось с ней случившимся). В пункты общественного милосердия она тоже не смела обратиться, ибо там обнаружилось бы ее подлинное имя и тогда вновь, наверное, пошел бы шум насчет «Дочери Ректора».

Итак, она осталась в Лондоне. Примкнула к редкостному, малочисленному, но никогда не вымирающему племени – племени женщин, у которых ни гроша, ни крова, зато есть воля довольно успешно это скрывать. К племени тех, кто зябким ранним утром очень тщательно умывается у фонтанчиков, очень аккуратно разглаживает на себе смятое платье и так

прилично, так достойно держится, что лишь особенная, до костей, кажется, бледность выдает участь этих горемык. Способностей к царящему вокруг лихому нищенству Дороти не имела. Первые свои сутки на улице обошлась вовсе без еды – только чай (одна кружка ночью на площади и треть чашки утром в кафе Уилкинса). Но поздно вечером, вконец оголодав и восприняв наглядный опыт сотоварищей, подошла к проходившей незнакомке и вымолвила, запинаясь: «Мадам, прошу вас, не могли бы вы мне уделить хотя бы пенни? Я со вчерашнего дня ничего не ела». Дама воззрилась в изумлении, однако достала кошелек и протянула три пенса. Не знала Дороти, что деликатная манера речи, столь гибельная в поисках места прислуги, для нищенского ремесла бесценный дар.

Как выяснилось, набирать свой ежедневный, необходимый для продления жизни десяток пенсов довольно легко. И все же Дороти не шла просить – собственно, даже не могла, – пока не подводило живот или не требовался пенни-пропуск в кафе Уилкинса. Вот вместе с Нобби по пути на хмельники она кланчила и бесстрашно и бессовестно. Но тогда все было иначе; она буквально не ведала, что творит. А сейчас только жесточайший приступ голода наделял храбростью охотиться за медяками, подстерегая женщин с милыми, добрыми лицами. Всегда женщин, конечно. Лишь однажды Дороти попыталась обратиться к мужчине, опыт был неприятный.

Что касается всего остального, она быстро привыкла. Обычными стали нескончаемо длинные ночи, холод, грязь, скука и диковатый уличный коммунизм. Через день-два уже ни искры удивления. Стала как все вокруг нее, смирилась с этим чудовищным существованием, как с некой житейской нормой. Вернулось, завладев полнее и сильнее, пережитое на хмельниках ощущение постоянной странной одури (результат бессонницы, а еще более – бесприютности). Когда сутками крутишься на улице, не проводя под крышей дольше двух часов, сознание тормозится: слепнет, как глаз от режущего света, глохнет, как ухо от мощного грохота. Действуешь, страдаешь, чего-то хочешь, но все словно чуть-чуть не в фокусе, чуть нереально. Мир и снаружи и внутри тускнеет, расплываясь каким-то полусном.

Между тем Дороти уже заприметила полиция. Население Площади в своем непрерывном движении почти неуловимо. Люди тут появляются ниоткуда, несколько дней гнездятся со своими узлами и котелками и столь же таинственно исчезают неведя куда. Если болтаешься больше недели, запомнят, признают закоренелым бродягой и рано или поздно арестуют. Неукоснительно блюсти запрет на нищенство невозможно, так что в ходу у полицейских внезапные облавы, когда хватают парочку самых примелькавшихся. Именно это и настигло Дороти.

«Замели» ее однажды вечером в компании с миссис Макэллигот и еще какой-то (безымянной для Дороти) теткой. Неосторожно стали кланчить у старой чопорной злющего вида дамы, а леди тут же позвала констебля и сдала их.

Дороти не особенно противилась. Все было как во сне: лицо гневно их обличающей старухи и мягкая, можно сказать почтительная, рука ведущего в участок молоденького полисмена. Потом белые кафельные стены временной камеры, добряк сержант, дающий ей через решетку чай и обещающий мягкость судьи в ответ на покаянное признание. В соседней камере миссис Макэллигот вопила, орала на сержанта, обзывая его «клятым поганцем», за полночь все еще шумно горевала о своей горькой участи. Дороти ничего не чувствовала кроме смутного облегчения от того, что попала в такое чистое, теплое место. Она сразу вползла на откидной деревянный щит, служивший койкой, не осилилась даже одеяло натянуть и проспала десять часов, не шелохнувшись. Реальность положения для нее стала проясняться лишь наутро, когда колеса Черной Мэри свернули на Олд-стрит, к Полицейскому суду, откуда неслось хоровое «Услышь, Господи!» в исполнении квинтета пьяных арестантов.

Глава IV

1

Дороти была несправедлива, сочтя, что отец равнодушно предоставил ей гибнуть от голода и холода. На самом деле он приложил определенные усилия, дабы установить с ней связь, хотя действовал косвенно и не слишком плодотворно.

Вначале факт исчезновения дочери вызвал у него только гнев, просто гнев. Около восьми утра, когда Ректор начал уже раздумывать о катастрофах, постигших воду для бритья, на пороге спальни явилась Эллен, панически забормотавшая:

- Пожалуйста, сэр, нету нисколечко мисс Дороти, сэр. По всем местам ее смотрела!
- Что? – нахмурился Ректор.
- Нисколечко нет, сэр. И кровать тоже на вид как бы нисколечко не мятая! Она, видать, как бы ушедши, сэр!
- Ушедши! – воскликнул Ректор, слегка приподнимаясь. – Ты что такое говоришь – ушедши?
- Это вот, сэр, что, видать, она с дому убежавши, сэр!
- Убежала? В это время дня? А как же, Господи помилуй, мой завтрак?

Сойдя наконец вниз (небрityм – никакой горячей воды так и не подали), Ректор не нашел даже Эллен, которая отправилась в город, чтобы там с полной бесполезностью расспрашивать о Дороти. Час миновал, служанка не возвращалась. И тогда совершилось ужасное, беспрецедентное, то, о чем не забыть вовек! Ректор был вынужден самостоятельно готовить себе завтрак – да, именно: возиться с закопченным вульгарным чайником и датским беконом собственноручно, своими священными перстами.

Естественно, после этого сердце его восстало против Дороти. Остаток дня ввиду бесчисленных возмутительных нарушений в порядке трапез ему некогда было задаваться вопросом, почему исчезла дочь и не стряслось ли с ней беды. Главное заключалось в том, что докучливая девушка (несколько раз он поминал «докучливую девушку» и едва не высказывался сильнее) вдруг исчезла, перевернув хозяйство вверх дном. Но назавтра вопрос возник и весьма настоятельно, ибо устами миссис Семприлл по всему городу оглашалась новость о тайном романтическом побеге. Конечно, Ректор яростно это опровергал, хотя в недрах души им допускалась возможность некоторого правдоподобия. Нечто подобное Дороти, как он теперь убедился, вполне могла вытворить. Девушка, исчезающая из дома, забыв даже про завтрак для отца, способна на что угодно.

Через два дня за историю ухватились газеты, в Найп-Хилл примчался юркий молодой репортер. Усугубляя ситуацию, Ректор наотрез отказался от интервью, так что в печати тиражировалась исключительно версия миссис Семприлл. Приблизительно неделю, пока газетчики не бросили сюжет о Дороти ради всплывшего в устье Темзы плезиозавра, Ректор пользовался кошмарной популярностью. Стоило ему раскрыть газету, навстречу непременно полыхал заголовок типа «Дочь Ректора. Новые откровенные детали» или «Дочь Ректора. Притоны Вены? Сообщение из Кабаре Сомнительного Сорта». А в довершение всего очерк воскресного «Глазка», который начинался словами «Там, в суффолкской глуши, в доме священника, дряхлый и сломленный старик сидит, вперившись неподвижным взором...» и был уже столь безобразен, что Ректор обратился к своему адвокату относительно иска о клевете. Адвокат, однако, не рекомендовал, предполагая рассмотрение дела судом присяжных и предвидя лишь усиление нежелательной огласки. В результате Ректор не делал ничего, а гнев на дочь, покрывшую его позором, ужесточался.

Затем от Дороти прибыли три письма с объяснениями. Ректор, разумеется, ничему не поверил. Утрата памяти? Абсолютно нелепый вымысел! Либо действительно сбежала с этим Варбуртоном, либо в итоге иной какой-то эскапады застряла теперь в Кенте без гроша, решил отец. Как бы то ни было – на этом он утвердился раз и навсегда, недостижимый для любых аргументов, – во всем только ее вина. И Ректор тоже написал; правда, не Дороти, а своему кузену Тому, баронету. У человека благородного в крови привычка искать помощи знатных богатых родственников. Последние пятнадцать лет, вследствие ссоры, вызванной каким-то пустячным займом пятидесяти фунтов, они с кузенем не обменялись ни словом, тем не менее Ректор достаточно уверенно просил сэра Томаса по возможности связаться с Дороти и подыскать ей место в Лондоне. О возвращении дочери в Найп-Хилл при данных обстоятельствах, конечно, речи быть не могло.

Вскоре пришли еще два письма Дороти, отчаянно зовущей спасти ее от голода и умолявшей выслать деньги. Ректор обеспокоился. Его вдруг осенило – впервые в жизни он всерьез воспринял такую мысль, что отсутствие денег может оставить без еды. После глубоких, продолжавшихся почти неделю, размышлений было продано акций на десять фунтов и чек отправлен кузену с тем, чтобы тот хранил эту сумму до появления Дороти. Одновременно самой дочери было составлено письмо, где ей холодно предлагалось обращаться к сэру Томасу Хэйру. Но по причине весьма сомнительной (не совсем, как

чудилось Ректору, законной) необходимости использовать фальшивый адресат «Эллен Миллборо», уведомление еще несколько дней ждало отправки и, разумеется, опоздало. Когда письмо, наконец, очутилось «у Мэри», Дороти уже жила на улицах.

Сэр Томас Хэйр являл собой вдовца шестидесяти пяти лет, славного незлобивого болвана с завитушками усов на туповатой розовой физиономии. Вкус его отличался верностью клетчатым пальто и котелкам с лихо подкрученными полями? чертовски элегантным, очень модным четыре десятилетия назад. Поражая в момент знакомства детальным совпадением с образом кавалерийского майора конца ушедшего столетия, он тотчас отсылал воображение к игральным косточкам, стаканам бренди с содовой, колокольчикам кабриолетов, легендарным героям крикета и Лотти Коллинз с зажигательной «Тарара-бум-бией». Но характернейшей его чертой был беспредельный умственный хаос. Через слово повторяя «да! да!», «вот! вот!» и увязая на середине каждой фразы, он в замешательстве или недоумении дыбил рожки усов, что придавало ему вид бесспорно благородной, но исключительно безмозглой креветки.

По собственному побуждению сэр Томас Хэйр отнюдь не жаждал помогать своим кузенам, поскольку Дороти он знать не знал, а Ректора числил в разряде бедной назойливой родни. Однако вся эта история насчет «Дочери Ректора» стала, в конце концов, просто несносной. Дурацкий случай, наградивший Дороти той же фамилией, превратил пару последних недель в пытку, и сэр Томас предчувствовал еще более шумные, непристойные скандалы, если не укротить девицу. С этой целью он накануне выезда из Лондона (его ждала охота на фазанов) позвал дворецкого, служившего также доверенным лицом и мудрым визирем.

– Слушай, Блайф, чертово проклятье! – напыжившись креветкой, сказал сэр Томас. (Блайфом звали дворецкого). – Видел ты все эти штуки в газетах, а? Про это самое, «Дочь Ректора»? Про эту самую проклятую мою племянницу?

Блайф, миниатюрный человечек с остреньким личиком, говорил всегда только шепотом. Вернее, еще тише, так тихо, как вообще способен звучать голос практически беззвучный. Лишь затаив дыхание и пристально следя за его губами, возможно было уловить общий смысл сказанного. В данном случае губы дворецкого передавали нечто о том, что Дороти приходится сэру Томасу не племянницей, а кузиной.

– Что? Кузина? – поймал сигнал сэр Томас. – А верно, клянусь Богом! Ладно, послушай, Блайф, ты вот что – пора чертову девицу изловить, куда-нибудь запрятать. Понял? Пока она того, еще фортель не выкинула. Как бы напасть на ее след, а? Полиция? Частные сыщики и все такое? А? Как думаешь?

Губы Блайфа выразили неодобрение. Похоже, он сообщал, что есть приемы отыскать Дороти без обращения в полицию и всякой неприятной публичности.

– Молодец! – одобрил сэр Томас. – Ну ты займись этим. Денег не жалко. Я бы полсотни дал, чтобы прикончить чертову возню с «Дочерью Ректора». Да! Слушай, Блайф, – добавил он, понизив голос, – и как найдешь проклятую девицу, глаз с нее не спускай. Тащи сюда, держи здесь, дьявол бы ее побрал! Ты понял? Под замок запри, пока я не вернусь. Черт ее, что ей еще в голову взбредет.

Можно, конечно, извинить сэра Томаса, никогда не видевшего кузину и представлявшего ее, исходя из газетных сообщений.

Розыски заняли у Блайфа меньше недели. Как только Дороти вышла из Полицейского суда (ей назначили штраф шесть шиллингов и ввиду неуплаты двенадцать часов в камере; миссис Макэллигот, как злостной рецидивистке, дали семь суток), ожидавший Блайф, приподняв котелок на четверть дюйма, бесшумно справился о том, не является ли она мисс Доротеей Хэйр? Со второй попытки Дороти разгадала вопрос и созналась, что является. Тогда Блайф пояснил, что направлен желающим оказать помощь кузену, в дом которого ему надлежит тотчас же ее проводить.

Не говоря ни слова, Дороти последовала за дворецким. Внезапный интерес кузена казался странным, но не страннее всего остального, в последнее время происходившего. Блайф купил билеты на автобус, они доехали до Гайд-парк-корнер и оттуда пришли к огромному роскошному особняку, закрытые ставнями окна которого выходили частью на Найтсбридж, частью на Мэйфер^[35]. Не поднимаясь к парадному подъезду, спустившись по

ступенькам немного вниз, Блайф вынул ключ и отпер дверь. Вот так, с черного хода, Дороти вновь вернулась в респектабельное общество.

Три дня до возвращения кузена Дороти прожила в пустом особняке. Странные одинокие дни. В доме были слуги, но она никого не видела, лишь Блайфа, приносившего еду и говорившего беззвучно, с неясной смесью почтительности и подозрительности. Он все не мог определить статус гостыи, то ли достойной молодой леди, то ли спасенной Магдалины, а потому вел себя в двойственной манере, обращаясь к чему-то среднему. Вокруг стояла та, присущая домам в отсутствие хозяев, мертвая тишина, из-за которой безотчетно ходишь на цыпочках и не решаешься раздвинуть шторы. Дороти даже не осмеливалась заходить в парадные покои. Днем тихо таилась наверху, в пропыленной комнате, некоем частном музее всякого старья. Пять лет назад скончавшаяся леди Хэйр усердно коллекционировала хлам, большую часть которого теперь сложили здесь. Было бы затруднительно определить вещь самую диковинную: пожелтевший снимок совсем юного отца Дороти, несколько напряженно предъявляющего себя и свои первые бакенбарды возле забавного высокого велосипеда (дата под фотографией – 1888), или крохотная сандаловая шкатулка с этикеткой «Ломтик Хлеба, тронутый рукой Сесила Родза^[36] на Южноафриканском банкете в Сити, июнь 1897». Единственными книгами тут были несколько ужасающих школьных наград, врученных отпрыскам сэра Томаса (их насчитывалось трое, младшее чадо одних лет с Дороти).

Дороти поняла, что слугам оставлено распоряжение не выпускать ее. Однако же имелся чек от отца, и она, с немалыми трудами уговорив Блайфа получить эти десять фунтов, на третий день вышла купить себе одежду. Выбрала твидовый жакет, юбку и блузку в тон, шляпку, очень недорогое платье искусственного шелка, а также скромные коричневые туфли, три пары фильдекосовых чулок, скверный дешевый ридикюльчик и серые нитяные перчатки, способные даже вблизи казаться замшей. Все это стоило ей восемь фунтов десять шиллингов, больше она истратить не решилась. Белью, ночным сорочкам и носовым платкам придется подождать. В конце концов, главное то, что видят на тебе.

Прибывший следующим днем сэр Томас так никогда и не оправился от шока, вызванного видом Дороти. Мысленно ему рисовалась некая, вся в пудре и румянах сирена, не дающая покоя соблазнами, которым он, увы! уже не был способен поддаваться. Сельская барышня с оттенком старой девы спутала все расчеты. Порхавшие в его мозгу тени смутных идей пристроить ее маникюршей либо секретаршей к букмекеру улетучились. Частенько потом Дороти ловила на себе пристальный вопрошающий взгляд криветки, чрезвычайно озадаченной тем, как же это такая девушка участвовала в тайном любовном бегстве. Следовало, конечно, объяснить, что ни с кем она не сбегала. Дороти изложила кузену всю историю событий, он рыцарственно покивал: «О да, м-м, дорогая, о да!» и затем постоянно проговаривался, что не поверил ни слову.

Несколько дней прошло в неопределенном бездействии. Дороти по-прежнему днем одиноко сидела наверху, сэр Томас основное время проводил в своем клубе, главным образом в клубном ресторане, а вечерами им строились планы самой неопиcуемой туманности. Сэру Томасу искренне хотелось найти для Дороти работу, но память его не способна была удержать что-либо сказанное минутой раньше.

– Вот, м-м, дорогая, – начинал бывало он. – Ты меня понимаешь, да, я очень бы желал тебе помочь, содействовать, да-да. Естественно, будучи твоим дядей и все такое... что? А? Нет, не дядя? Да, в самом деле, вот, вот! Кузен – вот как, кузен. Ну так, м-м, дорогая, будучи твоим кузеном... а что я сейчас говорил?

Когда же Дороти вновь выводила его на предмет беседы, он измышлял варианты наподобие:

– Ну вот, к примеру, м-м, дорогая, как бы ты вот, если бы компаньонкой старой леди? Какой-нибудь такой богачке старой, ну знаешь, черные митенки и пальцы скрючены от артрита. Умирает, тебе по завещанию тысяч десять и ухаживать за попугаем. А? Что-что?

Дело при этом не слишком продвигалось. О многократно высказанном желании Дороти наняться прислужгой или горничной сэр Томас и слышать не хотел. Сама идея будила в нем смутно осознаваемый классовый инстинкт.

– Что! – восклицал он. – Подметалкой? Девушка с твоим воспитанием? Нет, дорогая, нет! Этих штук ты не можешь, к черту!

Но наконец все удивительно легко было устроено; не сэром Томасом, вообще не приспособленным что-то устраивать, а его адвокатом, с которым он вдруг вздумал посоветоваться. Адвокат, даже не зная Дороти, смог подобрать хорошее занятие. По его мнению, она почти наверняка могла бы стать школьной учительницей. Эту работу и найти проще любой другой.

Сэр Томас возвратился домой в чудесном настроении, предложение он считал очень удачным (ему всегда казалось, что у Дороти внешность как раз та самая). Однако Дороти, едва услышав, пришла в ужас.

– Учительница! – волновалась она. – Но я этого просто не умею! И я уверена, что ни в одной школе меня не взяли бы. Нет же ни одного предмета, которому я могу научиться.

– Как? Что такое? Не можешь учить? Вот еще! Разумеется, ты можешь! Почему нет?

– Я слишком мало знаю! И никогда не вела уроков кроме кулинарии с девочками-скаутами. И учителю надо специальное образование.

– А, ерунда! Учить ребят? Линейку толстую и бац-бац по рукам! Все рады будут взять благовоспитанную барышню. Как раз по твоей части, м-м, дорогая. Азбуку с малышкой долбить. Ты просто родилась для этого. Да-да, школьной учительницей.

И в самом деле, Дороти стала учительницей. Незримый адвокат за три дня все устроил. Выяснилось, что в пригороде, в Сайтбридже, некая миссис Криви, у которой школа для девочек, ищет помощницу и хоть сегодня готова принять Дороти. Как удалось столь молниеносно договориться и что это за школа, где в разгар триместра берут нового, незнакомого да еще абсолютно неопытного педагога, Дороти плохо представляла. Ей ничего, конечно, не было известно о переданной из рук в руки и обеспечившей благосклонность работодателя пятифунтовой «премии».

Итак, лишь десять дней назад судимая за нищенство, Дороти направлялась в «Рингвуд-хауз Академию» (Браф-роуд, Сайтбридж) с пристойно набитым одеждой сундучком и четырьмя фунтами в кошельке – остатком десяти фунтов, подаренных лично сэром Томасом. Легкость нынешнего трудоустройства особенно поражала при опыте столь бесславных самостоятельных попыток найти место. Никогда Дороти так ясно не открывалась сила денег. Невольно приходило на ум излюбленное рассуждение Варбуртона насчет того, что, если бы в тексте святого Павла^[37] («а любви не имею, то я медь звенящая, ...а не имею любви – то я ничто» и т. д.) везде вместо «любви» поставить «деньги», апостольская истина звучала бы гораздо, гораздо более жизненно.

2

Сайтбридж – нагоняющий тоску пригород в дюжине миль от Лондона. Улицы в чаще убого-благопристойных улиц так похожи шеренгами двухквартирных коттеджей, изгородями из лавра и островками хилых кустиков на перекрестках, что заблудится здесь не сложнее, чем в бразильских лесах. Бесконечно повторяются не только формы, но и названия домов. Читая таблички на калитках вдоль Браф-роуд, чувствуешь что-то знакомое, какой-то известный поэтический мотив, который, наконец, всплывает первыми строчками поэмы Мильтона «Lycidas»:

И вновь предстали вы, о лавр седой,

И темный мирт, и плющ вечнозеленый...^[38]

«Рингвуд-хауз» был очередным стандартно унылым домом: желтый кирпич, два подъезда, три этажа, нижний ряд окон плотно затенен растрепанными пыльными лаврами. К стене прибита доска с облезлой золоченой надписью:

*РИНГВУД-ХАУЗ
АКАДЕМИЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Возраст от 5 до 18
Преподаются Музыка и Танцы
Спрашивайте бесплатные Проспекты*

Край к краю, на соседней половине фасада еще одна вывеска:

*ВАШИНГТОН-ГРЕЙНДЖ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Возраст от 6 до 16*

Район изобилдовал маленькими частными школами; четыре только на Браф-роуд. И вечная война (хотя их интересы никак не сталкивались) шла между директрисой «Рингвуд-хауза» миссис Криви и директором «Вашингтон-грейнджа» мистером Болгером. Никому, даже самому мистеру Болгеру и самой миссис Криви, не была известна первопричина распри – наследственной вражды, доставшейся от прежних владельцев этих школ. По утрам после завтрака враги гордо прохаживались в своих задних дворах возле разделявшей их очень низенькой каменной стенки, демонстративно не замечая друг друга и зловеще усмехаясь.

Сердце у Дороти упало при взгляде на «Рингвуд-хауз». Особенного великолепия она не ожидала, но все-таки чего-то чуть приветливее этой берлоги. Несмотря на восемь вечера ни одно окно не светилось. На стук открыла и впустила в сумрак прихожей высокая насупленная женщина, показавшаяся Дороти служанкой, но оказавшаяся самой директрисой. Без разговоров, только коротко спросив имя вошедшей, она направилась впереди гостьи по темной лестнице в угрюмую, почти тонувшую во мраке гостиную и отвернула газ еще на волосок, сделав довольно различимыми черное пианино, набитые конским волосом кресла и несколько развешанных по стенам, призраками глядевших фотографий.

Перевалившая за сорок, тощая, жилистая миссис Криви двигалась резко и решительно, что позволяло предположить твердость воли и, вероятно, скандальный нрав. Ее никак нельзя было назвать грязнулей или неряхой, но выглядела она какой-то бесцветно тусклой, будто всю жизнь провела в погребке, и нечто жабье притаилось в складке кисло надутого рта с оттопыренной нижней губой. Речи ее звучали визгливо, повелительно, не очень грамотно, порой даже вульгарно. С первого взгляда узнавался хищник, который знает чего хочет и цапнет это жадной пастью; не самый лютый живоглот – понятно было, что интереса у нее к другим не хватит съесть с костями. Так, обглодает да и бросит, как вытертую негодную швабру.

Даром любезностей миссис Криви не расточала. Кивнув Дороти на кресло (приглашение походило на приказ), сама тоже уселась, скрестив костлявые длинные руки.

– Думаю, мы поладим по-хорошему, мисс Миллборо, – пронзительно и грубовато заговорила она. (Дороти по совету мудрейшего адвоката сэра Томаса сохранила псевдоним Эллен Миллборо). – Думаю, обойдусь без неприятностей, которые у меня вышли с двумя, которые до вас. Так говорите, раньше никогда учительницей не работали?

– В школе не приходилось, – ответила Дороти, следуя легенде рекомендательного письма, где было уклончиво упомянуто о некотором опыте «приватного преподавания».

Миссис Криви кинула взгляд на Дороти, как бы раздумывая, посвящать ли ее в секреты школьной педагогики, но заключила, видимо, что не стоит.

– Ну, поглядим, – хмыкнула директриса. – Должна сказать, – прибавила она обидчиво, – с помощницами нынче трудно. Ты им и жалование дай, и отношение, а благодарности-то ноль. Последняя, которую вот только что пришлось спровадить, эта мисс Стронг учительство-то знала. Она ведь даже была БИ, а уж кого еще для школы лучше, разве что МИ^[39]. Вы-то, мисс Миллборо, случайно не БИ или МИ?

– Нет, к сожалению, – сказала Дороти.

– Вот это плохо. На проспекте лучше выглядит, когда учителю к фамилии еще всякие буквы. Ладно! Может, и ничего. Из наших-то родителей мало кто толком понимает насчет БИ, а показать свое невежество им стыдно будет. Но по-французски уж конечно вы можете?

– О, французский... Я, разумеется, его учила...

– Ну, тогда нормально. Главное, чтоб нам это в проспекте вставить. Так я вам хочу досказать: мисс Стронг умела все по учительству, только не соблюдала себя, как я говорю, с моральной стороны. Наш Рингвуд-хауз имеет большую твердость с моральной стороны. Уж это первое, что надо для родителей, сами потом поймете. А та, которая перед мисс Стронг, мисс Бруер – ну, в ней была, как я говорю, слабаватость. Со слабаватостью школьниц не приструнишь. Кончилось тем, что одна младшая взяла спички, залезла под стол учительский и юбку мисс Бруер подпалила. Как же ее после того держать? За дверь – и безо всяких аттестовок, скажу я вам!

– Вы сразу исключили провинившуюся девочку? – переспросила Дороти неуверенно.

– Что? Девочку? Нет уж! Стану я, что ли, свой доход за дверь выкидывать? Мисс Бруер эту я мигом выставила. Какой прок от учительницы, если при ней дерзости в классе. У нас сейчас набрано учениц двадцать одна; им, знаете, хорошая острстка требуется.

– Вы сами не преподаете?

– Господи-боже, нет! – презрительно фыркнула миссис Криви. – И так уж забот полон рот, чтоб еще время тратить на всякое учительство. И дом ухода требует, и учениц семь сейчас здесь обедают, а у меня прислуга только приходящая. И главное дело, надо ж все время деньги из родителей выколачивать. Оплата, оплата – вот что надо держать в уме, так ведь?

– Да, наверное, – сказала Дороти.

– Ладно, давайте-ка договоримся про ваш заработок, – продолжила миссис Криви. – В учебное время я вам даю стол, комнату и десять шиллингов в неделю; в каникулы вам будет только стол и комната. Для стирки можете пользоваться котлом на кухне, и в ванной я топлю колонку вечером каждую субботу; или почти что каждую. Эта гостиная, где мы сейчас, не для вас – тут моя приемная, но зря жечь газ у вас в комнате тоже нечего. Можете, когда захотите, в утренней гостиной сидеть.

– Спасибо, – поблагодарила Дороти.

– Ну, вот вроде и все. Вам, я думаю, спать пора. Вы ведь уже, конечно, ужинали?

Дороти ясно намекнули, что угощать ее сегодня не намерены, поэтому, погрешив против истины, она сказала «да», и беседа завершилась. Типичная манера миссис Криви – не длить общение секундой более необходимого. Разговор с ней так жестко, так определенно сводился к сути, что вообще мало походил на разговор. Скорее, схема бесед вроде диалогов в плохих романах, где обмен репликами слишком четко разложен по ролям. Хотя фактически ведь миссис Криви не разговаривала: кратко и сварливо приказывав или сообщив, немедленно отправляла выполнять. Сейчас она повела Дороти по коридору к ее спальне и зажгла там рожок размером с желудь. Осветились втиснутые в каморку узенькая кровать под ватным одеялом, шаткий платяной шкаф, стул, умывальник с тазом и кувшином, гладкий фаянс которого белел ледяным безнадежным целомудрием. Спальня очень напоминала номера в приморских пансионах; единственно чего недоставало для придания помещению «домашнего» уюта, это мудрого изречения над кроватью.

– Вот ваша комната, – сказала миссис Криви. – Надеюсь, вы тут станете поаккуратней прибираться, чем мисс Стронг. И газ уж попрошу долго не жечь, я из-под двери-то увижу, когда горит.

С этим добрым напутствием она покинула Дороти. В комнате стоял гнетущий холод; вообще весь дом дышал такой знобящей сыростью, будто огонь в нем разводили крайне редко. Дороти постаралась быстрее лечь, чувствуя, что постель тут самый верный источник тепла. Когда она раскладывала свои вещи, на шкафу обнаружилась коробка с десятком пустых винных бутылок – по-видимому, памятные знаки нестойкости мисс Стронг с моральной стороны.

Сойдя в восемь утра вниз, Дороти нашла хозяйку уже за завтраком в том месте, которое у нее называлось «утренней гостиной». Смежное с кухней весьма небольшое помещение начинало жизнь в качестве посудомойни, но в одночасье было преобразовано миссис Криви в «утреннюю гостиную» путем снятия раковины и переноса медного котла на кухню. Стол, покрытый грубой скатертью, предлагал взору свою обширную поверхность и суровую пустоту. В дальнем конце, около миссис Криви, сплотились на подносе крохотный чайник для заварки, две чашки, кожаная стелька глазуньи из двух яиц и блюдечко повидла. В центре, куда едва-едва могла бы дотянуться рука Дороти, тарелка намащенного хлеба; возле прибора Дороти (словно только это и было возможно ей доверить) судки для специй с присохшими ко дну бутылочек невнятными ошметками.

– Доброе утро, мисс Миллборо, – проговорила миссис Криви. – Сегодня уж пускай, раз первый день, но на потом запомните, что вам бы не мешало приходить вовремя и помогать готовить завтрак.

– Простите, очень сожалею, – сказала Дороти.

– Надеюсь, вы на завтрак любите яичницу? – испытующе глянула директриса.

Дороти поспешила уверить, что очень любит.

– Что ж, это хорошо, вам ведь всегда будет такое же, как мне. Надеюсь, вы не очень, как я говорю, лакомка насчет еды. По-моему, – добавила миссис Криви, взявшись за нож и вилку, – яичница вкусней, когда ее вначале нарежешь хорошенько.

Искромсав мелко-мелко всю яичницу, она так ловко подала ее, что Дороти досталось лишь две трети яйца. Стараясь изо всех сил, Дороти растянула процесс жевания своих крошек на полминуты, а затем, вытянув еще ломтик намащенного хлеба, не смогла удержаться от нескромного взгляда в сторону повидла. Однако левая рука хозяйки стойко держала оборону, не совсем закрывая блюдо, но бдительно охраняя его на фланге и упреждая возможные атаки. Мужества Дороти не хватило, так что ей не пришлось попробовать повидло в то утро. Впрочем, как и во все последующие.

За завтраком миссис Криви, естественно, хранила глубокое молчание. Но вскоре зашуршали шаги по гравии, и звук писклявых голосов из классной комнаты возвестил о прибытии учениц (девочки сами заходили в дом через открытую для них заранее боковую дверь). Гремя посудой, миссис Криви, начала убирать со стола. Будучи одной из женщин, не способных к чему-либо прикоснуться без шума, она, подобно полтергейсту, оповещала о себе непрерывным стуком и бряканьем. Когда Дороти, отнеся поднос на кухню, вернулась, миссис Криви вытащила из ящика буфета дешевенький блокнотик.

– Вот, – ткнула она в него, – глядите-ка сюда. Тут у меня для вас все ученицы переписаны. Я хочу, чтоб вы к вечеру всех знали. – Послужив большой палец, она перелистала три страницы. – Так, видите три списка?

– Да, – сказала Дороти.

– Ну так возьмите, заучите списки наизусть и уж не перепутайте, какая ученица в каком. Чтоб вы не думали, что с ними можно со всеми одинаково. Они вовсе – вовсе! – не одинаковые. Моя система: с разными – разное обращение. Ну-ка, вот этих в первом списке видите?

– Да, – повторила Дороти.

– Ну, у этих родители, как я говорю, плательщики отличные. Понимаете, про что я? Которые сразу кладут наличными и не охают от какой-нибудь лишней полгиinei. Из этих вы никого никогда не должны шлепать. А здесь вот у меня кто в средних плательщиках. Которые в общем-то платят, но сполна получишь, если уж день и ночь трясешь. Этим, когда начнут дерзить, поддайте, только следов чтоб дома не увидели. Хотите мой совет, самое лучшее с ученицами – уши им крутить. Пробовали так?

– Нет, – сказала Дороти.

– Зря. На мой опыт, лучше всего подходит. И ученице не стерпеть, и синяков нет. Ну, а эти трое – плательщики плохие. Задержка взноса два триместра, стряпчего пора бы напускать. Вот с этими вы что хотите – ну, не до Полицейского суда, конечно. Так что, пойдете к ученицам? Покажу вас? Списки с собой возьмите и глядите по ним все время, чтобы правильно учить.

Они вошли в класс. Серые обои довольно обширной комнаты казались еще серее из-за плохого освещения: сквозь чащу лавров, насаженных за окнами, прямые солнечные лучи не пробивались. Возле холодного камина стояла учительская парта и перед ней дюжина детских двойных парт, еще здесь были черная классная доска и на каминной полке часы в форме миниатюрного черного мавзолея. Ни карт, ни картин, ни даже книг Дороти не увидела. Предметами, которые условно могли сойти за украшения, являлись только два приколотых к стене листа черной бумаги с каллиграфически исполненными мелом надписями, сообщавшими, что «Слово – серебро, молчание – золото» и «Точность – вежливость королей».

Вся школа, численностью в двадцать одну ученицу, уже сидела за партами. Услышав шаги директрисы, девочки смолкли, а при появлении миссис Криви сжались, как птенцы куропатки под тенью ястреба. Большинство школьниц имело сонный, понурый вид и скверный цвет лица, внешние признаки указывали также на чрезвычайную распространенность заболеваний носоглотки. Самая старшая смотрелась чуть ли не взрослой барышней, самая младшая – едва ли не младенцем. Форму в этой школе не носили, потому парочка учениц сильно смахивала на уличных оборвышей.

– Встать, девочки! – шагнув к столу учителя, скомандовала миссис Криви. – Помолимся!

Девочки встали, сплели пальцы перед грудью и опустили веки. Пока они тоненько, слабо, монотонно тянули слова молитвы, направлявшая хор миссис Криви острым глазом без устали обшаривала лица, подстерегая недостаточно внимательных.

– Отец наш вечный и всемогущий, – пищали девочки, – услышь нас и десницей благодатной направь сегодня наши уроки. Научи нас вести себя тихо и всегда слушаться; обрати взор Твой на нашу школу, утверди процветание ее, дабы ей пополняться, быть красой и гордостью округи, а не то чтоб стыдом и позором, как некоторые, о которых все, Господи, Тебе ведомо. Услышь, Господи, помоги нам, пожалуйста, стать прилежными, аккуратными, настоящими леди, всевозможно достойными Твоей милости. Во имя Иисуса, Господу слава, аминь.

Это была молитва собственного сочинения миссис Криви. Закончив ее, ученицы протараторили «Отче наш» и сели.

– Ну, девочки, – сказала миссис Криви, – вот ваша новая учительница, мисс Миллборо. Как вам известно, неожиданная болезнь мисс Стронг, которая с ней вышла на арифметике, заставила ее вдруг нас покинуть. И мне, скажу вам, очень тяжело пришлось в эту неделю, когда новую надо было вам искать. Семьдесят три прошения ко мне подали, и всем отвечен был отказ из-за их не такой высокой опытности и учености, как у мисс Миллборо. Хорошенько запомните и родителям-то своим скажите, слышите, точно скажите – семьдесят три просились! Ну вот, мисс Миллборо будет с вами учить латынь, французский, географию, историю, арифметику, чтение, сочинение, грамматику, правописание, чистописание и рисование. А мистер Буф, как раньше, будет с утра по четвергам давать вам химию. Так, в расписании какой сегодня первый урок поставлен?

– Стория, мэм, – пискнул какой-то голосок.

– Вот и ладно. Я так думаю, мисс Миллборо сначала немножко вас поспрашивает, что вы тут проходили. Так вы давайте-ка уж постарайтесь, покажите, что мы не зря для вас все силы надрывали. Они, мисс Миллборо, умеют быть понятливыми, когда стараются.

– О, я в этом не сомневаюсь, – сказала Дороти.

– Ну, оставляю вас тогда. И чтоб вести себя примерно, девочки! Не вздумайте разными вашими номерами мисс Миллборо испытывать, предупреждаю – она вам не спустит. А услышу, что безобразничать тут начали – кой-кому крепко от меня достанется!

Обведя взглядом всех, включая Дороти и как бы даже намекая, что именно ей грозит оказаться этим «кой-кем», директриса удалилась.

Дороти смотрела на класс. Сами ученицы страха не вызывали – она привыкла к постоянной возне с детьми, но вдруг настиг приступ отчаянного малодушия. Ужаснуло ощущение (какой учитель его не испытывал?), что она самозванка. До сего момента как-то в общих чертах, а теперь вполне конкретно, Дороти поняла, что совершенно жульническим образом взялась работать педагогом без всяких прав и оснований. Сейчас ей, например, нужно было вести урок истории, но, как и большинство людей «с образованием», она историю практически не знала. «Кошмар! – думала Дороти. – Окажется, что ученицы знают предмет лучше меня!». Осторожно пробуя почву, она спросила:

– Какой эпохой вы занимались в последнее время с мисс Стронг?

Никто не отвечал. Дороти видела, как старшие воспитанницы переглянулись, будто совещаясь, безопасно ли открывать рот, и сообща пришли к решению не связываться.

– Хорошо, где вы приблизительно остановились? – перестроила Дороти вопрос, подумав о, вероятно, слишком сложном для них слове «эпоха».

Вновь безмолвие.

– Как, неужели вы совсем ничего не помните? Назовите хотя бы имена людей, упоминавшихся на последнем уроке.

Повторный быстрый обмен взглядами, и очень неприметная, одетая во все коричневое, с туго закрученными косичками малышка из первого ряда туманно сообщила:

– Про древних бриттов.

Набравшись храбрости, одновременно решились заговорить еще две девочки. Одна произнесла: «Колумб», другая – «Наполеон».

На душе у Дороти посветлело. Вместо широкой и устыдившей бы ее осведомленности, класс успокоил явным абсолютным неведением. Открытие развеяло боязнь публичного провала. Дороти догадалась: в преддверии собственных попыток чему-нибудь их научить, необходимо выяснить, что (если было это «что») детям уже известно. И тогда, не придерживаясь расписания, Дороти начала опрашивать класс последовательно по каждому предмету. Кончив с историей (на измерение объема всех исторических познаний хватило пяти минут), она провела ту же ревизию с географией, грамматикой, французским, арифметикой. К полудню Дороти разведала, хотя конечно же не до конца, зияющие бездны их невежества.

Они не знали ничего, буквально ничего-ничего, как положившие в основу лепет младенцев мэтры дадаизма. Пугало однако, что у детей разум мог столь же полно бездействовать. Только две девочки были в курсе того, что все-таки земля вращается вокруг солнца, а не наоборот, и ни одна не представляла, кто правил Британией перед ныне здравствующим Георгом IV, или кто написал «Гамлета», или что означает среднее арифметическое, или какой океан отделяет Англию от Америки. Причем рослые девушки лет пятнадцати превосходили малышей лишь в том, пожалуй, что читали уже не по слогам и научились красиво писать. Единственный успех почти всех старших школьниц – четкий кудрявый почерк. Об этом миссис Криви позаботилась. Конечно, в безбрежном море их незнания торчали редкие крохотные островки каких-то сведений: куски учившихся наизусть «поэтических отрывков» или набор французских фраз вроде *пassez-moi le beurre, s'il vous plaot; le fils du jardinier a perdu son chapeau*^[40], затверженных с осмысленностью попугая, талдычащего «кока-красавчик». Чуть лучше, чем по остальным предметам, дело обстояло с арифметикой. Почти весь класс умел и складывать и вычитать, половина класса довольно верно представляла умножение, нашлись даже три умницы, которые пробились к делению столбиком. Но это уже предел, а за ним во всех направлениях полнейший мрак.

К тому же, не приученные к вопросам ученицы так пугались, когда их спрашивали, что вообще непросто было вытянуть слово. Все застрявшее в памяти долбилось механически, просьбы подумать вызывали лишь оцепенение и мутный взгляд. Однако неприязни они не проявляли? очевидно, решили быть «хорошими» (дети всегда «хорошие» перед новым учителем), а Дороти упорствовала, и потихоньку тупость девочек, по крайней мере внешне, несколько просветлела. Из их ответов составилась довольно ясный контур преподавательской системы мисс Стронг.

Хотя в программе значились все обычные предметы, всерьез учили лишь чистописанию и арифметике. Миссис Криви особенно ценила каллиграфию. Огромную часть времени – пару часов каждый день непременно – корпели над так называемыми «образцами». Прилежно переписывали отмеченные в хрестоматии или начертанные мисс Стронг на доске образцы всякой слащавой мути. В тетрадках старших девочек многократно повторялась, например, «Весна»: «День, когда легкокрылый ветерок повеял над полями, когда радостно зазвенели птичьи трели и нежные бутоны первых подснежников, ликуя...». Специальные тетради прописей регулярно демонстрировались дома, приводя папаш и мамаш в безмерное, как и ожидалось, восхищение.

Дороти стала понимать, что все, чему здесь обучали детей, на самом деле целилось в родителей. Соответственно, и тексты «образцов», и почерк как главный предмет, и попугайская зубрежка французских фраз – самые легкие, эффектные приемы создать впечатление. А между тем сидевшие на задних партах едва ли знали грамоту. Одна из них, одиннадцатилетняя Мэвис Уильямс (всегда глядевший исподлобья ребенок с невероятно широко расставленными глазами), даже считать не научилась. Сидя за партой только то и делала, что выводила закорючки. Накопила грудку тетрадок – бескрайние ряды крючков и петель, как километры мангровых зарослей в тропическом болоте.

Чтобы не обижать детей, Дороти постаралась скрыть изумление, но в глубине души была поражена их темнотой. Она не представляла, что в цивилизованном мире есть еще школы вроде этой. Допотопность обычаев детально воспроизводила стиль убогих школьных заведений, известных по викторианским романам. Даже набор здешних учебников сразу переносил вас в середину прошлого века. У каждой школьницы комплект из трех книг. Прежде всего, пухлая «Арифметика», выпущенная еще до Первой мировой, но, в принципе, достаточно пригодная. Затем некая мерзость под названием «Краткий курс родной истории»:

тоненькая, страничек сто, зато альбомного формата, в твердом переплете, на титульном листе фигура могучей древней Боудикки^[41] и гордо реющий над колесницей имперский «Юнион Джек». Наугад раскрыв книжку, Дороти прочла:

«После Французской революции самозванный император Наполеон хотел везде захватить власть и несколько раз побеждал континентальные войска, но скоро понял, что есть на него управа «за морем». Решающая битва произошла на поле Ватерлоо, где 50 тысяч британцев наголову разбили 70 тысяч французов, а прусские союзники к сражению опоздали. Когда наши бойцы с победным британским кличем обрушились на неприятеля, враг дрогнул и позорно бежал. Главным событием XIX века стал принятый в 1832 году великий Билль о Реформе. Он положил начало благодетельным реформам, которые сделали нашу страну самой свободной и счастливой. А всем другим несчастным народам...».

Год выхода из печати – 1888. Не видевшая прежде подобных «родных историй» Дороти испытала чувство, близкое ужасу.

Третьим обязательным учебником служила изданная в 1863 году чрезвычайно скучная «Хрестоматия». Включала она, в основном, патриотичные отрывки из сочинений Фенимора Купера, доктора Уоттса и лорда Теннисона, а завершалась иллюстрированными, на удивление несуразными «Заметками о природе». Под гравированным рисунком слона пояснение мелким шрифтом: «Слон – очень мудрое животное. Весело и привольно гуляет он под сенью пальмовых деревьев. Он сильный, как шестерка лошадей, но всегда слушается маленького погонщика. Пища слона – бананы». И далее в том же ключе про Зебру, Кита, Дикобраза и Пеструю Жирафу. В учительской парте нашлись также экземпляр повести «Славный Джонни», затрепанный альманах «Мимоходом по дальним странам» и французский разговорник 1891 года «Все, что понадобится вам в Париже» с первой, самой необходимой просьбой «шнуруйте мой корсет не слишком туго». Нигде в классе не обнаружилось ничего похожего на атлас или циркуль.

В одиннадцать началась короткая перемена, девочки играли во всякие тоскливые крестики-нолики или ссорились, отнимая друг у друга карандаши. Некоторые, одолев начальную робость, столпились вокруг Дороти и болтали. Вспоминали, в частности, мисс Стронг: как больно она крутила уши за кляксы в тетрадках для образцов, какая вообще была строгая кроме тех случаев, когда ей раза два в неделю «делалось нехорошо». Она тогда пила лекарство из темной маленькой бутылочки и ненадолго становилась очень веселой, рассказывала девочкам про брата, который живет в Канаде. Но тот последний раз, на арифметике, ей от лекарства сделалось даже хуже, она вдруг громко запела, потом упала поперек парты, и миссис Криви пришлось унести ее из класса на руках.

Уроком, следовавшим после перемены, утренние занятия окончились. Проведя три часа в душном классе, Дороти хотелось выйти на воздух подышать, размяться, но надо было сразу бежать в кухню? помогать миссис Криви готовить стол. Большинство живших неподалеку учениц на обед уходили домой, но несколько за отдельную плату, по десять пенсов трапеза, обедали в «утренней гостиной». Кормление протекало почти безмолвно, ибо в присутствии директрисы школьницы немели. Подавалась отварная баранья шея, и миссис Криви демонстрировала чудеса ловкости, кладя мясные кусочки плательщицам отличным, а хрящи с жиром – средним. Что касается трех плохих плательщиц, их позорная сухомятка из пакетиков съедалась в опустевшей классной комнате.

С двух часов вновь уроки. Опыта одного утра хватило, чтобы Дороти вернулась на учительское место, внутренне содрогаясь. Уже обозначилось, каково будет день за днем, неделя за неделей изнывать в этой мрачной комнате, пытаясь впихивать начатки знаний в упрямых и бестолковых детей. Но когда класс заполнился, после переклички одна худосочная мышка по имени Лора Флинт преподнесла учительнице пучок мелких рыжевато-хризантем «от всех от нас». Девочкам Дороти понравилась, и они в складчину наскребли четыре пенса ей на цветы.

У Дороти дрогнуло сердце. Более зрячими глазами она увидела малокровные лица и старенькие платья, стало ужасно стыдно, что с утра она смотрела на этих детей равнодушно, чуть не безразлично. Волной нахлынула жалость. Бедные, бедные дети! Как принижены, как задавлены! Однако так еще милы, что в знак симпатии готовы потратить свои драгоценные пенни.

С той минуты отношение Дороти к новой работе переменилось. Школьное дело стало делом душевным и самым важным на свете. Она будет стараться, все силы отдаст, чтобы сделать этот невольничий загон местом пристойным, человеческим. Наверное, тут много можно сделать. Пусть ей, совсем неопытной и неумелой, самой надо сначала поучиться, как учить. Ну что ж, она предпримет все возможное, все, чем ее энергия и воля помогут вытащить детей из жуткой ямы.

3

В течение нескольких недель Дороти занимали исключительно две проблемы: наведение хоть какого-то порядка в занятиях и конвенция о добрососедстве с начальницей.

Вторая задача оказалась значительно сложнее первой. Дом миссис Криви отличался редкой гнусностью. Всегда дует или сквозит, ни одного уютного кресла и очень скверная еда. Преподавать только со стороны легко, учителю для поддержания сил требуется хорошее питание. Трудновато учительствовать на диете из пресной отварной баранины, вареной, утыканной глазками картошки, водянистых пудингов, хлеба с прозрачной пленкой масла и кипятка, подкрашенного чаем, причем никогда досыта даже этого. Миссис Криви, по-настоящему скупая, то есть охотно экономившая и на своем желудке, отдельных блюд для себя не готовила, но неизменно забирала львиную долю. Каждое утро жарились, мелко рубились и неравно делились два яйца, а блюдечко повидла твердо хранило неприкосновенность. Дороти день ото дня делалось голоднее. Дважды в неделю, когда вечерами позволялось выйти из дома, ее тающий капитал транжирился на шоколадки, которые она потом ела в глубокой тайне? морившая голодом миссис Криви, узнай она про дополнительные яства, смертельно бы обиделась.

Но хуже всего, что не было никакой укромной частной жизни и почти не бывало времени, которое Дороти могла бы назвать своим. После уроков, за отсутствием иного убежища, приходилось идти в «утреннюю гостиную», под надзор миссис Криви, полагавшей главным долгом не оставлять помощницу в покое ни на минуту. Искренне или притворно, миссис Криви решила, что Дороти лентяйка и нуждается в постоянных понуканиях. Бесперывно раздавалось: «Ну, мисс Миллборо, у вас нынче, видно, дел не особо много? И никаких тетрадок нет проверять? А что бы вам не взять иголку да не пошить чуточку? Право слово, мне бы и не стерпеть, как вы вот обожаете сидеть-то просто так!» У миссис Криви постоянно находились задания для Дороти вплоть до мытья полов в классе субботним, свободным от занятий утром. Но это уже из чистой вредности, ибо в такой работе она Дороти не доверяла и обязательно затем собственноручно перемывала пол. Однажды Дороти была столь неразумна, что возвратилась вечером из библиотеки, держа в руках роман. Вид его просто возмутил миссис Криви. «Так, значит, мисс Миллборо! Вот уж не думала, что у вас есть время читать!» – сказала она горько. Сама директриса в жизни никакой книги целиком не прочла, чем весьма гордилась.

Неотступная миссис Криви, даже выпустив Дороти из поля зрения, умела сделать ощутимым свое присутствие. Вечно шныряла по соседству с классной комнатой, ежесекундно угрожая Дороти вторжением, а если находила урок слишком шумным, внезапно стучала в стену ручкой швабры, заставляя учениц вздрагивать и отвлекаться. Во всякий час назойливо, неугомонно суежилась. Погромыхав кастрюлями, шаркала рядом метлой и скребла мусорным совком, или бранила проходящую служанку, или врывалась в класс «взглянуть» (с надеждой уличить Дороти и воспитанниц в баловстве), или же «чуточку садовничала» – лязгая ножницами, увечила жалкие хилые кусточки, чудом проросшие в пустынях гравия на заднем дворе. Лишь два раза в неделю Дороти освобождалась на время боевых вечерних походов директрисы «за новенькими», то есть для обработки и вербовки новых плательщиков. Эти вечера Дороти проводила в библиотеке, так как ей тоже полагалось ухаживать, чтобы зря не расходовать светильный газ и уголь. Обычно же по вечерам миссис Криви писала письма родителям, напоминая об уплате, и в местную газету, торгуясь о скидке на дюжину рекламных объявлений, либо обыскивала ученические парты, проверяя работу Дороти с тетрадями. При этом то и дело кидалась «чуточку пошить». Стоило наметиться пятиминутной паузе в хлопотах по хозяйству, хватала свою корзинку с рукоделием? преимущественно изготавливала из грубой белой бязи дамские панталоны, которых уже скопилось несть числа. Одевание устрашающе суровое, укрощающее грешную плоть с лютостью, не достигнутой ни

монашеским чепцом, ни власяницей. Вид этих панталон заставлял задуматься об опочившем мистере Криви и даже усомниться в самой возможности его существования.

Как могло показаться, образ жизни миссис Криви вообще не включал удовольствий. Она не делала ничего того, чем люди себя обычно развлекают: никогда не ходила в кино, не открывала книг, не ела конфет, не готовила вкусенького, не надевала сколько-нибудь нарядного платья. Общество для нее тоже абсолютно ничего не значило. Друзей и даже, видимо, понятия о дружбе не имелось; интерес к ближнему проявлялся только деловой. Не наблюдалось и малейшей тени религиозных чувств. Каждое воскресенье посещая баптистский храм дабы продемонстрировать родителям пылкое благочестие, она являлась твердой антиклерикалкой, убежденной, что в церкви «лишь на деньги твои метят». В общем, казалась личностью безрадостной, погрязшей в беспросветно унылых буднях. Однако это было не так. И для нее существовали наслаждения острые и неистощимые.

Например, алчность. Главная ее страсть. Известны два типа стяжателей – лихой бандит, огребающий деньги с размахом, и мелочный бездарный скряга, не деловой, зато всегда готовый, как говорится, хватать пенсы зубами с навозной кучи. Миссис Криви принадлежала ко второму. Непрестанной вербовкой и бессовестным блефом она насобирала себе двадцать одну учащуюся, но никогда не собрала бы много больше, так как скупилась на оборудование школы, на приличное жалование педагогу. За триместр ей платили (если, конечно, платили) по пять фунтов плюс разные приплаты, и потому, как бы она не утесняла свою помощницу, годовая прибыль выше сотни с половиной подняться не могла. Но миссис Криви это удовлетворяло. Дороже было выгадать шесть пенсов, чем заработать фунт. И если находился способ сократить ужин Дороти на полкартофелины, или добыть пачку тетрадей на полпенни дешевле, или приписать полгинеи к счету Отличного плательщика, она испытывала в некотором роде блаженство.

Еще одна вечно горевшая в ней страсть утолялась бессмысленной зловредностью – ехидным свинством, не приносящим ровно ничего. Хобби многих любителей, достигающих особого оргазма, ловко кому-нибудь напакоистив. Ее междоусобная война с мистером Болгером (по сути односторонняя, ибо в сравнении с атлетизмом миссис Криви бедняга Болгер выступал в весе цыпленка) велась безжалостно и беспощадно. И таким удовольствием было сделать соседу очередную гадость, что миссис Криви изредка тут соглашалась и раскошелиться. Год назад мистер Болгер письменно сообщил домовладельцу (враги наперебой строчили жалобы друг на друга) о чадающем прямо в окошко его спальни кухонном дымоходе соседки и попросил дать указание на пару футов повисить ее трубу. В тот же день, как пришло уведомление об этой просьбе, миссис Криви вызвала каменщиков и на два фута понизила свою трубу. Акция обошлась в тридцать шиллингов, но стоила того. Затем завязалась длительная партизанская война с диверсионным, по ночам, перебрасыванием мусора через садовую пограничную стенку, и миссис Криви наконец взяла верх, завалив мокрой золой соседскую клумбу тюльпанов. Но самую великолепную победу ей удалось одержать вскоре после приезда Дороти. Заметив, что корни сливы мистера Болгера пролезли под стенкой на ее территорию, миссис Криви тут же выплеснула на них банку ядовитых химикалий и погубила деревце. Случай поистине замечательный – единственный раз Дороти привелось услышать смех миссис Криви.

Впрочем, погруженная в свои проблемы Дороти не очень обращала внимание на директрису и ее характер. Вполне осознавалось, что она в кабале у отвратительной тиранки, но это как-то мало беспокоило. Только работа, ничего кроме работы. Собственный комфорт и даже будущность были сейчас не столь важны.

Всего за пару дней ей удалось наладить ход занятий. Не имея ни опыта, ни специальных теоретических рецептов, руководствуясь лишь чутьем, Дороти смело ринулась менять, обновлять, изобретать. Многое просто зывало к срочным преобразованиям. Прежде всего – избавиться от муторной рутины «образцов». И со второго дня, невзирая на фырчанье миссис Криви, «образцы» были отменены. Уменьшилось количество уроков почерка. Дороти хотела вовсе покончить с чистописанием у старших – нелепо ведь, когда почти взрослые барышни часами упражняются в черчении букв, однако тут уж миссис Криви решительно воспротивилась. К чистописанию она относилась с почтением буквально суеверным. Далее, разумеется, – выкинуть идиотский «Краткий курс родной истории» и смехотворно куцую «Хрестоматию». С миссис Криви насчет покупки новых учебников и разговора заводить не

стоило, но в первый же субботний день, попросив разрешение съездить в Лондон и получив неохотное согласие, Дороти из собственных заветных четырех фунтов истратила больше половины на дюжину бумажных томиков Шекспира, подержанный толстый атлас, несколько сборников сказок Андерсена, набор геометрического инструмента и килограмм пластилина. Вооружившись всем этим, а также взятыми в библиотеке книгами по истории, она почувствовала, что готова взять старт.

Бросалось в глаза, что девочек учили скопом, нисколько не заботясь о каком-нибудь персональном внимании. Поэтому прежде всего Дороти разделила класс на три группы и попыталась строить уроки таким образом, чтобы две группы сами занимались, пока она что-то «проходит» с третьей. Вначале не очень клеилось, особенно усложняли работу младшие, чье внимание без присмотра мгновенно отвлекалось, так что на самом деле приходилось следить за ними неотрывно. А все-таки как удивительно, как быстро почти все двинулись вперед! В большинстве девочки, конечно, не были тупицами, просто ошалели от монотонной постоянной ерунды. Неделя, может быть, не поддавались, а потом вдруг задавленные скукой умишки стали расправляться, будто маргаритки после проехавшего по газону садового катка.

Довольно быстро и легко Дороти приучила их шевелить мозгами. Настаивала на собственных сочинениях вместо копирования образцовой чуши про звонкие трели и головки нежных бутончиков. Штурм арифметики пошел с фундамента. Шаг за шагом Дороти вывела младших к умножению, а старших через деление столбиком – к дробям; троих даже на те высоты, откуда виделись и дроби десятичные. Вместо зубрежки французских фраз с просьбами передать масло и сообщениями о потерявшем шляпу сыне садовника начался разбор элементарных основ грамматики. Обнаружив, что никто в классе не представляет ни одной из стран (хотя у некоторых память навек впечатала: столица Эквадора – Кито), Дороти предложила вылепить по атласу объемную карту Европы. Пластилиновая карта на толстом листе фанеры стала всеобщим увлечением, ученицы хором выпрашивали разрешение опять лепить. Тогда же они всем классом, кроме шестерых самых маленьких и мастера по закорючкам Мэвис Уильямс, приступили к чтению «Макбета». Среди воспитанниц не имелось таких, кто раньше читал что-нибудь добровольно, может быть только «Газету для девочек», но Шекспир им понравился, как вообще всем детям, которых еще не замучили осточертевшим классиком.

Самым трудным предметом оказалась история. Дороти никогда не думала, что детям из простых семей сложно даже воспринимать этот учебный материал. Любой человек из культурных сословий, будь он хоть трижды невежда, с детства снабжается всякими историческими образами и может хоть представить римского центуриона, рыцаря-крестоносца, вельможу прошлых веков; термины «античность», «средневековье», «ренессанс», «промышленный переворот» отзываются в его голове каким-то, пусть туманным, смыслом. Но эти девочки росли в домах без книг, у тех родителей, которых насмешил бы тезис о важности событий столетней давности. Эти дети не слышали про Робин Гуда, не играли в битвы дворян и пуритан, не знали, кем созданы английские церкви, или что выбитое на каждом пенни «Fid. Def.» клянется в стойкой защите истины. Было лишь два прочно сидевших в памяти исторических лица: Колумб и Наполеон. Бог знает почему; возможно, имена Колумба и Наполеона чаще мелькали в газетах. Этакое Твидледум и Твидледи, затмившие в детском сознании весь исторический ландшафт. На вопрос, кто и когда изобрел автомобиль, девочка лет десяти расхрабрилась ответить: «Колумб, тысячу лет назад».

Несколько старших учениц, как выяснилось, уже четыре раза проходили «Краткий курс родной истории» от Боудикки до Первого юбилея^[42] и не запомнили практически ничего. Впрочем, учитывая вранье учебника, и к лучшему. Дороти снова начала с вторжения Юлия Цезаря, попробовала читать вслух исторические труды, однако метод провалился, так как девочки не понимали текст с определениями чуть длиннее чем «они» и «наши». Пришлось отложить книги и своими словами пересказывать попроще, стремясь наполнить вялые темные мозги живыми картинками прошлого и – что всегда наиболее сложно – вызвать какой-то интерес. Но однажды Дороти осенила блестящая идея. Купив рулон самых дешевых обоев, она объявила классу, что новым заданием будет изготовление наглядной исторической таблицы. Растянутую вдоль стен обойную полосу разграфили на века и десятилетия, после чего принялись вклеивать в соответствующие места газетные картинки: изображения

рыцарей в доспехах, парусников, печатных станков, паровозов. По мере заполнения разделов таблица превращалась в панораму английской истории. Учениц она увлекла даже больше пластилиновой карты. Они всегда, как замечала Дороти, становились гораздо сообразительней, когда помимо обычной учебы появлялась возможность самим что-то творить. Возникли уже планы большой объемной карты мира из папье-маше, если бы Дороти удалось «обработать» миссис Криви насчет папье-маше – грязной возни с клеем и мокрыми бумажками.

Миссис Криви ревниво следила за новаторством Дороти, но до поры до времени активно не мешала. Не собираясь, разумеется, этого обнаруживать, она втайне была приятно удивлена тем, что нашлась школьная работница и в самом деле желавшая работать. Трата собственных денег Дороти на учебники одарила ее той же радостью, которая являлось в итоге удачных мелких плутней. Тем не менее, она фырчала и ворчала по поводу всех действий Дороти, и часами зудела, требуя «до идеальности» проверять тетради. То есть в должном стиле просматривать работы учениц, кося глазами на родителей. Периодически девочки уносили тетради домой для семейного инспектирования, и миссис Криви не допускала никаких нелестных учительских пометок. Запрещалось ставить оценку «плохо», зачеркивать или слишком жирно подчеркивать. Вечерами Дороти под контролем миссис Криви декорировала тетради разнообразными красноречивыми хвалами. Чаще всего выводила «Очень успешно» и «Отлично! Сделан огромный шаг!» – излюбленные формулы миссис Криви. В общем, все девочки всегда «делали огромные шаги». Куда они шагали, правда, не указывалось, но родители готовы были глотать неясные дифирамбы в неограниченных количествах.

Возникали, разумеется, всякие проблемы и с ученицами. Во-первых, трудности из-за их очень разного возраста. Затем, как бы они не старались поначалу выглядеть «хорошими» перед новой, симпатичной учительницей, дети бы просто перестали быть детьми, неизменно оставаясь «хорошими». Иногда их одолевала лень, а иногда они предавались самому дьявольскому пороку школьниц – хихиканью. Первые дни Дороти сильно беспокоила Мэвис Уильямс с ее невероятно низким для одиннадцатилетнего ребенка развитием. Дороти ничего не могла с ней поделать. При первой же попытке дать ей задание сверх закорючек два широко расставленных глаза блеснули из-под лба какой-то жутковатой пустотой. А порой у Мэвис случались приступы болтливости, когда она сыпала странными, ставящими в тупик вопросами. Откроет вдруг «Хрестоматию», ткнет в рисунок (допустим, изображение мудрого слона) и начинает:

- Увот, мисс, а чегой-то?
- Это слон.
- Злон? А чегой-то?
- Такое животное.
- Животный? А чегой-то?
- Ну, собака, например.
- Собаха? А чегой-то?..

И так далее, в принципе до бесконечности. На четвертое утро, в середине урока Мэвис с особенной хитровой вежливостью, которая должна была насторожить Дороти, попросила:

- Пзалста, мисс, можа выдти?
- Иди, – кивнула Дороти.

Одна из девочек постарше подняла было руку, тут же опустила и, смутившись, покраснела. Лишь под нажимом Дороти решилась сообщить:

– Мисс, извините, когда было у мисс Стронг, для Мэвис не разрешалось одной в уборную. Она там запирается и не выходит, и миссис Криви потом очень злится, мисс.

Немедленно вдогонку полетел курьер, но слишком поздно: Мэвис оставалась *in latebra rudenda*^[43] до самого полудня. Позже миссис Криви конфиденциально объяснила Дороти, что у Мэвис врожденный кретинизм («вовсе мозгов нет, понимаете?») и учить ее совершенно бесполезно. Хотя начальница, конечно, не собиралась «языком трепать» родителям, признававшим лишь некоторую задержку в развитии дочери и регулярно вносившим плату. Вообще же Мэвис никаких хлопот не доставляла? только дать ей тетрадку с карандашом и

велеть сидеть тихо, рисовать. Ничего кроме закорючек Мэвис, раба привычки, не рисовала, но часами сидела молча и в полном блаженстве, высунув язык, плетя ряды своих крючков.

Да, несмотря на мелкие помехи, как замечательно все шло в те первые недели! Так хорошо, ах, слишком хорошо! Числа десятого ноября, вдоволь наворчавшись по поводу цен на уголь, миссис Криви наконец разрешила затопить в классе камин. Тепло заметно разогрело и оживило учебу. Счастливые это были часы, когда в камине потрескивал огонь, миссис Криви куда-нибудь уходила, школьницы занимались тем, что особенно им нравилось. Лучше всего, когда две старшие группы читали «Макбета»: ученицы, пища и задыхаясь, частили сцену за сценой, а Дороти поправляла ошибки, объясняла, что такое «любимец Беллоны» или почему ведьмы летают на помеле. Девочкам, будто развязку детектива, не терпелось скорее узнать, ну как же Бирнамский лес придет на Дунсинан и кто же он, «не тот, кто женщиной рожден», который победит Макбета. Вот когда видишь смысл пролитого с учениками пота – когда ответный энтузиазм детей, вспыхнув, вознаграждает огоньками внезапно заигравшего сознания. И нет работы вдохновенней, если только руки учителя не связаны. И еще предстояло узнать, что это «если» одно из самых непрошибаемых.

Работа подходила Дороти, давала радость. Ей уже делались понятны характеры и личные способности, и стимулы, будившие живую детскую мысль. Совсем недавно она вряд ли поверила бы, что настолько привяжется к своим воспитанницам, будет так хлопотать об их развитии, стараться так самозабвенно. Бездонный, бесконечный труд учителя затопил все ее существование, как прежде море приходских забот. И днем и ночью в голове уроки, а также почерпнутые из библиотечных книг секреты методики, педагогики. Как интересно! Пусть вечно за эти гроши, только бы навсегда вот так! Преподавать, думала Дороти, действительно ее профессия.

После тоскливой пустоты нищенских дней могло увлечь наверно всякое занятие. Но здесь было гораздо больше чем работа, здесь, как ей виделось, открылась миссия, цель жизни. Разбудить сонные мозги детей, прекратить издевательский обман под видом образования – разве не стоило положить душу ради этого? Так что во имя чудесной своей работы Дороти пренебрегала скотскими условиями у миссис Криви, совершенно забыв к тому же о всей странности собственной ситуации и непонятных перспективах.

4

Но, разумеется, долго так продолжаться не могло. Не слишком много времени понадобилось, чтобы в работу Дороти начали лезть родители. Уж таковы порядки частных школ. Всегда родители для педагога лишний груз, но родители в захудалых частных школах просто невыносимы. С одной стороны, им весьма смутно рисуется сам смысл образования, с другой – «учение» они воспринимают как счет из лавки, постоянно подозревая, что их здорово надули. Учителя бомбардируют косноязычными и хамскими записками, которые притом не отсылают, а передают через детей, читающих их по дороге. Уже в конце второй недели Мэйбл Бригс, одна из самых способных в классе, вручила Дороти следующее послание:

«Дорогая Мисс, давайте Мэйбл учите больше арифметикой. А то почему у вас мало что прокитически? Все эти карты и такое. Ей надо прокитически учить, не все эти новые модности. Итого, просьба больше арифметикой. Остаюсь с почтением,

Джор. Бригс

P.S. Мэйбл говорит, что вы хотите пускать ее на десятичные дробя. Не надо десятичные дробя, надо учить арифметикой.»

Дороти, отстранив Мэйбл от лепки европейского рельефа, на географии теперь усаживала ее решать дополнительные примеры; Мэйбл заливалась слезами. Приходили еще записки. Одна дама обеспокоилась, узнав, что дочь в классе читает Шекспира. Знакомые сказали этой даме, что мистер Шекспир сочинитель пьес для сцены, и она спрашивала мисс Миллборо, уверенна ли та, что это не безнравственный писатель? Поскольку сама родительница никогда не ходит в кино, тем более в театры, ей чувствуется, что даже читать пьесу очень опасно, вредно... и т. п.

Дама, однако, уступила ввиду сообщения о том, что мистера Шекспира нет в живых; это как-то умерило ее тревоги. Еще один родитель требовал уделять больше внимания почерку его ребенка, другой – полагал пустым делом изучение французского; еще и еще, пока

тщательно распланированная программа Дороти не затрещала по всем швам. Согласно четкому приказу миссис Криви всякую родительскую волю следовало исполнять (по крайней мере, демонстрировать исполнение), хотя во многих случаях это бывало просто нереально: нельзя же заниматься с одним ребенком арифметикой, одновременно ведя общий урок географии или истории. Но в частных школах желание родителей – закон. Тут, как в торговых заведениях, живут лестью и угождением клиенту, и реши вдруг какой-нибудь папаша, что его чаду нужны только счет до десяти и шумерская клинопись, так бы и стали обучать, лишь бы не потерять ученика.

В общем, родители заволновались, услышав от детей о методах новой учительницы. Они не видели ни капли проку от учения с историей поэзии и лепкой карт, чрезвычайно почитая режим старинной, ужасавшей Дороти зубрежки. Напор их становился все нервнее, письма все гуще пестрели требованиями знаний «практических», а проще говоря, прежних пропорций обучения почерку и арифметике. Причем вся арифметика для них сводилась к навыку складывать, вычитать, умножать да еще делывать этот не особо полезный, но ловкий фортель – делить столбиком. Сами они за редким исключением до десятичных дробей не дошли и своим детям таких дебрей не желали.

Впрочем, если бы только тем и ограничилось, возможно, беды и не стряслось бы. Родители, как уж положено родителям, цеплялись бы, а Дороти, как все учителя, в конце концов, поняла бы, что, проявив определенную тактичность, можно спокойно их игнорировать. Но имелось некое предрекавшее кризис обстоятельство: почти все семьи были «свободных» исповеданий, тогда как Дороти являлась дочерью церкви англиканской. И хотя веру она потеряла (на протяжении двух месяцев бурных скитаний даже забыла о ней думать), это мало что значило. Католик или протестант, иудей, мусульманин или язычник, каждый несет в себе впитанный с детства образ мыслей. Дороти выросла под сенью англиканства, ничего не ведала о направлении неконформистских умов и, как бы ни старалась, не могла все-таки не задеть чувств инакомыслящих родителей.

Уже в самом начале ее подвергли плотному обстрелу в связи с уроками Священного писания (дважды в неделю девочки читали главы из Ветхого и Нового Завета). Многие родители письменно попросили мисс Миллборо не отвечать, пожалуйста, детям на вопросы о Деве Марии, тексты с упоминанием о ней не комментировать и постараться вовсе пропускать.

Но буря грянула по вине этого безнравственного сочинителя Шекспира. Ученицы продирались сквозь «Макбета», сгорая от нетерпения узнать, как исполнится бесовское предсказание. Добрались до заключительных сцен. Вот и Бирнамский лес пришел на Дунсинанский холм – эта загадка разрешилась. Но тот таинственный герой, который не рожден женщиной? И вот роковые строки:

МАКБЕТ:

Брось напрасный труд;
Скорее ты неуловимый воздух
Сразишь мечом, чем нанесешь мне рану.
Бей лучше по доступным стали шлемам,
А я заклят. Не повредит мне тот,
Кто женщиной рожден.

МАКДУФ:

Забудь заклятья,
Пусть дьявол, чьим слугой ты был доныне,
Тебе шепнет, что вырезан до срока
Ножом из чрева матери Макдуф.^[44]

Девочки озадачились. Мгновение тишины, а затем со всех сторон хором: «Мисс, это как это?». Дороти объяснила. Запинаясь, кое о чем умалчивая, с внезапным очень дурным предчувствием, но объяснила. После этого класс, естественно, развеселился.

Вечером половина учениц продолжила расспросы насчет «чрева» в кругу семьи – внезапное смятение, вихрь полетевших туда-сюда записок, трепет панического ужаса, потрясший стены благочестивых неконформистских домов. По-видимому, той же ночью было собран экстренный родительский совет, ибо на следующий вечер, незадолго до конца

занятий к миссис Криви явилась депутация. Дороти слышала, как они приходили, парами и поодиночке, уже догадываясь, что последует. Едва она отпустила детей, сверху раздался суровый зов миссис Криви:

– Поднимитесь-ка на минуту, мисс Миллборо! Дороти поднялась, стараясь сохранять контроль над ослабевшими коленками. В угрюмой парадной гостиной фигура миссис Криви грозно высилась возле пианино, в черных кожаных креслах инквизиторским кругом восседали шестеро родителей. Требовавший учить Мэйбл арифметикой мистер Джор. Бригс, бдительно щурившийся зеленщик, и миссис Бригс, напоминавшая сухой колючий прут. Некий буйвол с густыми длинными усами и рядом с ним жена, бесцветная, безликая, словно навек пришибленная чем-то? может, кулаком супругом (имен этой семейной пары Дороти не расслышала). Присутствовала и мать слабоумной Мэвис Уильямс, тщедушное, крошечное темное создание, всегда поддакивавшее последнему оратору. А также мистер Пойндер, коммивояжер? бодрый мужчина средних лет, лицо серое, шевелящиеся губы, поперек лысины заботливо уложенные прядки жиденьких потных волос. В честь родительского визита камин тлел тремя настоящими кусками угля.

– Сядьте вон там, мисс Миллборо, – указала миссис Криви на жесткий стул, стоящий в центре судейского кольца, как скамья покаяния.

Дороти села.

– А теперь хорошенько послушайте, что мистер Пойндер имеет вам сказать.

Мистер Пойндер имел сказать очень многое. Родители явно уполномочили его держать речь, и он говорил, говорил, пока в углах рта не запузырилась желтоватая пена. Что примечательно, оратор всесторонне осветил вопрос, но – столь уж деликатно блюлись приличия – умудрился ни разу не произнести самого вызвавшего скандал слова.

– Чувствую, что выскажу общее наше мнение, – разливался он с бойкостью опытного зазывалы, – если скажу, что ежели мисс Миллборо знала про эту пьесу («Макдуф» или как там его?), где этакое вот слова, как... про которые говорится, так уж никоим безусловным образом ей никогда нельзя было давать такое детям читать. Позор, я думаю, что в школьных книжках стыд печатают. Уверен, знай бы кто из нас какова штука этот Шекспир, мы воспротивились бы сразу с упорной твердостью. Мне удивительно, должен сказать. Я нынче утром прочел в моей «Ньюс Кроникл», что Шекспир есть отец английской литературы; ну, когда так, когда это – литература, давайте-ка ее, литературу, от нас в сторонку, вот как я скажу! И думаю, что все тут вместе со мной согласны. А ежели мисс Миллборо не знала, что там будет слово... которое упоминается, так ей бы надо прямо гнать, без остановки. Никакой даже нужды не было девочкам объяснять, что такое... там сказано. Велеть им замолчать про их вопросы – вот правильно с детьми.

– Но ведь они не поняли бы пьесу! – в третий или четвертый раз попыталась возразить Дороти.

– Конечно бы, не поняли! Вы суть-то мою не ухватываете, мисс Миллборо! Мы именно что не хотим, чтоб понимали. Охота нам, чтоб они с книжек грязных мыслей набирались? Хватит уж этого с кино и всяких там девчоночьих газеток – разные непристойные рассказы про любовь да еще и картинки, где... ну, не стану я об этом. Мы не затем дочек-то в школу посылаем, чтобы мысли вредные давать. Я это вам за всех родителей. Мы тут народ приличный, Бога чтим: кто – методисты, кто – баптисты, есть даже парочка и англиканцев между нами. Но мы все как один, когда такой вот случай. Мы-то стараемся детей своих питать духовно и упасти их понимать насчет физики организма. На мой бы вкус, ребенку – девочке уж точно – вовсе бы ничего не знать про эту физику, пока двадцать один не сравняется.

Последовал дружный кивок, а Буйвол пробасил из глубин своей утробы:

– Во-во! Отлично припечатано, Пойндер. Во-во!

Рассмотрев вопрос о Шекспире, мистер Пойндер сделал несколько общих замечаний о новомодных методах Дороти, что дало мистеру Джор. Бригсу благоприятную возможность время от времени выкрикивать: «Точно! Практическим надо! Практическим! Не ерунду: стишки учить, бумажки клеить! Счетом учить и красивым письмом, а другое все бросить! Точно! Практическим!

Все это длилось минут двадцать. Вначале Дороти пыталась возражать, однако директриса так гневно затрясла головой из-за плеч Буйвола, что оставалось лишь умолкнуть. Закончив и доведя Дороти почти до слез, родители начали подниматься. Но тут вступила миссис Криви:

– Секундочку, леди и джентльмены! Теперь, как вы сказали свое мнение (мне всегда главное от вас совет!), так я б еще капельку от себя. Для разъяснения, если вдруг кто может думать, будто моя какая бы вина в таком вот гадком деле. Это будет и вам, мисс Миллборо!

И повернувшись к Дороти, она устроила ей на глазах родителей длиннейший жесточайший «разнос». Основной темой звучало то, что грязные книжонки Дороти протасила в школу тайно, что это страшное коварство и неблагодарность, что если еще что-то в этом роде, так Дороти мгновенно вылетит вон... Долбила, и долбила, и долбила. Сотню раз прокручивалось «взятая в мой дом», «ест мой хлеб», даже «живет из милости». Родители молча взирали, на деревянных лицах – отнюдь не свирепых, но задубевших в невежестве и благонравном скудоумии – читалось важное согласие, приятная важная сытость от наглядного бичевания греха. Дороти это поняла. Поняла, сколь необходимо было унижить ее на глазах зрителей, дабы те убедились в эффективности школьных родительских расходов. Однако град упреков все сыпался и сыпался, слившись такой обидой, что Дороти уже готова была вскочить и закатить начальнице пощечину. Из души рвался гордый крик: «Не вытерплю, больше не вытерплю! Все выскажу, что думаю о ней и тотчас же уйду отсюда!» Но рта она не открывала. С ужаснувшей ясностью предстала своя беспомощность. Как ни больно, ни горько, надо держаться за работу. Ярость сменилась острой печалью. Оцепленная кругом судей, сидя неподвижно, с горящим от стыда лицом, Дороти чувствовала, что сейчас заплачет. Но хлюпанье выставит полным ничтожеством – родители потребуют ее уволить. И чтобы справиться с собой, она крепко стиснула пальцы, судорожно, до крови вонзив ногти в ладони.

«Разнос» наконец завершился клятвами миссис Криви, что ничто подобное не повторится, что все непристойные Шекспиры будут без промедления сожжены. Родители благостно кивали: молоденькую воспитательницу поучили и для ее же пользы (злобы к ней не питали, ее унижения не сознавали). Пожелав доброй ночи миссис Криви и, чуть холодней, Дороти, они направились к двери. Дороти тоже поднялась, но миссис Криви жестом приказала сидеть на месте.

– Обождите-ка минуточку, – прошипела она, пока родители выходили из комнаты. – Я еще не закончила, далеко не закончила.

Дороти села. Ноги страшно дрожали, слезы уже навертывались на глаза. Проводив родителей через парадный ход, миссис Криви вернулась с чашкой воды и плеснула в камин – стоит ли жечь уголь, когда гости ушли? Дороти ждала новых потоков «разноса». Однако обличительный пыл миссис Криви, казалось, несколько угас; во всяком случае, она оставила уже не нужный без родителей вид глубоко оскорбленной невинности.

– Хочу кое о чем поговорить, мисс Миллборо, – начала она. – Пора раз навсегда договориться, как будет в этой школе, как не будет.

– Да, – сказала Дороти.

– Ладно, я прямо вам скажу. Когда вы только сюда заявились, я ж с полвзгляда увидела – ни капли вы в школьном учительстве не смыслите. И не особо бы про это беспокоилась, если б у вас, как у других всяких, имелась здравость. А что вышло? Я вам даю неделю и неделю делать по-вашему, так первым делом вы мне вон как обозлили родителей. Ну, этого уж я опять не дам. Теперь уж все пойдет по-моему, понятно вам?

– Да, – повторила Дороти.

– Глядите, не подумайте, что я без вас не обойдусь. Да я за пару пенсов каждый день возьму себе любого БИ, МИ. Только что эти БИ, МИ частенько зашибают, а то еще... ладно, неважно что. Тут-то за вас можно сказать – вы вроде не запойная или чего такого. И мы вполне даже поладим, если вы бросите все ваши штуки да поймете дельное школьное учительство. Вы слушайте меня.

Дороти слушала. С восхитительной честностью и омерзительно естественным, инстинктивным цинизмом миссис Криви раскрыла технику мошенничества, то есть своей «дельной» педагогики.

– Вам надо, – поучала она, – раз навсегда смекнуть, что в школе учи-хлопочи, но из всего одно на ум бери – оплата. А всякое там ваше «детское развитие» тут ни к чему. Об оплате моя забота, не об развитии. Здравость нужна. Что ж, стал бы кто-нибудь со школой колотиться и допускать кучу сопливецов дом кверху тормашками переворачивать, если б тут не было с чего подзаработать. Оплата, оплата здесь первое. Ну, разве ж я не говорила вам про это сразу, как вы пришли?

– Да, – смиренно признала Дороти.

– Ну, тогда так: платят родители, вот про родителей и думать. Чего им хочется, то всегда делать. Вообще-то в этих, что вы обожаете, игрушках с клеем, пластилином особого, я думаю, девочкам вреда-то нет. Но коль родителям не хочется, значит, покончить. Ну, а желают они только письмо и арифметику. Почерк в особенности? тут ведь они сами могут успехи понимать. Вот вам на почерк-то и надо натаскивать. Побольше разных распрекрасных образцов, которые дома посмотрят, которыми перед соседями похвалятся, и нам еще бесплатная реклама. Давайте-ка два часа в день только почерк, просто почерк один.

– Два часа в день только почерк, – послушно повторила Дороти.

– Да. Ну, и арифметику тоже побольше. Родители уж очень ее любят, особенно задачки, где деньги считаются. Все время глаз на родителях держите. Как встретите кого из них, сразу прихватывайте, начинайте расписывать про дочку. Какая, мол, самая прилежная, а коль останется еще на годик, так просто чудеса начнет творить. Понимаете меня? Не надо говорить, что лучше всех всякий урок знает; если такое говоришь, они думают, ну, тогда и хватит уж, и дочек-то от нас забирают. Еще на полный год в школу послать, вот что внушайте. А контрольные за триместр ко мне носите, я люблю отметки сама поставить.

Миссис Криви увидела глаза Дороти. Собиралась, видимо, ей сказать, что всегда аттестует девочку хоть в чем-то первой ученицей, но промолчала. Несколько секунд Дороти ничего не могла вымолвить. Притихшая и бледная, в душе она боролась с мешавшим заговорить негодованием. Противоречить, однако, даже не думала. «Разнос» сломил ее. Овладев голосом, она произнесла:

– Я не должна учить ничему кроме почерка и арифметики – так?

– Ну, не в точности уж так. Хватает и других уроков, которые красиво на проспекте. Французский, например, – французский очень хорош на проспекте. Но не таков, чтоб много времени растрчивать. И незачем пихать глаголы, правила и все такое. Пускай малость разучат «парлей франсей», «пассей муа лебер», пользы побольше чем в грамматиках. Латынь вот тоже, я всегда в проспекте пишу латынь. Но вы наверно не особо по латыни, нет?

– Нет, – призналась Дороти.

– Ну и ладно. Вам этому учить не надо. Из наших-то родителей никто и не захочет, чтоб дети попусту время теряли. Но они любят, чтоб в проспекте латынь была. Много вообще уроков, которые мы тут давать не можем, но в рекламу-то ставишь обязательно. Родителям прочитать лестно, что, мол, у школы бухгалтерия, стенография, музыка с танцами. Шикарно тогда, солидно на проспекте.

– Арифметика, почерк, французский, – повторила Дороти, – еще что-то?

– Ну, история, география, литература уж английская, конечно. Но вы кончайте с этим пластилином, грязь только по полу. В географии лучше всего учить столицы. Научите-ка их тарабанить столицы графств и разных стран. Будет хоть показать, чему в школе-то научили. А что насчет истории, надо обратно взять короткую, «Родную». Меня уж бесят прямо толстые книжки, что вы пудами с библиотеки носите. Открыла тут одну на днях, и что ж там сказано? Как англичан в какой-то битве победили. Хорошенькое дело, чему детей учить! Да родители в жизни не потерпят такие штуки, точно говорю!

– А литературу? – спросила Дороти.

– Ну, надо бы, конечно, чуточку почитать. Я только не пойму, чего вы нос воротите от нашей «Хрестоматии»? По ней давайте. Она, может, малость и устарелая, так для наших-то обалдуюк в самый раз. И пускай наизусть зубрят. Родители многие любят слушать, когда дети стихи на память говорят. «Юный герой средь огненного боя» – очень хороший стих. Потом еще «Крушение парохода»... нет, как его? Ага, «Гибель отважного фрегата». Чуточку стихов не помешает. Только вперед уж безо всяких там шекспиров!

Ужина в тот вечер Дороти не получила. Дидактические речи директрисы закончились гораздо позже часа обычной вечерней трапезы, но миссис Криви отослала Дороти, ничего не сказав про чай. Видимо, это было частью приговора «по делу Макбета».

Дороти не спросила разрешения уйти, но оставаться сейчас в доме не могла. Надела шляпу и пальто и побрела по полутемной улице в библиотеку. Суровый поздний ноябрь. День был сырой, а сейчас резкий ночной ветер продувал почти оголившиеся кроны, трепал язычки газа в фонарях, срывал последние мокрые листья на скользкий тротуар. Ветер продирает до костей, добавляли дрожи воспоминания о ночевках на Трафальгарской площади. И хотя вряд ли Дороти, потеряв учительское место, вновь обязательно очутится в аду (в крайнем случае, теперь кузен или его доверенные лица совсем без помощи не оставят), но после нагоняя миссис Криви площадь бездомных вдруг значительно приблизилась. «Разнос» заставил во всей глубине понять величайшую современную заповедь, одиннадцатую, стершую все предыдущие – не потеряй работу свою!

Что касается циничных рассуждений миссис Криви насчет «дельного школьного учительства», всего лишь правда жизни. Директриса напрямик высказала то, что большинство ее коллег отлично знают, только вслух не произносят. Правило ее «всегда держи на уме оплату» был девизом, который можно – и следует! – начертать над воротами всякой частной английской школы.

В Англии, кстати, невероятное количество разнообразных частных школ. Второго сорта, третьего, четвертого (образчиком четвертого был «Рингвуд-хауз»); по дюжине, по паре дюжин в каждом лондонском пригороде, в каждом провинциальном городке. Общее число всегда приблизительно тысяч десять, из них под официальным контролем менее тысячи. Некоторые школы получше, есть и такие, которые успешно конкурируют с вечным соперником, школой муниципальной, но в основании всех общее зло: цель их – получить деньги. За исключением легальности школьного заведения, организуют его зачастую с тем же самым финансовым расчетом, который стимулирует создание нового публичного дома или подпольной букмекерской конторы. Какой-нибудь мелкий делец (владеют школами обычно люди, от педагогики крайне далекие) однажды утром говорит жене:

«Слышь, Эмма, у меня идея! Что скажешь, если школу завести? Денег она полно дает, а потеть, как при лавке или пабе там не с чего. И потом дерготни ведь никакой, законно и всех дел: плати аренду, наставь скамеек да к стене черную доску. Шик подпустим, найдем по дешевке безработного парня с этого Оксфорда-Кембриджа, нацепим ему мантию, колпак ихний квадратный с кисточкой. Не клюнут, что ль, родители-то, а? Место б нам только подобрать, где бы поменьше умников, что тоже на этих школьных играх греются».

И вот делец, найдя местечко в квартале жителей среднего, весьма среднего класса (слишком бедных оплачивать школу приличную и слишком чванлых согласиться на школу муниципальную), свое учебно-доходное дело «заводит». Постепенно, ухватками расторопного лавочника набирает клиентуру и, если ловок и обходителен, а конкурентов по соседству сравнительно немного, делает свои несколько сотен в год.

Разумеется, не все школы одинаковы. Не каждый директор пошлый и хищный выжига образца миссис Криви, есть школы с доброжелательной нормальной атмосферой и таким уровнем, который вполне отвечает разумным ожиданиям за пять фунтов в год. Но есть действительно чудовищные заведения. От одной сайтбриджской учительницы, с которой она позже познакомилась, Дороти слышала рассказы о школах несравненно худших чем «Рингвуд-хауз». Например, о дешевом интернате, куда артисты-гастролеры сваливали детишек, как мешки в камеру хранения, где школьники росли бурьяном на пустыре, не занимаясь абсолютно ничем, не выучившись даже читать. И о другой, совершенно хулиганской школе, где старый неудачник из бывших газетных халтурщиков с палкой гонялся за мальчишками по классу и вдруг валился головой на стол, рыдая перед хохочущей оравой. Если школы работают ради денег, подобное неизбежно. Дорогие частные школы, конечно, привлекательнее, ибо здесь по карману нанимать настоящих педагогов и держать тон действительно культурный, но и здесь в сердцевине та же гниль.

Со временем Дороти всю эту систему уяснила, однако поначалу ее терзал страх, что вот-вот в «Рингвуд-хауз» нагрянет школьная инспекция, обнаружит явное надувательство и будет жуткий скандал. Страхи, как выяснилось, абсолютно беспочвенные: «Рингвуд-хауз» не входил в список «утвержденных» школ, а потому инспекциям не подвергался. Был один

случай появления инспектора, но проверка ограничилась замером кубатуры классной комнаты на предмет соответствия санитарной норме; прав на что-либо иное официальный ревизор не имел. Только «утвержденные» школы (которых менее одной из десяти) проверяются государством для выяснения образовательного уровня. В остальных полная воля как учить, чему учить или же не учить вовсе. Никто такие очаги знаний не контролирует кроме родителей, поистине тех самых слепых, ведущих за собой слепцов.

5

На следующий же день Дороти изменила расписание согласно директивам миссис Криви. Назначила с утра два часа чистописания, затем географию.

– Достаточно, девочки, – сказала она, когда траурные часы на камине пробили десять. – Теперь займемся географией.

Ученицы, загромыхав крышками парт, поспешно, радостно убрали тетрадки для образцов. По классу прошумело: «Ух ты, геграфия! Урра!». Все оживились в предвкушении одного из любимых уроков. Две «дежурные», назначенные на эту неделю стирать с доски, собирать по рядам тетради и демонстрировать прочие столь же заманчивые привилегии, кинулись доставать стоявшую у стены пластилиновую карту. Но Дороти вернула их:

– Не надо, сядьте. Сегодня мы карту лепить не будем.

Встревоженные крики «О-о, мисс! Почему? Давайте делать карту!»

– Нет. В последнее время мы уделяли карте слишком много внимания. Начнем учить главные города английских графств. Я бы хотела, чтобы все вы к концу триместра знали их назубок. Лица девочек вытянулись. Заметив это, Дороти бодро и весело, тем сладким голосом, которым взрослые подсовывают всякую дрянь, добавила:

– Представьте только, как приятно будет вашим родителям, когда они спросят вас о столице какого-нибудь графства, а вы им тут же ее назовете!

Хитрость не удалась. Лица учениц от такой тошнотворной картины скривились.

– У-у, столицы! Опять как раньше, да? Мисс, ну пожалуйста, ну почему нам нельзя карту?

– Без препирательств. Доставайте тетради, записывайте под мою диктовку. Потом все вместе повторим.

Нехотя девочки выудили из парт тетради, продолжая канючить:

– Мисс, а на завтрашний урок мы будем карту?

– Не знаю. Посмотрим.

Тем же днем карту из класса вынесли, пластилин миссис Криви выкинула. Подобной чистке подверглись и остальные предметы. Все реформы Дороти погибли. Вернулись к переписке образцовой патоки, подсчетам «практических» примеров, попугайской зубрежке «*passer-moi le beurre*» и «*le fils du jardinier a perdu son chapeau*», «Краткому курсу родной истории» и патетичным отрывкам «Хрестоматии» (Шекспиров миссис Криви конфисковала якобы для сожжения, более вероятно – для продажи букинистам). Вновь каждый день часами тренировали почерк. Два снятых Дороти черных листа снова повесили, с прежним каллиграфическим искусством выведя на них прежние назидательные мудрости. А историческую панораму миссис Криви свернула и действительно сожгла.

По ходу реставрации всей старой тягомотины, ученицы вначале удивились, потом затосковали, потом обиделись. Но несравненно хуже было Дороти. Вздор, которым приходилось пичкать детей, через пару дней опротивел до почти буквальной тошноты. Вскипало желание послушаться миссис Криви. Почему бы нет, мысленно рассуждала Дороти, глядя на хнычущих, изнывающих детей. Почему бы хоть пару часов в день не уделить нормальным осмысленным занятиям? Или позволить детям просто поиграть? Пусть просто лепят, рисуют, сочиняют, все равно что, только живое, интересное взамен этой кошмарной чуши. Но она не отважилась. Всякий миг могла заявиться миссис Криви, и «возня» вместо положенных прилежных попыток обрушила бы страшную грозу. И Дороти смиряла сердце, и все шло так, как шло всегда до того дня, когда мисс Стронг вдруг «сделалось нехорошо».

Скучища на занятиях достигла столь беспросветного уныния, что самым ярким событием недели стали происходившие по четвергам после обеда так называемые «лекции по химии» мистера Буфа. Немолодой, трясущийся, линялый, с двумя сосульками желто-бурых усов,

мистер Буф ранее когда-то состоял в штате приличной школы, но ныне ради поддержания жизни в стадии перманентного подпития довольствовался чтением лекций с гонораром по полтора шиллинга. И в дни расцвета не блиставший талантом лектора, после первого приступа белой горячки и накануне второго мистер Буф сам уже ничего не мог вспомнить про свою науку. Смущенно топтался перед классом, тщетно напрягал память, мямлил с некой наставительностью: «Следует помнить, девочки, химических элементов девяносто три... девяносто три элемента, дети... да, ровно девяносто три... следует помнить, дети, всего девяносто три...» Бормотал свою ахинею, казня позором Дороти (обязанную присутствовать, ибо, по мнению миссис Криви, неприлично было оставлять учениц наедине с мужчиной). Все лекции начинались числом химических элементов и не намного продвигались дальше так же, как обещание провести «очень интересный маленький опыт, который я покажу на той неделе... очень интересный... на той неделе, да... очень интересный». Провести опыт впрямь было затруднительно, поскольку никаких химических приборов мистер Буф не имел, да и не удержались бы пробирки в его жутко трясущихся руках. Девочки на этих лекциях впадали в состояние студенистого столбняка, но даже мистер Буф приятно разнообразил тоску чистописания.

Девочек, окружавших Дороти до визита их родителей, больше не было. Они, конечно, не вмиг переменялись. Признав Милли «старушкой неплохой», ждали, что она, помытарив денька два почерком и столбцами цифр, опять вернется к чему-то интересному. Однако тоска продолжалась, и обаяние Дороти – учившей не занудно, руки им не щипавшей и уши не крутившей – постепенно тускнело. Кроме того, быстро просочились слухи относительно нагоняя. За что попало педагогу, девочки точно не знали, но уловили, что Милли в чем-то проштрафилась и схлопотала «разнос». А это сразу уронило Дороти в их глазах. С детьми, даже любящими детьми, не справишься, если не сохранишь авторитет; допусти хоть раз его поколебать, тебя начнут изводить самые милые ребяташки.

Вот ученицы и начали нормальным, традиционным манером безобразничать. Раньше Дороти должна была обуздывать только внезапные приливы лени, галдеж, припадочки идиотского хихиканья. Теперь, вдобавок – лживость и враждебность. Ученицы бунтовали. Забыли краткие недели, когда Милли считалась правильной старухой и сама школа показалась вдруг даже занятой. Школа опять стала обычной, какой была, какой ей полагалось быть. Местом, куда идешь зевать и коротать время, цепляя соседку или же доводя училку, из которого с воплем счастья вырываешься на первой ноте финального звонка. Иногда ученицы дулись и впадали в плаксивость, иногда с детским, доводящим до бешенства, упрямством спорили: а почему мы так должны? а почему надо так делать? – настырно пререкались, пока Дороти, подойдя вплотную, не вынуждала замолчать угрозами применить силу. Раздражение делалось привычным; саму ее оно коробило, шокировало, но вспыхивало помимо воли. Каждое утро Дороти зарекалась «сегодня не позволю себе вспылить» и каждый день, с угнетающей регулярностью, позволяла, особенно ближе к полудню, в зените скверного поведения школьниц. Ничто не раздражает так, как укрощение хулиганящих детей. Дороти уже знала: рано или поздно она сорвется и ударит. «Бить ребенка!»? каким для этого надо быть варваром! Большинство учителей, однако, в итоге применяют возмутительно негуманное средство воспитания. Ни одну ученицу нельзя было заставить что-то делать без неусыпного надзора. Стоило на мгновение отвернуться, начиналась перестрелка шариками из жеваной промокашки. Тем не менее под кнутом надсмотрщика показатели почерка и «коммерческой арифметики» действительно несколько улучшались, родители наверняка были довольны.

В последние недели триместра стало совсем худо. Более полумесяца Дороти просидела без гроша; миссис Криви объявила, что выплата жалования невозможна «до поступления некоторых взносов». Иссякла тайная подпитка шоколадом, и результатом постоянного недоедания стала постоянная вялость. Унылые деньки. Невыносимо медленно ползущие часы, когда глаза неодолимо липнут к циферблату и тошно от сознания, что вслед за истекающим уроком уже накатывает следующий точно такой же, а за ним следующий, следующий, бесконечными валами бескрайней тоски. Еще хуже, когда дети войдут в буйную фазу и все силы необходимо напрягать, чтобы хоть как-то удерживать контроль над классом. А за стеной, конечно, миссис Криви, вечно подслушивает, вечно стережет, вот-вот гроыхнет

дверью и ворвется, метнет свирепый взгляд по сторонам, на губах «что еще за шум!», в глазах «уволю!».

Теперь Дороти хорошенько разглядела скотский быт директрисы. Холод, объедки за столом, редкие ванны – детали обихода, не столь уж важные недавно, резко укрупнились. Прибавилось боли от своего забытого в упоении работой полного одиночества. Ни отец, ни Варбуртон не писали, ни с кем здесь, в Сайтбридже, она за эти месяцы не подружилась. Любому трудно, незамужней женщине почти невозможно обзавестись друзьями в подобной ситуации. Денег не было, родного очага не было, единственно, куда она могла уйти из школы: в библиотеку или в церковь по воскресеньям. Походы в церковь совершались обязательно, как часть жестких условий, выдвинутых миссис Криви. Выбор конкретного церковного пункта определился первым же воскресным утром во время завтрака.

– Вот прямо и не знаю, при каком храме вам состоять. Вас, верно, при АЦ воспитывали? – спросила директриса.

– Да, – сказала Дороти.

– Хм, ладно. Так куда ж мне вас отправить? Есть Святого Георга, где АЦ, есть Молельня Баптистов, куда сама хожу. Родители-то наши по большинству нонконформисты, как-то еще посмотрят на учительницу при англиканской церкви. Тут с ними надо, ох, как осторожно. Так всполошились пару лет назад, когда моя тогдашняя учительница вдруг оказалась католичка, вот представьте-ка! Она уж скрытничала-скрытничала, да все равно наружу выплыло, и сразу несколько дочек позабирали. Я ее, натурально, в тот же день за порог.

Дороти молчала.

– Но все-таки, – прикидывала миссис Криви, – у нас имеются же трое, которые АЦ, а потом вроде как бы не положено церковную-то связь переменять. Может, уж лучше и рискнуть, ходить вам в вашего Святого Георга. Только ведите себя там с оглядкой. Мне говорили, что в Святом Георге заведено все это: чтоб крестится да на коленки падать. А у нас два папаши Плимутские братья, секта-то строгая, вой подымут, как узнают, что вы у всех на виду стояли и крестились. Так вы обряд, конечно, соблюдайте, но этого ни-ни!

– Хорошо, – сказала Дороти.

– И зорче-то по сторонам глядите во время проповеди. Высматривайте, нет ли в пастве таких девчонок, чтобы к нам. Увидите какую подходящую – к пастору сразу, разузнайте, как зовут ее, где проживает.

Итак, ходила Дороти в храм Святого Георга. Церковный тон чуть «выше» Святого Афельстайна: вместо скамей для паствы стулья. Но никакого ладана и викарий, мистер Гор-Вильямс, всегда в строгой сутане, лишь по праздникам еще белый стихарь. Службы там шли привычным, насквозь известным порядком, так что участие в ритуалах не требовало отвлекаться от собственных, весьма далеких от церкви размышлений.

Способность верить ни на миг к ней не вернулась; сама идея веры перестала восприниматься, как-то растворилась. Загадочная это вещь – потеря веры, столь же загадочна, как обретение. Тоже не крепится корнями логики, а просто климат меняется в сознании. Но как бы мало ни значили обряды, о часах, проведенных в церкви, Дороти не жалела. Напротив, утро в воскресенье сулило паузу блаженного покоя. Влекло сюда не только желание отдохнуть от назойливости миссис Криви; атмосфера церкви покоила и укрепляла в глубинном, драгоценном чувстве. При всей нелепости формальных правил, при всем малодушии догматов, в храме ощущалось нечто невыразимо достойное – какая-то прелесть духовности, которую с трудом отыщешь во внешнем мире. Даже утратив веру, казалось Дороти, лучше быть с церковью, чем без нее; лучше идти старинным четким руслом, чем плыть куда-то по воле волн. Она прекрасно понимала, что никогда больше не сможет произнести молитву, искренне молясь; но понимала также, что свой путь должна пройти, держась канона, преподанного с детства. Пусть веры больше не было, память о ней осталась сухим скелетом, остовом живого тела.

Впрочем, она пока не углублялась в мысли о том, как будет жить без веры. Только бы выжить, продержаться, только бы хватило нервов выстоять до конца злосчастного триместра. А с каждым днем хранить порядок в классе делалось все труднее. Ученицы вели себя ужасно, злясь на Дороти больше всего из-за прошлых к ней симпатий. Она их подло обманула. Явилась вроде человеком, а выяснилось, что как все – обычная зверюга, которая лезет и

лезет с этим гнусным чистописанием, грызет и пилит за каждую кляксу. Дороти ощущала неприязнь их взглядов, въедливых, по-детски безжалостных. Раньше она считалась у них хорошенькой, теперь – тощей страшилой. Она действительно заметно исхудала со времени прихода в Рингвуд-хауз. Дети ее, как всех прежних учителей, возненавидели.

Травили иногда вполне сознательно. Старшие и самые шустрые, вполне оценив положение (размазне Милли здорово влетает за их возню), порой шумели исключительно с целью вызвать гримзу Криви и полюбоваться на испуг Милли, когда ведьма ее песочит. Дороти крепилась, прощала, понимая здоровый бунт детей, замученных муштрой. Но случалось, издерганные нервы сдавали, в лицо глумливо скалились два десятка глупых физиономий, и ее захлестывала ненависть. Невинные дети столь слепы, столь эгоистичны, столь жестоки. Терзают хуже палачей, сами того не ведая, а ведали бы, так терзали еще больше. Хоть наизнанку для них вывернись, хоть проникнись ангельским терпением, но если ты обязан их допекать, они не станут разбираться, твоя ли тут вина, и будут мстить. Ясное дело! Всякий бывший ученик (особенно не побывавший затем в роли учителя) вздохнет, вспомнив стишок:

В школу, детки, вам пора,
Снова горе вам с утра,
Снова мучиться уроком
Под свирепым зорким оком.

А вот побудешь этим самым свирепым оком, поймешь, что у медали есть и другая сторона.

Настала заключительная неделя: с комедией «экзаменов». Система, предварительно изложенная миссис Криви, была проста. Натаскивали, например, детей в решении пары задач до полного автоматизма, и сразу, пока не вылетело из голов, ставили эти задачки на экзамен по арифметике; прием повторялся со всеми прочими предметами. Итоги детской успеваемости пересылались, разумеется, инспекторам-родителям. И столько раз Дороти под диктовку миссис Криви вывела на работах красными чернилами «отлично», что бесконечно повторявшееся слово усталая рука стала вычерчивать, путаясь в буквах: «оттлично», «отличчно», «оотлично».

Последний день проходил в страшном буйстве. Даже наскоки миссис Криви не навели порядок. К полудню нервы Дороти были изодраны, а в обед миссис Криви сделала ей «вычет» на глазах семи столовавших воспитанниц. После обеда бесчинства хуже прежнего, и Дороти сдалась.

– Девочки! – едва не плача взмолилась она, стараясь перекричать дикий галдеж. – Прошу вас, перестаньте, я прошу вас! Вы же меня так мучаете. Ну за что? Пожалейте.

Роковой, конечно, шаг. Никогда, ни под каким видом нельзя просить у ребенка пощады. Мгновение тишины, а потом один голосок громко, нахально выкрикнул «Мил-ли!». И тут же все, даже дурочка Мэвис, хором подхватили нараспев: «Мил-ли! Мил-ли! Мил-ли!». Что-то в Дороти надломилось. Она замерла, обвела класс взглядом, подошла к самой наглой крикунье и с маху, со всей силы отвесила ей оплеуху. По счастью, это оказалась всего лишь «средняя плательщица».

6

В первый день каникул Дороти получила письмо от Варбуртона.

«Дорогая моя Дороти, – писал он, – или следует называть тебя Эллен, так как, насколько мне известно, у тебя теперь псевдоним? Я опасаюсь, ты сочла ужасно бессердечным столь долгое мое молчание, но уверяю, еще десять дней назад я пребывал в полном неведении относительно нашей мнимой совместной шалости. Скитался за границей, сначала по городам и весям Франции, потом в Австрии, в Риме и вследствие известных моих причуд весьма активно сторонился общества соотечественников. Они и дома достаточно противны, а в чужих землях их манеры вгоняют меня в такой стыд, что я предпочитаю выдавать себя за американца.

По возвращении в Найп-Хилл мне было отказано в аудиенции у твоего батюшки, однако удалось все-таки через возвышенного Виктора Стоуна добыть и адрес и то имя, которым ты ныне зовешься. Из необычайной надменности мистера Стоуна я заключил, что даже он,

наряду с остальными в этом тухлом городишке, по-прежнему подозревает тебя в неких дурных деяниях. Не думаю, что они еще верят в историю о нашем тайном бегстве, но что-то эдакое за тобой смутно числится. Молоденькая, вдруг исчезнувшая барышня – о, разумеется, не обошлось без джентльмена; вот так, сама знаешь, работают провинциальные умы. Стоит ли говорить, что все наветы опровергались мною с лютым и благородным гневом. И я – тебе будет приятно знать – сумел-таки сразить мерзейшую из всех кикимор миссис Семприлл молнией моего ума. Молнии эти разят поистине убийственно, однако дама оказалась существом сверхъестественным, так что всего, чего я смог добиться, это лицемерные нюни о «бедненькой, бедненькой Дороти».

Похоже, досточтимый твой батюшка затосковал без дочери и с удовольствием вернул бы тебя, если бы не скандал. Еду ему, кажется, подают с опозданием на целых полторы секунды. Насчет тебя он сообщает: «Уехала поправить здоровье, для удовольствия ведет занятия в одной из лучших частных школ». Ты изумишься, узнав еще одну новость о нем. Он вынужден был заплатить по всем своим счетам! Рассказывают, будто лавочники скопом восстали, проведя на лужайке перед ректорским домом нечто вроде митинга кредиторов. Случай конечно же немыслимый при благороднейшем вельможном епископате, но, увы, времена демократические! Ты, очевидно, оставалась единственной персоной, способной усмирять мятежных лавочников.

А теперь познакомлю тебя с краткой хроникой собственных мелких новостей...»

На этом месте Дороти смяла письмо, разочарованная, даже раздраженная. Мог бы, кажется, проявить чуть больше сострадания! Как это похоже на Варбуртона, из-за которого, собственно, полились потоки грязи, – отнестись к происшедшему так легко и беспечно. Однако, поразмыслив, Дороти сняла обвинение в черствости. Тем малым, что было в его силах, он ей помог, а ждать сочувствия несчастьям, о которых даже не слышал, трудновато. И потом у него вся жизнь бурлила серией скандалов; ему, видимо, даже не понять, что такое скандал для женщины.

Под рождество отец ей тоже написал, и, более того, прислал в подарок два фунта. Тон письма определенно свидетельствовал о прощении. За что отец прощал ее, осталось непонятным, но ясно было – он простил. Вначале шли сугубо светские, но вполне дружелюбные вопросы. Выразив надежду, что работа приятна Дороти, отец учтиво интересовался: достаточно ли хорошо обставлены спальня и кабинет? близок ли ей по духу педагогический состав? В части комфорта у нынешних школ, вероятно, большие преимущества. Вот в его дни... Тут Дороти, читая, вздохнула. Отцу, конечно, не представить ее реальных обстоятельств; говоря о школе, он мысленно видит Винчестер, старинные классы своего детства. Такие гадости, как Рингвуд-хауз его воображению не доступны.

Далее в письме ворчливо перечислялись осаждающие Ректора мерзости. Старосты церкви постоянно беспокоят тем-то и тем-то. Прогетт смертельно надоел рапортами о ветхой колокольне. Приходящая служанка, нанятая помогать Эллен, оказалась казнью египетской и угодила ручкой своей метелки в стекло над циферблатом напольных часов в кабинете. И прочее, и тому подобное на нескольких страницах. Неоднократно проскальзывало сожаление об отсутствии Дороти, но насчет ее возвращения ни слова. По-видимому, еще сохранялась необходимость прятать ее как следы страшного преступления, запятнавшего фамильную честь.

Письмо наполнило тоской по дому и всем своим приходским хлопотам. Грустной тревогой об отце, которому, наверно плохо без должного ухода, с двумя глупыми бестолковыми служанками. Свою дочернюю любовь Дороти всегда опасалась обнаруживать – отец не поощрял вульгарную сентиментальность. Но ее поразило, даже немного испугало, как редко ей случалось думать о нем последние четыре месяца. Неделями вообще не вспоминала. Впрочем, неудивительно; все чувства днем и ночью поглощались просто заботой поддержать существование.

Зато теперь можно было переживать, грустить часами. Несмотря на обычное стремление миссис Криви завалить Дороти делами, времени оставалось предостаточно. Начальница, не видя прока от учителя в дни каникул и явно полагая его сохранявшийся аппетит безобразием, за столом чрезвычайно выразительно вперялась в дармоеда, так что Дороти старалась надолго уходить из дома. Обретя целое богатство (четыре фунта жалования за девять недель плюс два фунта отцовского подарка), покупала себе сэндвичи и ела их на

улице. Миссис Криви молча с этим смирилась; отчасти кисловато, ибо терялось удовольствие часами пилить Дороти, отчасти благосклонно, ибо приятно экономились продукты.

В долгих одиноких прогулках Дороти изучала Сайтбридж, исследуя также совсем дремучие соседние Дарлей, Вембридж и Вест-Холтон. Мрачнейшая пустыня была наверно веселее зимней спячки этих промозглых серых пригородов. Пару раз, хотя такие развлечения грозили вскоре обернуться полуголодным рационом, ездила самым дешевым рейсом в Айвер-Хит и Бернхам-Бич. В рощах чернели влажные стволы, сквозь туман медью светились груды опавших буковых листьев. Благодаря мягкой погоде можно было даже присесть и почитать; только, конечно, в перчатках.

Наступил сочельник. Миссис Криви вытащила припрятанную с прошлого года связочку остролиста и, обтерев пыль, приколотила веточки над дверью, но заявила, что никаких рождественских обедов устраивать не собирается. Она вообще презирала рождественскую ерунду – сплошную блажь, плутни жуликоватых торгашей, толкающих на совершенно лишний расход; ее просто бесили все эти праздничные пудинги, индюшки. Дороти полегчало. Страшно было даже представить рождественский обед (жутким видением мелькнула миссис Криви в задорном пестром колпачке) за столом безотрадной «утренней гостиной». Со своим праздничным припасом – крутое яйцо, хлеб, сыр, бутылка лимонада – Дороти пиновала в роще близ Бернхама, под высоченным ветвистым буком, над страницами «Необыкновенных женщин» Джорджа Гиссинга

Если прогулки из-за непогоды отменялись, Дороти дотемна сидела в общественной читальне, пополняя ряды привычных завсегдатаев: безработных, оцепенело глядевших сквозь журналы, думавших свои горестные думы, и пожилых невзрачных холостяков, съемщиков чердачных «квартирок», являвшихся часами штудировать руководства по яхтенному спорту. Конец триместра воодушевлял близившимся досугом отдыхом, но радость быстро выветрилась. Никого, с кем хоть словом перемолвиться, дни тянутся еще тоскливей прежнего. Нет, вероятно, среди человеческих селений места, где одинокой душе так отчетливо и безнадежно одиноко, как в лондонских предместьях. Толчея больших городов дает, по крайней мере, иллюзию общения. В провинции все действительно интересуют друг друга (пожалуй, даже слишком). А вот в каком-нибудь Сайтбридже, оказавшись без семьи, без дома, который, пусть на время, можно считать своим, полжизни проживешь и не успеешь завести дружбу. Встречаются здесь женщины, в особенности культурные женщины со скудным заработком, которые годами прозябают чуть ли не в абсолютном одиночестве. Довольно скоро Дороти настиг хронический упадок духа: все утомительно, неинтересно. И в этой постоянной хандре – коварнейшей ловушке для современных душ – она впервые почувствовала, что несет ей потеря веры.

Пыталась впасть в книжный запой и приблизительно неделю читала с упоением. А затем книги, все подряд, стали казаться скучными, невразумительными. Отторгнутый от живого общения, вялый мозг не желал трудиться, отказывался воспринимать что-то сложнее детектива. Стараясь вогнать себя в бодрое настроение, Дороти уходила на прогулки по десять и пятнадцать миль, но разбитые загородные дороги, слякоть лесных тропинок, голые стволы, мокрый мох и пышная древесная плесень повергали в убийственную меланхолию. Гнетущее, безвыходное одиночество. Поздними вечерами, возвращаясь обратно в школу, Дороти смотрела на уютно освещенные окна, слышала смех и звуки патефонов, и сердце грызла зависть. Ах, хоть каких-нибудь благожелательных друзей! Подчас она мечтала набраться храбрости, заговорить с кем-то прямо на улице. Еще обдумывались планы изобразить глубочайшую набожность, дабы свести знакомство с семейством викария и приобщиться к заботам, хлопотам в приходе Святого Георга. Накатывало такое страшное отчаяние, что мелькала мысль вступить в Лигу Молодых Христианок.

Но под конец каникул, благодаря случайной встрече в библиотеке, Дороти неожиданно нашла приятельницу. Даму по имени мисс Бивер, преподавательницу географии в Коммерческом Тутс-колледже (очередной соседней частной школе). Размерами и претензиями этот колледж значительно превосходил Рингвуд-хауз: тут обучали сотни полторы приходящих учеников обоего пола, благородство заведения простиралось до содержания дюжины пансионеров, программа отличалась чуть менее бесстыдным надувательством. Здешняя, весьма популярная, программа мишенью выбрала родителей, любящих поболтать насчет «необходимой в наше время дельной подготовки». Образование

шло под лозунгом «деловитость!», что подразумевало стиль невнятно бурной активности и полное изгнание каких-либо гуманитарных дисциплин. С первых уроков заучивался местный катехизис, называвшийся «Кодексом деловитости». Вопросы и ответы четкие, ясные:

В чем заключается секрет успеха?

Секрет успеха – деловитость.

В чем проявляется деловитость?

Проявление деловитости – успех.

Ну и так далее. По мнению очевидцев, зрелище стройных рядов мальчиков и девочек, дружно чеканящих перед директором «Кодекс деловитости» (ритуал, дважды в неделю замещавший утреннюю молитву), чрезвычайно впечатляло.

Мисс Бивер, чопорная маленькая дама, своей походкой, плотным округлым телом и красноватым носом на худощавом личике очень напоминала индюшку. Двадцатилетний стаж мастера дрессировки возвысил ее до недельного оклада в четыре фунта и права обитать «вне службы» вместо того, чтобы блюсти ночами дисциплину в спальне пансионеров. Снимая «квартирку» (крошечный однокомнатный номер), она могла изредка, в общий свободный вечер, приглашать Дороти. И как же та ждала этих визитов! Их приходилось наносить с большими интервалами, ибо квартирная хозяйка мисс Бивер «гостей не одобряла», сами долгожданные визиты не обещали развлечений кроме совместного решения кроссвордов из «Дейли Телеграф» или рассматривания фотографий, сделанных мисс Бивер во время ее единственной и незабываемой заграничной поездки в австрийский Тироль в 1913 году. Но все-таки это было так дорого – сидеть в гостях и дружески беседовать, пить не подкрашенную воду миссис Криви, а настоящий чай! У мисс Бивер в дорожной лаковой шкатулке (сопровождавшей ее в Тироль в 1913 году) хранилась спиртовка, на которой она заваривала черный как деготь чай, поглощая этой жидкости за день примерно около ведра. Мисс Бивер, по ее рассказам, непременно брала термос и в школу, где услаждала себя чашечкой настоящего чая до и после обеда. Глазам Дороти открылись две главные дороги для учительниц захудалых школ: путь мисс Стронг – через стаканчики виски в рабочий дом, или же путь мисс Бивер – через чашечки чая к пристойной кончине в Доме для Неимущих Леди.

По правде говоря, мисс Бивер была дамой весьма унылой, воплощая грозное «помни о смерти», точнее «о старости». Душа ее с годами высохла, как потрескавшийся обмылок; однокомнатную клетку у тиранки-хозяйки и заталкивание «деловитой» экономической географии в глотки давящихся детей она, видимо, полагала своей единственной судьбой, иного уже не представляя. Тем не менее, Дороти сердечно привязалась к ней, и эти редкие часы в ее квартирке, часы совместного решения кроссвордов за чашечками чая, цвели оазисами.

Началу пасхального триместра она обрадовалась. Пусть целыми днями труды надсмотрщика, только не одинокая тоска каникул. Поведение учениц слегка улучшилось; во всяком случае, руку на них больше поднимать не пришлось. Холодной жесткостью держать порядок удавалось довольно просто. Перед каникулами дети хулиганили, поскольку Дороти восприняла их как людей, и они именно как люди под гнетом взбунтовались. Но когда вынужден пичкать детей абсурдом, забудь в ребенке человека. Гоняй хлыстом, гоняй без всяких уговоров. Внуши, что бунтовать больнее, чем покоряться. Возможно, для самих детей этот метод не лучший, зато, без сомнения, доходчивый и эффективный.

Дороти научилась мрачному ремеслу учителей. Научилась бесчувственно проживать часы уроков, беречь нервы, быть всегда властным победителем, находить повод для радости и гордости, отлично выполнив очередную чушь. Она вдруг сделалась строже и старше. Из глаз ушло полудетское выражение, черты лица обозначились резче, вытянув нос еще длинней. Иной раз виделась почти образцовой классной дамой, мысленно уже хорошо представлялась в пенсне. Только циничной пока не стала. Все-таки помнила, что эти дети жертвы гнусного шарлатанства, все-таки еще надеялась хоть чем-то им помочь. Муштровала и забивала головы ерундой по единственной причине? боялась лишиться места.

На уроках теперь было тихо. Вечно искавшей к чему придраться миссис Криви редко выпадал шанс постучать в стену палкой своей метлы. Как-то за завтраком, директриса пристально, будто взвешивая решение, поглядела на Дороти и пододвинула к центру стола блюдечко повидла.

– Берите, если очень хочется, мисс Миллборо, – сказала она с доступной ей любезностью.

Впервые за время пребывания в Рингвуд-хаузе, Дороти коснулась повидла не глазами, а языком. Она слегка зарделась. Невольно про себя подумала: «Вот, наконец-то оценили мои труды».

С тех пор Дороти ежедневно имела к завтраку повидло. Наблюдались и некоторые другие изменения в манерах миссис Криви, конечно не подобревшей? этого ждать было бессмысленно, но чуть менее грубой. Случалось даже, она мяла свое лицо с потугой на улыбку (лицо ее, казалось Дороти, скрипело от таких усилий). В речах директрисы замелькал «следующий» триместр: «на следующий триместр нам надо...», «в следующий триместр вы должны...». Дороти почувствовала, что ее удостоили доверия, что из рабов перевели едва ли не в коллеги. Затепилась некая, безрассудная разумеется, надежда – а вдруг миссис Криви повысит жалование? Дороти гнала вздорную мысль, но не совсем успешно. О, если бы прибавка хоть на полкроны в неделю, вот бы счастье!

Подошел последний день триместра. Может, повезет, может быть уже завтра миссис Криви заплатит, мечтала Дороти. Кошелек ее давно опустел, а деньги нужны были ужасно, купить какой-нибудь еды и, главное, новые чулки, поскольку старые держались, в основном, шпошкой. Наутро Дороти, исполнив все свои задания по хозяйству, не уходила, дожидаясь в «утренней гостиной» директрису. Вскоре та, шаркавшая метлой наверху, спустилась.

– Ага, вы тут, мисс Миллборо! – произнесла она многозначительно. – Мне так и думалось, что вы сегодня не кинетесь прямо с утра бежать из дома. Ну, раз вы тут, я сейчас выдам ваше жалование.

– Спасибо, – сказала Дороти.

– А после, – добавила миссис Криви, – у меня к вам еще словечко.

Сердце Дороти встрепенулось. Не означало ли «словечко» грезившейся прибавки? Чудо обретало реальность. Отперев ящик кухонного шкафа, миссис Криви вытащила истертый кожаный кошелек, открыла его и послонила большой палец.

– Двенадцать недель, пять дней, – прищурилась она. – В общем, три месяца, нечего уж с каждым днем разбираться. Стало быть, шесть фунтов.

Она выбрала в пачке пять самых ветхих фунтовых бумажек и две такие же по десять шиллингов; затем, подвергнув их осмотру и очевидно найдя один банкнот чересчур новым, вложила его обратно в кошелек, найдя другой, разорванный. Снова порывшись в шкафу, достала лоскуток прозрачной клейкой бумаги и аккуратно соединила половинки. Наконец все сложила вместе, протянув Дороти.

– Вот вам, мисс Миллборо, – сказала она. – И, пожалуйста, уходите-ка отсюда побыстрей. Вы мне больше не нужны.

– Я вам больше...

Внутри у Дороти похолодело. Кровь отхлынула от лица. В ужасе и отчаянии, она пыталась не поверить своим ушам. Брезжила все-таки надежда, что миссис Криви просто предложила уйти из дома до вечера.

– Я больше не нужна вам? – повторила она едва слышно.

– Нет. У меня на следующий триместр новая нанята. Что ж мне даром, что ль, содержать-то вас в каникулы?

– Вы хотите меня совсем... совсем уволить?

– Ну да. Чего ж, по-вашему, я говорила?

– Но разве не полагается предупредить?

– «Предупредить!» – мгновенно распалилась миссис Криви. – Да с чего это я должна? Имеется у вас контракт подписанный, имеется?

– Контракта нет...

– Вот то-то! Давайте-ка вещички собирайте. Не тяните, к обеду на вас не приготовлено.

Дороти поднялась к себе, присела на край кровати. Бил такой озноб, что несколько минут она не думала, не шевелилась, только пыталась унять дрожь. Все как в дурмане. Не

поверить, что эта грянувшая без всякой причины катастрофа наяву. Однако у миссис Криви была причина, крайне простая и веская.

Неподалеку от Рингвуд-хауз находилась некая захиревшая школа, носившая название «Чертоги», имевшая лишь семь воспитанниц. Учительницей там была мисс Оллок, полуграмотная старая кляча, перебивавшая в тридцати восьми школах и не пригодная для попечения о канарейке. Но одним замечательным талантом мисс Оллок обладала: умела превосходно облапошить своих начальников. В убогих частных школах бушует особый вид пиратства. «Задурив голову» родителям, крадут у школы учеников. Чаще всего стоит за этим вероломство педагога. Наставница тайком соблазняет нескольких родителей («дадите ребенка мне – будет вам на десять шиллингов подешевле»), после чего коварно дезертирует с добычей. Либо сама «заводит» школу, либо утаскивает детей в другую. Из семи школьниц нынешнего своего директора мисс Оллок смогла похитить трех, которых предложила миссис Криви. Взамен она хотела место Дороти и двадцать процентов комиссионных со свежих поступлений.

Довольно долго велся секретный торг, процент мисс Оллок удалось понизить до двенадцати с половиной, и сделка состоялась. Миссис Криви про себя решила получить трех новых плательщиц и тут же выставить за дверь хрычовку Оллок. Мисс Оллок про себя решила получить выгодное место и тут же начать покражу учениц хрычовки Криви.

Что касается Дороти, то ввиду замыслов ее уволить требовались особые меры по усыплению бдительности. Заподозрит неладное – ясное дело, броситься сминать себе учащих и уж во всяком случае больше палец о палец не ударит (миссис Криви гордилась знанием человеческой натуры). Поэтому повидло к завтраку, скрипучие улыбки и прочие необычайные любезности. Опытный человек начал бы искать новое место тем же утром, когда последовало приглашение угоститься драгоценным повидлом.

Через полчаса после приговора Дороти, взяв с собой лишь маленькую сумочку, уже отворяла уличную калитку. Четвертый день апреля выдался днем ясным и студеным, маловато подходящим для прогулок. Небом слепило голубизной, пронзительной как лазурь скорлупок в гнезде дрозда, холодный хлещущий ветер, вихрясь по тротуару, швырял в лицо колючую сухую пыль. Затворив за собой калитку, Дороти медленно побрела к железнодорожной станции.

Она сказала миссис Криви, что сообщит, куда отправить ее багаж, и миссис Криви немедленно взыскала пять шиллингов за доставку. Так что у Дороти осталось пять фунтов пятнадцать шиллингов; хватит, может быть, продержаться недели три. Сейчас первым делом поехать в Лондон, снять жилье. Что делать дальше виделось пока весьма расплывчато. Но паника утихла, ситуация, как рассудила Дороти, отнюдь не безысходная. Отец, конечно, хотя бы на первых порах, поможет; в крайнем случае, придется вторично потревожить кузена. И вообще, у нее неплохие шансы найти работу. Она молода, она явно культурная барышни и готова пахать за жалование прислуги – ценные качества для содержателей убогих частных школ. Наверное, место найдется. А то, что предстоит пережить тяжкое время поисков работы, понервничать и поголодать, это наверняка.

Глава V

1

Однако получилось все иначе. Не прошла Дороти и пяти шагов, как ей навстречу, посвистывая и поглядывая на ворота, выехал юный велосипедист-почтальон. Возле таблички «Рингвуд-хауз» телеграфный посыльный съехал на обочину, затормозил.

– Мисс Милбуру есть тут? – дернул он подбородком в сторону школы.

– Да. Это я мисс Миллборо.

– С оплаченным ответом, – сказал мальчишка, вытаскивая из-под ремня оранжевый конверт.

Дороти опустила сумочку на землю. Снова забил озноб. Она уже не знала, от страха или радости, поскольку в голове разом блеснуло «ура! хорошая новость!» и «ужас! заболел отец!». Кое-как раздрав конверт, она увидела телеграмму, занимавшую две страницы и требовавшую больших усилий для расшифровки. Прочла: «возрадитесь господа праведные восклицательный знак благая весть восклицательный знак репутация твоя бела как снег тчк миссис семприлл пала ров своею рукою отрытый тчк иск клевете тчк общество дружно

порицает каргу тчк отец призывает вернуться тчк сам еду лондон зпт заберу тебя зпт если хочешь тчк скоро буду тчк подожди тчк хвалите его на кимвалах бряцающих восклицательный знак любовь навеки тчк».

Без подписи было понятно – от Варбуртона. Внезапная слабость еле позволила удержаться ногам. Сквозь пелену неясно донеслось, что телеграфный посланец о чем-то спрашивает.

– Ответ-то? – в который уже пытал он.

– Благодарю вас, не сегодня, – кивнув, пробормотала Дороти.

Мальчишка оседлал велосипед и укатил, выразив усиленным песенным свистом холод и равнодушие к клиенту, не давшему чаевых. Но ядовитый сарказм остался втуне. Дороти, полностью уяснив из телеграммы только «отец призывает вернуться», не могла придти в себя. Ошеломленная, она все еще продолжала стоять на холодном ветру, в тумане клубившихся мыслей, когда из-за угла улицы показался автомобиль, а в окне его Варбуртон. Увидев Дороти, Варбуртон выскочил из притормозившего такси, и поспешил к ней, радостно сияя.

– Привет! – воскликнул он, тотчас по-родственному заключая ее в объятия на виду у прохожих. – Как ты? Господи, какая стала худышка! Все ребрышки торчат. Где эта твоя школа?

Дороти, которой еще не удалось вынырнуть из-под его рук, глазами показала на темные окна Рингвуд-хауза.

– Что! Здесь? Боже милостивый, ну и дыра! А куда ты дела свой багаж?

– Он там. Я оставила деньги, чтобы потом доставили, так что, думаю, все будет в порядке.

– Ерунда! Зачем платить? Возьмем с собой, на крыше такси пристроим.

– Нет-нет! Пусть перешлют. Боюсь снова туда идти. Миссис Криви ужасно разозлится.

– Миссис Криви? Что за миссис Криви?

– Директор... в общем, хозяйка школы.

– А-а, дракон? Предоставь мне – повергну чудище. Персей с отрубленной головой Медузы, неплохо? Ах ты, пленная Андромеда. Эй! – крикнул он таксисту.

Вдвоем мужчины пошли к подъезду, и Варбуртон постучал. Дороти плоховато верилось, что они смогут забрать ее багаж. Скорее, она ожидала увидеть их в страхе бегущими от вооруженной веником миссис Криви. Однако вскоре оба благополучно вышли, причем таксист нес на плече ее баул. Варбуртон помог Дороти забраться в автомобиль и, когда тронулись, положил ей на ладонь полкроны.

– Ну и мадам! Ну и мадам! – в такт колыханию такси качал головой Варбуртон. – Как же ты, черт возьми, столько терпела?

– Что это? – спросила Дороти, глядя на монету.

– Твои полкроны за доставку багажа. Немалый подвиг – вытащить их из нашей дамочки, а?

– Я оставила ей крону, – сказала Дороти.

– Черт! Разговор там шел только о половине. Вот бесовское отродье! Разворачиваемся, вытряхнем остальные шиллинги просто назло мерзавке.

Варбуртон забарабанил в стекло между салоном и шоферской кабиной.

– Нет, пожалуйста! – Дороти умоляюще отвела его руку. – Не хочу я опять видеть этот дом, нет, ни за какие деньги!

Чистая правда. Всю свою наличность Дороти готова была отдать, только бы Рингвуд-хауз остался позади. И они поехали дальше, оставив победу за директрисой. Любопытно, не стал ли этот случай еще одним, когда миссис Криви смеялась.

Варбуртон распорядился отвезти их в центр Лондона и всю дорогу через многие мили предместий так пышно разглагольствовал, что Дороти практически не могла вставить слово. Лишь на подъезде к городу ей удалось узнать, как же случился нежданный поворот судьбы.

– Но расскажите, что произошло? – попросила она. – Почему мне можно ехать домой? Почему никто больше не верит миссис Семприлл? Неужели она призналась?

– Призналась? Как бы не так! Грехи выдали. Вы, люди праведные, сказали бы «диво господне», чудо чудное, святым духом сотворенное Кикимора попала в переделку – завели дело по обвинению в клевете. Последняя сенсация, потрясшая всех жителей Найп-Хилла. Я думал, ты что-нибудь видела в газетах.

– Я газет очень давно не читала. А кто же подал иск о клевете? Неужели отец?

– Нет, господи прости! Духовным лицам не пристало мारаться исками о клевете. Директор банка. Помнишь ее любимый сюжет насчет того, что он, распутник, любовницу с детишками на деньги вкладчиков содержит?

– Да, припоминаю.

– А пару месяцев назад у нее глупости хватило изложить свою байку на почтовой бумаге, и некий добрый друг (подруга, как я полагаю) с письмецом этим прямиком к банкиру. Он в суд, закон строжайше обязал ответчицу сотней фунтов компенсировать моральный ущерб. Не думаю, что госпожа Семприлл заплатит даже пенни, но пакостям ее конец. Годами обливай людей помоями как хочешь, общественность весьма отзывчиво любое вранье скушает, но разок вытащат к судье, докажут ложь согласно кодексам, и финиш, дисквалификация пожизненно. В команде нашего Найп-Хилла миссис Семприлл уже не выступать. На днях покинула город, точнее говоря – тихонько смылась. Сейчас, говорят, собирается осчастливить грешный град Бари-сен-Эдмондс.

– Но при чем же тут ее клевета обо мне?

– Да не при чем, абсолютно не при чем. Однако ты полностью реабилитирована и все мегеры, поджигавшие губки при звуке твоего имени, теперь гнусавят: «Бедняжка, бедняжка Дороти, как возмутительно с ней обошлась эта ужасная особа!».

– То есть, убедившись в одной бесстыдной лжи миссис Семприлл, люди вообще поняли лживость ее рассказней?

– Именно так они и рассудили бы, имейся у них способность рассуждать. Во всяком случае, так как мадам Семприлл впала в немилость, персонажи ее наветов заблистали невинностью. Даже на моей репутации ныне практически ни пятнышка.

– Значит, все прояснилось? Всем стало понятно, что со мной был только несчастный случай потери памяти и никаких тайных побегов?

– О, ну не совсем так. Из этих тухлых сельских уголков запашок подозрений не выветрить. Не то чтобы конкретных подозрений, а так, вообще. Инстинктивное деревенское грязевлечение. Возможно, у столов «Пса и бутылки» время от времени шепотком будет вспоминаться слух о какой-то тени в твоём прошлом, хотя уже не вспомнят, о какой. Но беды позади. И на твоём месте я ничего бы никому не объяснял. Официальная версия: бронхит, ездила подлечить легкие. Я бы стоял на этом. Увидишь, донимать вопросами тебя не будут. Формально ты безупречна.

На лондонской Ковентри-стрит Варбуртон повел Дороти в ресторан, где им подали нежного жареного цыпленка со спаржей и жемчужными картофелинками, вырванными до срока из чрева матери-земли, а также пирог с патокой и бутылку бургундского. Особенным блаженством после напитков в меню миссис Криви был завершивший обед черный кофе. Потом такси доставило на Ливерпульский вокзал, к поезду. До Найп-Хилла осталось всего четыре часа.

Варбуртон настоял на первом классе и решительно отверг поползновения Дороти самой купить себе билет. Он также, улучив момент, сунул проводнику на чай, дабы иметь купе в собственном распоряжении. Сверкал ясный холодный день из тех, что видишь типично зимним или типично весенним в зависимости от того, смотришь ли с улицы или в окно. Через задвинутые стекла вагона небесная лазурь сияла теплом и лаской, а местность, сквозь которую громыхал поезд: чащобы тусклых унылых домишек, корпуса угрюмых фабрик, тинистая грязь каналов, заваленные ржавой арматурой и поросшие закопченной травой пустыри – все это золотилось потоками лучей. Первые полчаса Дороти практически молчала. Ее переполняло счастье. Она не думала ни о чем, просто сидела, наслаждаясь льющимся в окно светом, удобством мягкого дивана, освобождением из когтей миссис Криви. Пришлось, однако, испытать краткость подобного блаженства. Как легкий туман от вина, выпитого за обедом, и эта дымка счастья рассеивалась, а беспокоящие мысли, чувства слетались вновь. Варбуртон наблюдал за Дороти пристально, с редкостным для него вниманием.

– Выглядишь старше, – сказал он наконец.
– Время идет,? чуть улыбнулась Дороти.
– Нет, прямо-таки совершенно взрослой. Закалилась, и смотришь по-другому. Как будто, извини вольность метафоры, примерную малышку изгнали из тебя. Надеюсь, семь бесов взамен малышки не вселились?

Дороти не ответила, и он добавил:

– А если откровенно, полагаю, чертовски крепко тебе досталось?

– О, кошмар! Бывало просто ужасно. Случалось даже...

Она замолчала. Хотела рассказать, как голодала и клянчила куски, как была арестована и ночевала в полицейской камере, как миссис Криви ее пилила и морила. Но осеклась, почувствовав внезапно, что все это не так уж важно, всего лишь эпизоды неких досадных случайностей вроде простуды или пары лишних часов в ожидании поезда. Обидно, неприятно, но не существенно. Открытием осенила старая истина насчет того, что подлинно значительные вещи происходят в сознании.

– Не так уж важно, что с тобой случается,? повторила она вслух.? Не слишком важно, если, например, без денег и еды маловато. Даже если действительно голодаешь, в тебе самом никаких изменений.

– Никаких? Верю на слово. Очень бы не хотелось удостоверить личным опытом.

– О, конечно, тебе тогда ужасно мерзко, но ведь по-настоящему разницы нет. То, что внутри творится, вот что важно.

– А именно? – уточнил Варбуртон.

– Ну, как-то вдруг твой взгляд другой, и все вокруг сразу другое.

Дороти продолжала смотреть в окно. Поезд вырвался из восточных трущоб, побежал, набирая скорость, мимо ручьев с ивами по берегам и широких низин с живыми изгородями, подернутыми нежной зеленцой лопнувших почек. Месячный теленок, плоский словно картонная фигурка в настольных играх, скакал по полю на прямых длинных ножках за своей грузной рогатой мамашей, а в огороде старик, медленно, с трудом сгибаясь и разгибаясь, окапывал ствол груши, зацветающей призрачным пушком. Лопата еще долго искоркой сверкала вдали. Вспомнилась строчка псалма «перемену и тлен во всем вижу я»; Дороти говорила сейчас очень искренне. Что-то произошло в душе, и мир вдруг сделался беднее, холоднее. В подобный день она бы раньше так восторженно, так безмятежно благодарила Господа за весеннюю синь небес и первое весеннее цветение! Но теперь не найти Творца и некого благодарить, и ничто – ни цветок, ни камень, ни лист на ветке – ничто во всей вселенной не будет прежним.

– Изнутри отношение меняется, – сказала она. – Я потеряла мою веру, – добавила она отрывисто, смущаясь такого признания.

– Потеряла твою что? – переспросил Варбуртон, непривычный к церковной лексике.

– Мою веру. Ох, разве непонятно? Однажды полгода назад она вдруг почему-то исчезла. Все, во что раньше верила, увиделось бессмысленным, даже каким-то глуповатым. Бог и все остальное: вечная жизнь, небеса, преисподняя – все. Все исчезло. Без всяких размышлений и вопросов, просто само ушло. Ну как ребенком незаметно перестаешь верить в эльфов. Я просто больше не смогла.

– Ты и раньше не верила, – беспечно бросил Варбуртон.

– Верила! Правда, верила! Я знаю, вам всегда казалось, что я не верю, притворяюсь, стыжусь сознаться. Нет, я верила так же, как сейчас верю, что сижу в этом купе.

– О, разумеется, не верила! Мыслимо ли в твои годы? Ты, деточка, для этого выросла слишком умная. Вскармливали тебя нелепой догмой, а ты уж как-то там уговаривала себя глотать. Выстроила – позволь употребить жаргон психологов – жизненную модель, предполагающую безоглядную веру. Естественно, этот абсурд тебя давил. Видно же было, что с тобой. Память, думаю, тоже, поэтому отключилась.

– Поэтому? – вскинула глаза Дороти, несколько озадаченная последним выводом.

Варбуртон начал растолковывать, что ее потеря памяти всего лишь подсознательный способ выйти из тупиковой ситуации. Сознание, загнанное в угол, порой странные шуточки

выкидывает, заметил он. Дороти никогда ничего подобного не слышала и его объяснений поначалу не приняла. Затем, подумав, согласилась допустить некую вероятность такой схемы, хотя суть дела, на ее взгляд, от этого не менялась.

– Ну и какая разница? – пожал плечами, сказала она.

– Не видишь? По-моему, огромная.

– Да мне ведь совершенно безразлично, сейчас это случилось или действительно уже давно. Важно только, что веры больше нет и надо начинать жизнь заново.

– Так ты, если я правильно истолковал твои намеки, жалеешь о потере? – вздохнул Варбуртон. – Человек, пожалуй, способен и об утраченной грыже затосковать. Я, конечно, субъект, в части религии утеревший немного: та малость, которая присутствовала, тихо и безболезненно угасла по достижении мною девятилетнего возраста. Но предмет сожаления вызывает во мне слабый отклик на твою драму. Не приходилось ли тебе, как запечатлела моя достаточно ясная память, проделывать всякую жуть типа вскакивать в пять утра и мчаться в храм на пустой желудок? О таких прелестях, что ли, грусть-печаль?

– Нет, по обрядам я нисколько не тоскую. И нахожу многое даже смешным. Но мне от этого не лучше. Ведь вообще верования мои исчезли и совсем нечего поставить на их место.

– Господи боже! Да зачем туда опять чего-то ставить? Стряхнула гору суеверной чепухи и радуйся. Или тебе приятней жить, трясясь от страха перед адской сковородкой?

– А если все вокруг стало чужим и мир пуст?

– Пуст? – воскликнул Варбуртон. – Как это пуст? Считаю совершенно скандальным такое заявление из уст молодой леди. Ничуть не пуст наш мир, чертовски переполнен – вот проблема. Сегодня мы есть, завтра нас нет, и не хватает времени для наслаждения всем, что здесь предложено.

– Но разве можно чем-то наслаждаться, когда изъят верховный смысл?

– Боже милостивый! На что тебе верховный смысл? Когда я вечером закусываю, я это делаю не ради славы Отца небесного, а потому что люблю хорошо поесть. Мир полон книгами, картинами, вином, друзьями, путешествиями – прелести его бесконечны. Верховного смысла я, правда, в нем не замечал. Впрочем, и не особенно разыскивал. Ну почему просто не принимать жизнь просто таковой, какой она нам открывается?

– Но...

Дороти замолкла. Спорить с ним всегда было бесполезно, он не слышал ее слов. Никогда ее не понимал и теперь не способен почувствовать, как душу, жившую религией, ужасает и отвращает мир, вдруг оказавшийся без смысла. Ему наверно не представить даже наивного культа природы. А мысль о тщетности существования, если б и залетела в его голову, вызывала бы, вероятно, только шуточки. Однако глаз у него, надо отдать должное, был острый. Житейские ее сложности Варбуртон видел и после некоторой паузы их коснулся.

– Разумеется, – сказал он, – ты по приезде домой попадешь в ситуацию несколько затруднительную. Явишься, так сказать, волком в овечьей шкуре. Дружных Матушек просвещать, молиться со скорбящими старушками? тошная работенка. Боишься, что не выдержишь, это волнует?

– Да нет. Я и не думала об этом. Буду все продолжать как раньше, как привыкла. И отцу очень нужна моя помощь. На викария нет средств, а забот бесконечно.

– Тогда в чем дело? Лицемерие свое угнетает? Опасаешься, что алтарные хлебцы в горле застрянут? Оставь тревоги. В Англии половина дочек священников (сами пастыри тоже, девять из десяти) тем же страдают.

– Отчасти и это: придется вечно притворяться. Ох, сколько же будет притворства! Конечно, непросто. Хотя, может, не самое плохое быть лицемером? такого рода лицемером.

– Что это за такой род лицемеров? Надеюсь, тебе не кажется, что изображать молитвы – второе самое прекрасное занятие после молитв?

– Пожалуй... Да, мне кажется, лучше скрыть свое личное неверие, чем горделиво заявлять о нем и этим смущать других.

– Дорогая моя Дороти, – сказал Варбуртон, – мозг твой, прости меня за резкость, несколько нездоров. Черт подери! Нет, более чем нездоров, в нем прямо-таки гнойная инфекция. Разновидность психической гангрены, опасное осложнение после твоего

воспитания во Христе. Рассказываешь мне, что излечилась от всех этих бредовых суеверий, и выбираешь образ жизни, где без них ни шагу. По-твоему, благоразумно?

– Не знаю. Может быть, и нет. Но это мне подходит.

– Твои намерения, – продолжал Варбуртон, – изумительны: капитал не приобрести, невинность также не соблюсти. Согласна принять христианский космос, но против рая возражаешь. Думаю, брось вы все таиться, довольно много обнаружилось бы вас, слоняющихся по руинам храма. А что, новейшая, почти готовенькая секта? «Англиканские атеисты»! Звучит? Не тот, однако, клуб, куда бы я жаждал вступить.

Они еще немного поговорили, но глубинных проблем более не касались. Как ни прискорбно, круг важнейших религиозно-философских вопросов был Варбуртону чужд и скучен, привлекая лишь поводом для богохульства. Смиренно пасуя (и зевая) перед зияющими безднами бытия, он перевел беседу в иное русло.

– Да что это мы спорим о ерунде? – миролюбиво сказал он. – Ты подхватила несколько унылых идей, ну, подрастешь еще чуть-чуть и позабудешь. Христианство все-таки излечимо. Я совершенно о другом хотел сказать. Послушай-ка меня. Приедешь ты домой после своих восьмимесячных странствий, перспективы ждут, как ты понимаешь, довольно тусклые. Жизнь у тебя и раньше была каторжная (во всяком случае, не веселее), а теперь, став уже не столь примерной крошкой, значительно прибавишь себе трудностей. Ну что, ты абсолютно уверена, что надо тянуть прежнюю лямку?

– А как иначе? В действительности, у меня и вариантов нет.

Варбуртон, слегка склонив голову набок, бросил на Дороти странноватый взгляд.

– Собственно говоря, – начал он более серьезным тоном, – один, по крайней мере, вариант я мог бы тебе предложить.

– Опять учительницей в школу? Может быть, это действительно то, чем мне следует заниматься. Когда-нибудь наверно я к этому вернусь.

– Нет. Мое предложение не совсем об этом.

До сей минуты Варбуртон, всячески избегавший демонстрировать свою лысину, красовался в широкополой шляпе мягкого серого фетра. Сейчас, однако, он шляпу снял и аккуратно положил рядом с собой. Голый череп, сохранивший остатки златокудрости только возле ушей, засиял исполинской розовой жемчужиной. Дороти слегка удивленно наблюдала.

– Шляпу долой, – объявил он, – дабы представить себя в наихудшем ракурсе. Через секунду поймешь почему. Разреши выдвинуть на твое рассмотрение вариант, не включающий умильного возвращения к малюткам-скаутам и Дружным Матерям или пожизненного заточения в школьной темнице для девочек.

– Что вы имеете в виду? – спросила Дороти.

– Я имею в виду, не будешь ли ты – с ответом не спеши, обдумай хорошенько, я признаю ряд очевидных серьезных возражений, но все же не спеши – не будешь ли ты так добра, не выйдешь ли за меня замуж?

Дороти открыла рот от неожиданности. Немного побледнела. Поспешно, почти бессознательно отпрянула, насколько позволяла спинка дивана. Но Варбуртон не шевельнулся. Очень спокойно продолжал:

– Ты в курсе, разумеется, что Долорес (речь шла об экономке, экс-возлюбленной) год назад навсегда меня покинула?

– Нет-нет, нет-нет! – заволновалась Дороти. – Я не могу этого, нет! Разве не видно, что я... Я никогда не выйду замуж.

Варбуртон эту реплику игнорировал.

– Согласен, – рассуждал он с тем же идеальным спокойствием, – я не возглавляю список заманчивых женихов. Слегка, быть может, немолод. Мы, кажется, сегодня играем в открытую, так что я посвящу тебя в страшную тайну, сообщив, что мне сорок девять. К тому же трое детей и весьма скверная репутация. Такой брак вызвал бы у твоего отца, ну, скажем, немилостивый взор. И мой доход только семь сотен в год. Но все-таки? Не стоит ли тут поразмыслить?

– Я не могу, нет, – повторила Дороти. – Вы же знаете!

Ей казалось, что он, конечно, «знает», хотя ни ему, ни кому-либо другому она не объясняла причин отказа от замужества. И вполне вероятно, даже получив ее объяснения, он бы к ним не прислушался. Варбуртон снова заговорил, будто не замечая ее слов:

– Тогда позволь мне выдвинуть свой вариант как деловой контракт. Вряд ли необходимо подчеркивать несравненно большую ценность этого предложения относительно предыдущего. Я, как принято выражаться, не создан для супружества, и не стал бы просить твоей руки без дополнительно вдохновляющих практических мотиваций. Но разреши вначале изложить взаимовыгодные стороны. Тебе нужны дом и средства к существованию. Мне нужен покой и умиротворяющий регламента.

Я устал от доселе сопровождавших мой путь неких малоприятных особ, извини за упоминание о них, я предпочел бы остепениться. Поздновато, быть может, но лучше поздно, чем никогда. Кроме того, необходимо позаботиться о детях, бедных моих бастардах. Не жду, что ты найдешь меня ошеломляюще влекущим, – добавил он, задумчиво погладив лысину, – однако со мной можно неплохо ладить (с аморальными личностями, надо сказать, всегда проще). Планом намечены и некоторые преимущества для тебя. Почему, собственно, ты должна провести жизнь, разнося приходской журнал и растирая ноги престарелым деревенским богомолкам? Тебе станет повеселее замужем даже за таким супругом, у которого лысая голова и темное прошлое. Жилось тебе трудновато, горизонт тоже не слишком розовый. Ты реально задумывалась, какое будущее тебя ждет, если останешься незамужней?

– Не знаю. Не очень конкретно, – сказала Дороти.

Она успокоилась, потому что он не приставал, не лез со своими нежностями. Отвернувшись к окну, Варбуртон неожиданно тихо, так тихо, что сквозь стук колес она едва могла его слышать, медленно заговорил. Вскоре его голос стал громче и зазвучал серьезностью, которой Дороти в своем беспечном друге даже не предполагала.

– Представь, какое будущее тебя ждет, – говорил Варбуртон. – Стандартное будущее женщины твоего сословия, не имеющей ни мужа, ни состояния. Давай представим, что отец твой проживет еще лет десять. Под конец он выкинет в трубу последний пенс. Желание пускать деньги на ветер продержит его живым столько, насколько хватит капиталов, и вряд ли дольше. За это время он сделает еще дряхлее, еще придиричливее, будет еще сильнее тебя тиранить, создавать еще больше проблем с торговцами и соседями. А ты все так же будешь биться в рабской суете, сражаясь, чтобы свести концы с концами, читая Дружным Матерям умные дамские романы, полируя алтарные подсвечники, выклянчивая на Органный фонд, изготавливая бумажные ботфорты для школьных пьес, стараясь держаться на высоте в интригах церковного курятника. И год за годом, зимой и летом, колесить на велосипеде из одного протухшего коттеджа в другой, чтобы там выдавать по грошику со дна благотворительной кружки и возносить молитвы, которым больше не веришь. Будешь высиживать церковные службы, вконец измучившие нудностью и бесполезностью. И каждый следующий год будет еще тоскливее и тяжелее от массы всяких мелких забот, которыми привычно нагружают «свободных» одиноких женщин. И не забудь, не всегда будет двадцать восемь.

Начнешь с годами отцветать, увянешь, взглянешь однажды утром в зеркало и вместо стройной девушки увидишь тощую старую деву. Ты, разумеется, будешь с этим бороться. Сохранишь и физическую форму, и манеру своих молодых лет – надолго сохранишь, слишком надолго. Знаешь ведь этот тип не молоденькой, но чрезвычайно бодрой девы с ее звонкими «потрясающе!», «просто чудо!», Такая симпатяга, такая миляга-молодчага, что всех немножечко тошнит. А как она ловко и весело играет в теннис, какая мастерица в домашних театральных затеях, с каким, совершенно юношеским, пылом скаутов тренирует и навещает прихожан! Она душа церковных вечеринок и неизменно, пока годы пробегают, продолжает видеть себя обаятельным славным парнишкой, и никак не умеет понять, что за спиной давно подсмеиваются над бедной, обманувшейся в надеждах старой девицей. А? Знаешь таких? Вот кем станешь, увы, непременно станешь, если, увидев этот путь, не постарайшься круто свернуть. Ничего впереди другого, если не выйдешь замуж. Не вышедшие замуж женщины мертвеют – засыхают, как фикусы в темных гостиных. И самая дьявольщина в том, что они даже не чувствуют этого.

Зачарованная мрачным пророчеством, Дороти молчала. Варбуртон встал притворить дребезжавшую от тряски дверь, но она этого не заметила. Замерла под впечатлением не столько его речей, сколько собственных грозных видений. Он с такой четкостью нарисовал неминуемо ожидающее будущее, словно действительно перенес на десять лет вперед, и она ощущала себя не молодой, полной сил девушкой, а жалкой безнадежной девственницей в тридцать восемь. Снова начав говорить, Варбуртон взял ее руку, вяло лежащую на подлокотнике.

– Спустя лет десять твой отец умрет и не оставит ничего кроме долгов. Тебе будет под сорок. Без денег, без профессии, без шансов на семью. Одинокая дочь священника, каких в Англии тысячи. И что, по-твоему? Придется устроиться на работу – такую, на которую берут дочек священников. Гувернанткой, например, или же компаньонкой какой-нибудь увечной старой гримзы, сосредоточенной на измышлении новых способов тебя унижить. Или снова учительницей, преподавать письмо и чтение в скверной школе для девочек: семьдесят пять фунтов в год, бесплатный стол, пару недель в приморском пансионе каждый август. И день ото дня увядая, засыхая, становясь все костлявее, все кислее. И поэтому...

На последнем слове он потянул Дороти, поднял ее на ноги. Сопротивления не встретил. Его голос околдовал ее. От перспективы будущего, бесприютность которого виделась ей яснее чем прорицателю, захлестнуло такое отчаяние, что, будь она способна что-то вымолвить, сказала бы «да, я согласна». Варбуртон очень деликатно взял ее за плечи, повернул к себе. Дороти по-прежнему не шелохнулась. Затуманенными глазами встретила его взгляд. Сильные мужские руки обещали защиту, уводили от края угрюмой нищеты в прекрасный зовущий мир: к надежности, покою, уютному дому, красивой одежде, книгам, друзьям, цветам, летним дням и далеким странам. И почти целую минуту холостой аморальный толстяк со скромной худощавой барышней стояли лицом к лицу, глаза в глаза, тела их от вагонной качки почти соприкасались, и зря мелькали не увиденные облака, деревья, влажные поля, зазеленевшие первыми всходами.

Обняв сильнее, Варбуртон прижал Дороти к себе. Чары мгновенно рухнули. Призрачные видения убожества и спасения от него исчезли, только всплеск панического ужаса. Она в руках мужчины – жирного пожилого мужчины! Волной пробежала гадливость, внутри все сжалось. Тяжелое мужское тело наваливалось, давя и опрокидывая; крупное, розовое, вблизи бугристое лицо наплывало вплотную. Резко ударил грубый мужской запах. Косматые ляжки сатиров! Дороти бешено забилась, хотя Варбуртон не особенно ее удерживал, и спустя несколько секунд вырвалась, упала на сидение, белая и дрожащая. Подняв глаза, мгновение смотрела полным дикого ужаса странным взглядом.

Варбуртон оставался стоять, глядя с покорным, почти улыбчивым разочарованием. В лице никаких признаков огорчения. Придя в себя, Дороти решила, что все им сказанное было просто забавой, способом подшутить, услышать о ее готовности выйти за него. Подозрительно также, что он не умолял, не заверял в горячих чувствах. Ну да, конечно, просто развлекался. Очень вероятно, это являлось лишь очередной попыткой соблазнить ее.

Варбуртон тоже сел, но в отличие от Дороти чинно, неторопливо, позаботившись о безупречной стрелке на брюках.

– Если собираешься дернуть сигнальный шнур и остановить поезд, – мягко сказал он, – следовало бы предварительно убедиться в наличии у меня пяти фунтов на штраф.

После этого он сразу, почти сразу сделался таким как всегда и продолжал беседовать без малейшего замешательства. Его стыдливость, если и существовала когда-либо, погибла в далеком прошлом. Возможно, вследствие чрезмерного обилия низменных связей.

Примерно час Дороти ощущала неловкость, но потом поезд прибыл в Ипсвич, где была десятиминутная стоянка, и они сбегали в буфет выпить по чашке чая. Последние двадцать миль разговаривали совсем дружески. Варбуртон ни разу не вспомнил своего предложения, и лишь когда подъезжали к Найп-Хиллу, снова, не столь уже трагично, коснулся ее планов на будущее.

– Так ты действительно, – спросил он, – собираешься вернуться к активной приходской деятельности? По прежней программе: ревматизм миссис Пифер, мозольный пластырь миссис Льюин и так далее? Перспектива не угнетает?

– Бывает иногда. Но все пойдет нормально, когда снова втянусь. Мне, видимо, дороже всего привычное.

– И хватит силенок на годы злостного лицемерия? К этому же все сведется. Не боишься, что шило нечаянно вылезет из мешка? Твердо уверена, что вдруг не обнаружишь себя, научающей деток в воскресной школе произносить «Отче наш» задом наперед или читающей им вместо евангельской главы пятнадцатую главу Гиббона^[45]?

– Вряд ли. Я ведь действительно думаю, что такая работа, даже если читать молитвы, которым уже не веришь, даже если учить детей вещам, которые сам не считаешь очень достоверными, все равно чем-то полезно.

– «Полезно»! – поморщился Варбуртон. – Любишь ты это чугунное словечко. Диагноз – гипертрофия чувства долга. Нет уж, по мне чистейший здравый смысл в том, чтоб, живя, порадовать себя немножко.

– А это просто гедонизм, – возразила Дороти.

– Девочка моя, ты не подскажешь такую философию жизни, которая стоит не на гедонизме? Твои обсыпанные паразитами немые святы праведники – величайшие гедонисты. Ибо метят на вечное блаженство, тогда как мы, грешники, уповаем всего на несколько приятных лет. В конце концов, все мы ищем радости, только некоторые предпочитают извращенные формы удовольствий. Твое понятие о радостях, видимо, непременно включает растирку ног старушки Пифер.

– Дело совсем не в этом, а в том... о! Ну не знаю, как объяснить!

Сказать бы Дороти хотела, что, хотя вера ее утрачена, сама она не изменилась, не могла измениться, не хотела изменить направление своего сознания; что ее мир, хотя он виделся и опустевшим и обесмысленным, все-таки оставался миром христианским; что христианский обычай жизни продолжал быть единственно возможным и органичным. Но она не умела это выразить и опасалась вызвать обычные насмешки. Так что неубедительно резюмировала:

– Почему-то чувствую, что так для меня лучше. Чтобы все-все шло по-прежнему.

– Все-все? Когорта Светлых Чаяний, Круг Супружеского Согласия, обходы прихожан, занятия в воскресной школе, СП дважды в неделю, пяток сотен псалмов – текст по сборнику, хорал григорианский?

– Нет, – невольно улыбнулась Дороти, – пение не григорианское. Отец его не любит.

– И ты думаешь, кроме потаенных мыслей никаких перемен? Со всеми старыми привычками?

Дороти задумалась. Да, будут кое-какие перемены. Но большинство их сохранится в тайне. Вспомнилась ее дисциплинарная булавка. Это всегда было ее особенным секретом, не стоит и сейчас рассказывать.

– Ну, – сказала она, – вероятно, перед причащением я буду опускаться на колени рядом с мисс Мэйфилл не слева, а справа.

2

Прошла неделя. Дороти въехала вверх по холму и протолкнула велосипед в калитку ректорского сада. Угасал прекрасный тихий вечер, солнце садилось в чистой, без облачка, зеленоватой дали. Дороти заметила, что осень у калитки распустился, весь зацвел походившими на запекшиеся ранки вспухшими багровыми комочками.

Она страшно устала. Неделя была очень плотная, потребовалось и подопечных всех навестить, и попытаться хоть как-то наладить приходские дела. За время ее отсутствия все пришло в дикий беспорядок. Церковь заросла грязью сверх всякого воображения. Пришлось вооружиться метлой и щетками, и целый день чистить, скрести; она до сих пор еще содрогалась, вспоминая завалы обнаруженных за органом «мышинных следов». Мыши облюбовали этот уголок из-за того, что раздувавшему органные меха Джорджи Фрю непременно нужно было набить карманы печеньем и есть его во время проповеди. Работу в церковных обществах забросили, в результате чего Когорта Чаяний и Круг Согласия вообще скончались, посещаемость воскресной школы упала наполовину, а у Дружных Матерей бушевала междоусобица, вызванная каким-то бестактным замечанием мисс Фут. Колокольня рушилась катастрофически. Приходской журнал не доставлялся, и деньги на него не собирались. Ни один из счетов церковных фондов не велся как полагается, девятнадцать

шиллингов вовсе исчезли из отчета, даже в церковных реестрах путаница и прочее, и прочее ad infinitum^[46].

Со дня приезда Дороти была по уши в работе. На удивление быстро восстановился прежний распорядок. Будто отсутствовала она не больше суток. А само ее возвращение в Найп-Хилл теперь, когда скандал улегся, почти не вызвало любопытства. Некоторые женщины из списка обязательных визитов, особенно миссис Пифер, искренне обрадовались. Виктор Стоун, временно поверивший клевете миссис Семприлл, выглядел поначалу слегка смущенным, однако мигом позабыл об этом, рассказывая Дороти о своем последнем триумфе на страницах «Гласа Господня». Разумеется, кое-какие дамы «кофейной гвардии» останавливали Дороти на улице, щебеча: «Ах, как приятно снова вас видеть, дорогая! Мы так без вас скучали! И знаете ли, дорогая, было так неприятно, когда эта ужасная особа везде ходила, сообщала эту выдумку о вас. Но я надеюсь, дорогая, вы понимаете, что для меня не важно, как думают другие, я лично никогда ни единому слову...». Однако неудобных вопросов, которых так боялась Дороти, никто не задал. «Преподавала в школе близ Лондона» всех удовлетворяло, даже ни разу не спросили, что за школа. И никогда, поняла Дороти, ей не придется признаваться, что она ночевала на столичной площади и сидела под арестом за нищенство. Вообще в провинциальных городках люди имеют смутное представление о жизни где-то далее десяти миль от их калитки. За этими пределами terra incognita, страны обитаемые, населенные драконами и людоедами, но не особенно интересные.

Даже отец встретил Дороти так, словно она уезжала на выходные. В момент ее прибытия он находился в кабинете, покуривая трубку перед напольными часами, стекло которых, четыре месяца назад разбитое ручкой метлы глупой служанки, все еще дожидалось ремонта. Увидев в дверях Дороти, он вынул трубку из рта и рассеянно положил ее в карман. «Ужасно постарел», – подумала Дороти.

– Приехала, наконец, – сказал он. – Добралась хорошо? В поезде не дуло?

Дороти тихонько обняла его, коснувшись губами серебристо-бледной щеки. Когда она отняла руки, он похлопал ее по плечу с едва заметным оттенком теплоты и спросил: «Что это тебе вдруг пришло в голову удариться в бега?».

– Я же рассказывала, папа, – я потеряла память.

– Хм, – произнес Ректор.

И Дороти увидела, что он не верит ей, никогда не поверит и в будущем, когда у него будет не столь благодушное настроение, этот случай с ней многократно послужит поводом для колкостей и упреков.

– Ну, – добавил Ректор, – иди, отнеси наверх свой саквояж, а потом, будь добра, перепечатай на машинке мою проповедь.

Городских новостей было немного. «Старинный Чай» расширялся, продолжая дело архитектурного обезображивания Главной улицы. Ревматизм миссис Пифер «получшел» (несомненно, благотворное воздействие чая из дягиля), но мистер Пифер «пользовался доктором»: подозревали камень в мочевом пузыре. Мистер Блифил-Гордон заседал теперь в парламенте, полезно исполняя роль статиста на задних скамьях у консерваторов. Старый мистер Тумс умер вскоре после Рождества; мисс Фут взяла на попечение семь из его кошек и приложила героические усилия, чтобы пристроить остальных. Ива Твисс, племянница москательщика Твисса, родила незаконного младенца, который умер. Прогетт вскопал грядки и кое-что посеял, бобы и ранний горох уже проклюнулись. Счета из лавок после митинга кредиторов начали копиться снова, и долг Каргилу уже вырос до шести фунтов. Виктор Стоун в нескольких выпусках «Часа Церкви» вел жаркую полемику о Святой инквизиции с профессором Култоном и совершенно разгромил противника. Эллен всю зиму мучила экзема. В «Лондон Меркури» опубликовали два верлибра Уальфа Блифил-Гордона.

Дороти вошла в оранжерею. Работы непочатый край – костюмы к представлению, которое дети покажут в день Святого Георга (сборы в Органный фонд). За орган последние восемь месяцев не платили ни пенса, и, может, к лучшему, что Ректор просто выбрасывал счета изготовителей, ибо тон их делался все более и более сатанинским. Поломав голову над способом раздобыть деньги, Дороти решила устроить представление с историческими

живыми картинами от Юлия Цезаря до герцога Веллингтонского. Сборы могли дать два фунта, а если хорошая погода и удача – даже три!

Дороти огляделась. В оранжерею она после приезда еще не заходила. Ничего не тронута, только везде густая пыль. Ее старая швейная машинка так и стояла на столе среди хаоса лоскутков, обрезков, выкроек, катушек, банок с красками; и хоть иголка заржавела, но нитка сквозь нее была продета. И еще! Вот они – ботфорты, которые она сооружала той самой, последней ночью. Она взяла один сапог, посмотрела. Сердце слегка защемило. Да, хорошие все-таки вышли ботфорты! Жаль, что не пригодились! Но их ведь можно для живых картин. Для Карла II, например... или нет, лучше вместо короля Оливера Кромвеля – если Кромвель, не нужно мучиться с париком.

Дороти зажгла керосинку, нашла ножницы, взяла два листа упаковочной бумаги и села. Костюмов предстояло сделать гору. Начать, наверное, с нагрудника Цезаря... Всегда все неприятности из-за этих доспехов! Как выглядели доспехи римских воинов? Дороти напряглась и вызвала в памяти статую какого-то идеально героического императора, украшавшего Римский зал Британского музея. Черновую основу из свернутых по грубой выкройке листов, потом обклеить поперек бумажными ленточками, чтобы «стальные полосы», потом выкрасить серебрянкой. А шлема, слава Богу, никакого! Юлий Цезарь всегда носил лавровый венок. Наверно лысины своей стеснялся, как Варбуртон. Так, а наколенники? Носили тогда наколенники? И обувь? «Калиги» это что: сапоги или сандалии?

Дороти погрузилась в раздумья, замерла с ножницами на коленях. Снова напала преследовавшая всю неделю мысль о том, о чем Варбуртон говорил ей в поезде,? какая ожидает ее жизнь, без денег, без замужества.

Тревожила вопросом не фактическая сторона. Это она видела хорошо. Лет десять на положении викария без жалования, затем учительницей в школу. Не обязательно такую, как у миссис Криви, наверное найдется и попримичнее, но, возможно, в школе более корректной отчасти будет даже тоскливее, холоднее. Да, надо смотреть в лицо судьбе, уготованной одиноким и небогатым женщинам. «Старые девы старой Англии» назвал их кто-то. Ей двадцать восемь – возраст подходящий, чтобы вот-вот пополнить их ряды.

Но это неважно, неважно! Чего никогда, хоть тысячу лет им тверди, не вбить в голову всяким Варбуртонам, это то, что все внешние ситуации (и нищета, и скверная работа, и даже одиночество) не важны. Важно, что происходит в твоём сердце. Только один короткий момент, слушая в поезде Варбуртона, она смертельно испугалась нищеты. Но такой страх прошел; это не то, из-за чего стоит страдать. Не из-за этого ей надо крепить мужество и заново всему учиться. Нет, есть вещь более серьезная? пустота, открывшаяся в самой сути существования. Вот год назад она сидела на этом стуле, с этими ножницами в руках, и занималась тем же, что сейчас, однако тогда и теперь два разных человека. Куда же делась забавная барышня, которая в экстазе молилась под летним цветущим кустом и колола себе руку за святотатственные помышления? И где любой из нас, живший в прошлом году? А вместе с тем – вот здесь крылась мучившая загадка – она была и той, прежней. Верования меняются, понятия меняются, но есть какая-то неизменная сокровенная часть души. Вера уходит, но нужда в вере остается.

И если дана вера, как твердо, как прочно ты стоишь. Что тебя обескуражит, если в мире есть ясная цель, которой можешь служить? Вся жизнь освещается ее светом. Никакой душевной усталости, смятения, сомнений, чувства тщетности, никакой притаившейся, подстерегающей бодлеровской хандры. Каждый шаг нужен, каждая твоя минута вплетена в живой узор прекрасного торжества духа.

Дороти задумалась о самой жизни. Выходишь из утробы, проживаешь лет семьдесят, а потом умираешь, истлеваешь. И в каждой частице жизни, не искупленной никакой конечной целью, присутствие уныния и запустения, которые не выразишь, но чувствуешь физически ноющим сердцем. Жизнь, если она действительно кончается могилой, ужасна и чудовищна. Не стоит тут наводить туман. Представь реальность жизни, представь эту реальность в подробностях, а потом скажи себе, что нет ни смысла, ни цели, ни назначения кроме могилы. Ведь только глупцы, ну, и какие-нибудь уникальные счастливчики смогут прямо, бестрепетно взглянуть на это, разве не так?

Дороти поежилась и села чуть прямее. Должен же быть, однако, какой-то смысл, какое-то значение во всем! Не может мир быть случайностью. В происходящем непременно есть

причина, следовательно и цель. Раз ты существуешь, значит, каким-то Творцом создан, и раз ты наделен сознанием, Он – сознающий. Получается только так. Он создает и убивает ради Его? непостижимой? цели. Такова уж природа вещей, что этой цели человеку не обнаружить, а если и обнаружить, не понять. Твоя жизнь и смерть, может быть, просто нотка в оркестре, играющем для Его удовольствия. И предположим, тебе не нравится мотив? Она вспомнила об ужасном богохульном бывшем священнике с Трафальгарской площади. Приснилось ей или действительно он возглашал: «А потому со Демонами, с Архидемонами, со всей адской компанией»? Что ж, в конце концов, чья-то нелюбовь к мотиву тоже вплетется в его аккорды.

Мозг ее бился над проблемой, тычась в глухие тупики. Ясно ведь? никакой замены вере нет; не годятся ни языческое преклонение перед стихией, ни примитивные штучки пантеистов, ни религия «прогресса» с прозрением сияющих утопий и железобетонных муравейников. Все или ничего. Либо земная жизнь пролог к чему-то Великому и Разумному, либо кошмар темной бессмыслицы.

Дороти вздрогнула. Рядом слышался шипучий треск, она забыла налить воду в клееварку и клей начал гореть. Схватив кастрюльку, Дороти бросилась по коридору к раковине. Налив воды, вернулась и вновь поставила ковш с клеем на керосинку. Мысленно дала обязательство непременно сделать нагрудник до ужина. После Юлия Цезаря надо еще обдумать Вильгельма Завоевателя. Опять доспехи! Скоро уже бежать на кухню напомнить Эллен сварить картошку. На ужин пюре с тефтелями. Потом записать «памятку» на завтра. Дороти соорудила вчерне две половинки нагрудника, вырезала дырки для рук и шеи и вновь застыла.

На чем она остановилась? Если смертью все кончается, тогда в любых действиях никакого толка. Так, что же из этого следует?

Беготня за водой несколько изменила ход мыслей. Она поймала себя на том, что чересчур прониклась жалостью к собственным бедам. Ах, какие охи-вздохи! Как будто вокруг не было людей в точно таком же положении! Да их по всему миру тысячи, миллионы – потерявших веру, но не утративших потребность в ней. «Половина дочек английских священников», сказал Варбуртон. Наверное, он прав. И не только дочери священников. Множество тех, кто в болезнях, одиночестве, неудачах, грызущей тоске нуждается в опоре на веру и не имеет ее. Может быть даже замученные монахини, поющие «Аве, Мария», втайне не веруя.

Но как же малодушно скорбеть об отлетевшем утешении, которое всем организмом чувствуешь как неправду!

И все же... Дороти отложила ножницы. словно старые стены, не восстановив веры, вернули старые привычки, она опустила на колени. закрыла лицо руками. Молитвенно зашептала: «Верую, Господи! Помоги моему неверию! Верую, верую в Тебя! Помоги, Господи моему неверию!»...

Бесполезно, абсолютно бесполезно. Уже произнося слова, она сама себя стыдилась. Дороти подняла голову. Струя теплого едкого запаха, не вспоминаявшего эти восемь месяцев, но такого родного – пар расплавлявшегося клея. Вода в кастрюльке шумно хлопотала. Дороти вскочила на ноги, потрогала ручку влипшей в клей кисти. Размягчается, через пять минут будет готово.

Часы в отцовском кабинете пробили шесть. Дороти вздрогнула. Целых двадцать минут прошло в безделье. Совесть пронзила таким кинжальным ударом, что все терзавшие вопросы вмиг покинули. «Ну что за чепуха в голову лезет?» – одернула она себя, и все эти глубокомысленные проблемы действительно вдруг превратились для нее в чепуху. Дала себе хорошенькую взбучку: «А ну-ка, Дороти! Давайте без лентяйства! Как угодно, до ужина вы обязаны закончить этот нагрудник!». Присела, набрала булавок в рот и начала скалывать бумажные половинки, чтобы форма к моменту готовности клея уже определилась.

Запахом клея пришел ответ на ее молитву. Хотя она об этом не догадывалась. Еще не знала, что решение главной проблемы в том, что надо принять отсутствие решения. Еще не понимала, что, в бесконечных человеческих трудах конечная цель действий едва тлеет еле заметной искоркой. Что вера и неверие очень похожи друг на друга, если ты занят близким,

нужным тебе делом. Практически она уже ощущала такой вывод. Когда-нибудь, возможно, ей предстояло понять его и обрести покой.

Клей уже был на подходе, через пару минут разварится. Воткнув в панцирь последнюю булаву, Дороти начала мысленно набрасывать эскизы следующих костюмов. После Вильгельма Завоевателя (в его дни, кажется, кольчуга?) Робин Гуд (зеленая куртка, лук, стрелы), затем Томас Беккет^[47] (риза, митра), королеве Елизавете жабо, герцогу Веллингтонскому треуголку. И полседьмого надо сбегать проверить насчет картошки. И памятка на завтра. Завтра среда – будильник поставить на полшестого. На листочке бумаги она стала записывать:

7.00 – СП.

Мс Дж. дитя чер. месяц. Срочно визит!

Завтрак: бекон

Остановилась подумать о следующих пунктах. «Мс Дж.», жена кузнеца миссис Джаветт, вообще приходила за благословением очередного своего младенца, но только если ее очень деликатно заранее убеждать. Надо бы еще отнести старой миссис Фрю мятные болеутоляющие пастилки и попросить ее уговорить сына Джорджа не грызть в церкви его печенье. Дороти внесла в список миссис Фрю. А что на завтрашний обед, то есть ланч? Уже просто необходимо заплатить Каргилу! Завтра чай у Дружных Матерей, а мисс Фут книгу дочитала прошлый раз. Что же им? Романы Джин Портер, кажется, иссякли. Может, Уорвика Дипинга? Но захотят ли запутанный детектив? Попросить Проетта срочно достать капустную рассаду, чтобы не поздно было высадить... На этом размышления прервались.

Клей расплавился. Из двух листов коричневой бумаги Дороти настригла ворох узких ленточек и (с большой сноровкой, которая нужна, чтобы не продавить выпуклость панциря) стала поспешно наклеивать горизонтальные полосы спереди, потом сзади. Нагрудник делался все крепче. Усилив форму со всех сторон, Дороти поставила панцирь стоймя? оценить результат.

Совсем неплохо! Еще один слой и будет просто настоящий! Мы должны очень удачно сделать эти живые картины. Жаль, не у кого занять лошадь, чтобы представить Боудикку на колеснице. Конечно, если б сделать древнюю колесницу с серпами на колесах, можно и пять фунтов собрать! Да, а Хорс и Хенгист^[48]? На икрах ремешки крест-накрест и крылатые шлемы. Дороти изрезала еще два листа на полосы и снова взяла нагрудник, ожидающий последнего слоя. Вопросы веры и неверия совершенно улетучились. Начинало темнеть, но отвлекаться, зажигать лампу было некогда, и Дороти быстро лепила полосу за полоской, уйдя в работу с молитвенной сосредоточенностью, в клубах пахучего теплого пара клееварки.

Примечания

1

Ректор – официальный чин англиканской церкви для руководителя прихода. Изначально это был старший приходской священник, имевший помощника на жаловании – викария и отличавшийся от него правом на церковную десятину. Однако ко времени действия романа такое различие совершенно стерлось, а вскоре и сам чин ректора упразднили. Именуя отца героини Ректором, автор иронично подчеркивает пустоту его церковно-аристократических претензий.

2

Разговорные аббревиатуры: СП – святое причастие, РК – римские католики, «паписты». Для понимания коллизий романа необходимо представлять, что официальная Англиканская церковь (священником которой является отец Дороти) сочетает догматы католичества с реформаторским учением протестантизма. Но внутри англиканства три направления: Высокая церковь, тяготеющая к торжественной ритуальности; Низкая церковь, близкая суровому пуританизму, и Широкая церковь умеренного толка. Кроме того, отдельно англокатолики, которые настаивают на сугубо католической сути и форме англиканства.

3

На землях неверных нечестивцев (лат.).

4

Популярная, отвечающая обывательским вкусам газета.

5

Поэт, художник и философ Уильям Блэйк (1757—1827); мистическая символика его произведений стала особенно модной в эпоху европейского «нового стиля».

6

Вне церкви нет спасения (лат.) – формула католического догмата и главный пункт расхождения с протестантизмом, отвергающим посредничество церкви.

7

Ложный шаг, промах (франц.).

8

По натуре нонконформист (лат.). Имеется в виду склонность к идеологии «свободных» религиозных сект, не согласных с англиканством.

9

«У меня заныли кости. Значит, жди дурного гостя», – говорит ведьма в трагедии Шекспира «Макбет».

10

В курсе всего (франц.).

11

Квартал лондонской артистической богемы.

12

Лукреция – легендарная древнеримская героиня, обесчещенная сыном царя Тарквиния Гордого и лишившая себя жизни.

13

Начеку (франц.).

14

Срединный, сторонящийся крайностей путь (лат.).

15

Бертран Рассел (1872—1970) – философ, математик, критик догматического христианства; Джулиан Сорелл Хаксли (1887—1975) – философ, биолог.

16

Католики считают источником вероучения священное писание (Библию) и священное предание (постановления соборов, папские энциклики и пр.). Тогда как протестанты признают только Библию.

17

Во все, всецело (лат.).

18

Нобби от жаргонного «ноб» – башка, умник, ловкач.

19

Сленг: «шкиперить» или найти «кип» – ночевать; далее в абзаце: «Коптильня» – Лондон, «боб» – шиллинг, «рыжак» – шестипенсовик, полшиллинг.

20

Традиционное место сборища лондонских бродяг.

21

Воскреснешь (лат.).

22

Для устрашения (лат.).

23

Не так хорош уж я, как в царствование Эдуарда (лат.). Первая часть фразы из Горация, вторая об эпохе Эдуарда VII (1901—1910).

24

Речь идет о «Колонне Нельсона», монументе, увенчанном статуей адмирала.

25

Псалтирь: 136, 1. Далее цитаты из псалмов в речи этого персонажа без специальных ссылок.

26

«Три отрока из печи огненной» (Книга пророка Даниила: 1, 6).

27

Мельхиседек – жрец, первым почтивший Бога истинного и «пребывающий священником навеки» (Евр.: 7, 3).

28

Это есть тело единое (лат.).

29

Цекуб – неоднократно воспетое Горацием вино из Цекубской долины.

30

Вместо родителя, отечески (лат.).

31

Собор св. Павла в Лондоне.

32

Мужские и женские демоны плотской любви.

33

Хулите всевозможно (лат.).

34

Святой водой окропляя, знаком мученического креста... (лат.). Из текста католического причастия.

35

Дорогие, престижные кварталы аристократического Лондона.

36

Основатель Родезии, английского владения в Южной Африке.

37

Первое послание коринфянам, гл. 13.

38

Имеется в виду традиция называть частные жилища некими объектами сельской природы: «сады», «рощи», «купы» и пр.; названия «Рингвуд-хауз» и «Вашингтон-грейндж» из того же ряда.

39

Подразумеваются ученые степени бакалавра искусств и магистра искусств.

40

Передайте, пожалуйста, масло; сын садовника потерял свою шляпу (фр.).

41

Царица британского племени, которая возглавила восстание против римского гарнизона в середине I в. н. э.

42

Праздновавшийся в 1887 году пятидесятилетний юбилей царствования королевы Виктории (в отличие от Второго юбилея – в 1897).

43

В постыдном тайном убежище (лат.).

44

Цит. по переводу Ю. Корнеева: Уильям Шекспир. Избранные произведения. Л., 1975. Стоит добавить, что слово, переведенное здесь как «чрево», в подлиннике означает «матка».

45

В знаменитом труде Эдуарда Гиббона (1737—1794) «История упадка и разрушения Римской империи» пятнадцатая глава посвящена растленным нравам эпохи.

46

До бесконечности (лат.).

47

Архиепископ Кентерберийский, канцлер Англии (1118—1170).

48

Братья, воины германского племени, основавшие в Британии в сер. I в. постоянное поселение саксов. Позже Хорст был убит, а Хенгист стал королем Кента.